

АЛЕКСАНДР
ДАВЫДОВ

ВОСПОМИНАНИЯ

АЛЕКСАНДР
ДАВЫДОВ

ВОСПОМИНАНИЯ



ПАРИЖ
MCMLXXXII



А. В. ДАВЫДОВ

ALEXANDRE DAVYDOFF

MÉMOIRES

1881 - 1955

PARIS

1982

АЛЕКСАНДР ДАВЫДОВ

ВОСПОМИНАНИЯ

1881 - 1955

ПАРИЖ

1982

Издательство «Альбатрос», Париж.

Настоящее издание отпечатано
в количестве одной тысячи экземпляров
из них
сорок нумерованных

**Обложка, марка издательства работы художника
С. Голлербаха**



Александр Васильевич ДАВЫДОВ

1881 — 1955

*Дорогому моему Золоту, любимой моей дочкѣ,
на память от ея рыцаря*

Нью-Йорк, Июль 1950

Ал. Давыдовъ

Воспоминания Отца... Он сам должен был бы их издать, он готовил эту книгу. Она была почти закончена... Несколько отрывков из нее было напечатано в «Новом Русском Слове», в Нью-Йорке. Но в июне 1955 года Папа заболел.

Увы, ни он, ни я не заговаривали о его будущей книге — в то время я совсем о ней не думала, а Папа был чересчур слаб, чтобы строить какие-либо планы.

До болезни он вел активную деятельность. Литературные кружки, обширная переписка... Наш дом был местом частых встреч литераторов и различных общественных деятелей. Но Отец скончался в октябре 1955 г.

Теперь я, его дочь — издаю его книгу.

Минуло двадцать семь лет. За эти годы во всем мире произошло много перемен. Но русский народ остается все той-же неведомой, неизмеримой силой, которая одновременно и привлекает, и настораживает. И несмотря на то, что прошло так много лет, многое осталось таким же, каким было во время поездки в Россию маркиза де Кюстина.

Мой отец был либерал, добрый и широкий человек. Я также разделяю его идеи и мнения. И если вернуться назад ко временам декабристов, то я не могу не пожалеть о том, что вся эта молодежь, с ее идеалами, не смогла осуществить своих идей. Может быть, тогда все в мире было бы иным, лучшим, кто знает? Как мне хочется сделать все так, как хотел мой Отец. Потому я решила издать эту книгу здесь, в Париже, сначала по-русски. Я хочу, чтобы в книге все было так, как написал мой Отец, без каких-либо изменений.

Хочется сделать это как можно скорее, чтобы те из немногих русских эмигрантов — которые ещё помнят Папу — могли бы её прочесть. Если потом эту книгу издадут в СССР, я буду только рада, так как знаю, как там много людей, которые любят и чтут прошлое России.

О. Д. Д.

КАМЕНКА

*«Тебя, Раевских и Орлова,
И память Каменки любя...»*

А. Пушкин (В. Л. Давыдову)

Широко раскинулись по обоим берегам болотистой речки Тясмин старинные село и местечко Каменка ¹⁾. Весело бегают крытые соломой хатки, утопающие в зелени вишневых садов, окруженных плетеными из кукурузной ботвы тынами, с выглядывающими из-за них подсолнухами. Стройно высятся над зеленью деревьев колокольни двух церквей: Свято-Николаевской и Покрова Пресвятой Богородицы, по именам которых стороны села называются Николаевской и Покровской.

Тесно жмутся друг к другу маленькие неприглядные еврейские домики вдоль грязных улочек местечка, над которыми возвышается здание синагоги, с прилегающим к нему хедером. Среди широкой главной улицы тянутся одноэтажные кирпичные строения с еврейскими магазинами, торгующими всевозможными товарами, начиная всем, что потребно помещичьим экономиям и крестьянским дворам, и кончая шампанским, духами и белыми лайковыми перчатками.

В стороне от магазинов, вдоль главной улицы, виднеется вывеска «заязда» или еврейской гостиницы, с кривыми оконцами и покосившимся крылечком, а рядом, в соседнем переулке, в окнах высокого кирпичного здания блестят бокалы с крашеной жидкостью местной аптеки.

¹⁾ Привилегия на основание местечка, т. е. места еврейского поселения, дарована была Каменке польским королем Августом III в 1756 году.

Налево от моста через Тясмин, если ехать от Покровской стороны к Николаевской, высятся большие здания сахарного завода, у ворот которого стоит заброшенная водяная мельница в виде небольшой белой башни, в стиле русского ампира, с красной розой на верху крыши ²⁾. Сахарный завод стоит на самом берегу Тясмина, там, где он входит в скалистое ущелье, в честь которого Каменка получила свое наименование.

По ту сторону моста большая дорога подымается к местечку через большой помещичий парк, в левой стороне которого помещаются небольшие домики, составляющие усадьбу, и посреди большого двора стоит высокое кирпичное, незаконченное здание в стиле средневекового замка.

Окрестности Каменки ничего особенного собой не представляют. Нескончаемые степи, покрытые летом широкими пшеничными и ржаными полями и зеленой листвой свеклы. Горизонт не широк, его пересекают невысокие возвышенности — отроги дальних Карпат — и глубокие овраги, по местному наречью «яры», заросшие дубовыми рощами. Лесов мало, но те, которые встречаются, обширны и состоят сплошь из старых тенистых дубов.

Такой встает в моей памяти Каменка.

Казалось бы, что Каменка ничем не отличается от других сел и местечек правобережной Украины. Но судьбе было угодно, чтобы ее название вошло не только в историю борьбы украинского казачества с поляками, но и в историю России и русской культуры, и стало известно каждому грамотному русскому человеку.

Расположена Каменка в 45-ти верстах от бывшего уездного города Чигирина, в котором в 16-ом столетии был старостой Богдан Хмельницкий. Первую свою победу Богдан одержал над польскими гетманами при Желтых Водах, там, где Тясмин впадает в Днепр.

Вблизи Каменки, в глубине большого Грушевского леса, стоит старинный Матронинский монастырь, окруженный древними земляными укреплениями. Основан он был Павлом, епископом Переяславским, за 10 лет до нашествия Батыя.

²⁾ На этой мельнице работал Шервуд-Верный, выдавший заговор декабристов.

Имя свое он получил от княгини Матроны, владевшей этой местностью в те времена. Монастырь был разрушен до основания татарами и только в 1568 году на его месте была сооружена часовня. Князь Ян Яблоновский, владевший в начале 18-го столетия Чигиринским староством, утвердил за монастырем его прежние земли, без присоединения его к Унии, что однако не помешало игумену Мельхиседеку пойти против поляков и в 1768 году освятить мечи Железняка и Гонты для Уманской резни.

В конце польского владычества и еще в первой половине царствования Екатерины II Каменка была собственностью известных польских магнатов, князей Любомирских. В то время Потемкин, будучи уже князем Таврическим, но не утоливший, несмотря на все почести и несметное богатство, своего безграничного честолюбия, мечтал о короне, которая сравняла бы его по положению с Екатериной и раз навсегда положила бы конец проискам ее последнего фаворита Зубова. Легче всего было осуществить эти мечты в Польше, где королевское звание было выборным, но для этого надо было стать польским магнатом, т. е. обладать поместьями в королевстве. С этой целью Потемкин приобрел у князей Любомирских, за шесть миллионов рублей, Смелянское воеводство, в состав которого входили Смела и Каменка. Неизвестно, посетил ли когда-нибудь Потемкин свои украинские владения, но с уверенностью можно сказать, что он никогда в них подолгу не жил. Перед смертью он завещал своей любимой племяннице, красавице Сашеньке Энгельгардт, выданной им замуж за графа Браницкого, знаменитую Белую Церковь, в которой еще перед самой революцией 1917-го года было около 900 тысяч десятин. А детям своей сестры Самойловой, чей муж был его шафером на его свадьбе с Екатериной, кроме других поместий, Смелу и Каменку. Первая досталась его племяннику, Александру Николаевичу, а вторая — его сестре, Екатерине Николаевне.

Судьба Екатерины Николаевны Самойловой была незаурядной. Императрица Екатерина и ее отец рано распорядились ею. Она была выдана замуж за Николая Семеновича Ра-

евского в столь раннем возрасте, что после брака еще долго продолжала играть в куклы, которые спешила спрятать, услышав звон бубенчиков тройки возвращавшегося мужа. Брак этот длился недолго, Николай Семенович Раевский скончался в 1771 году от ран, полученных под Шумлой, оставив Екатерину Николаевну молодой вдовой с двумя сыновьями. Однако ее вдовство было кратковременным. Через год после смерти мужа она вновь вышла замуж по любви за генерал-майора Льва Денисовича Давыдова.

Лев Денисович Давыдов был татарского происхождения. Предок его, мурза Минчак, сын мурзы Косая, прибыл в начале XV-го столетия из Золотой Орды ко двору великого князя Василия I-го Дмитриевича, и при святом крещении получил имя Симеона. Крестившись, он стал прозываться Симеоном Косаевичем Минчаковым. По принятому тогда обычаю, великим князем ему были пожалованы земли, одни — в Новгородской области, другие — под Москвой, около Бородина ³⁾. У Симеона Косаевича было два сына — Давыд и Увар. От первого пошел род Давыдовых, а от второго — дворян и графов Уваровых. Первые поколения Давыдовых назывались Давыдовыми-Минчаковыми и, по-видимому, имели княжеский титул, т. к. их герб помещается на княжеской мантии при дворянской короне. Род Давыдовых до Льва Денисовича ничем особенным не отличился. Он первый достиг высокого служебного положения, заняв пост оберкригскомиссара. Екатерина II пожаловала его также званием флигель-адъютанта.

Вступив в начале 1790 годов во владение Каменкой, Екатерина Николаевна, до смерти своего второго мужа в 1801 году, не жила в ней постоянно. Только в начале прошлого столетия она в ней окончательно поселилась и не оставляла ее до самой своей смерти в 1825 году.

С ее приездом в тихую глухую Каменку вторгся дух славного века Екатерины II. Тогда еще существовавший, Каменский дом в правой части парка, наполнился жизнью. Знатные друзья и знакомые из Петербурга, Москвы, Смелы и Белой Церкви, а также соседи-помещики стали ее постоянными

³⁾ Л. Н. Толстой при описании в «Войне и Мире» Бородинского сражения, говорит: «Несколько десятков тысяч человек лежало мертвыми в разных положениях в мундирах на полях и лугах, принадлежавших г-м Давыдовым и казенным крестьянам».

гостями. Однако, до 1816 года, т. е. до конца Наполеоновских войн и возвращения русских войск из-за границы, жизнь в Каменке не достигла еще своего апогея. Лишь с этого времени, когда дети и внуки Екатерины Николаевны вернулись из долголетних и дальних походов, в Каменке послышался «веселый шум деревенской семейной жизни».

К привычным посетителям Каменки присоединились друзья и боевые товарищи сыновей и внуков Екатерины Николаевны. На Украине в то время была расквартирована Вторая Армия, штаб которой находился в Тульчине, Подольской губернии, а полки были рассеяны по городам и местечкам. Главнокомандующие, командиры и офицеры Второй Армии часто посещали Каменку. О том, какова в эту эпоху была жизнь в Каменке, можно судить по тому, что пишет П. И. Чайковский в письме к Н. Ф. фон Мекк. Он часто, как мы увидим дальше, посещал Каменку. Вот что он пишет: «Сегодня Александра Ивановна Давыдова⁴) подробно рассказывала мне про жизнь Пушкина в Каменке. Судя по ее рассказам, Каменка в то время была большим, великолепным, барским имением, с усадьбой на большую ногу. Жили широко, по тогдашнему обычаю, с оркестром, певчими и т. д.»... Да это было и немудрено: Екатерина Николаевна была так богата, что из начальных букв названий ее имений можно было составить фразу: «Лев любит Екатерину».

В Каменке у Екатерины Николаевны жило ее многочисленное потомство. Из двух ее сыновей, от первого брака с Н. С. Раевским, оставался в живых один Николай, знаменитый герой Наполеоновских войн, храбрейший из храбрых, чье имя прославлено в русской военной истории многими подвигами, в частности в Бородинском бою и при взятии Парижа. У него было два сына: Александр и Николай — и четыре дочери. Оба сына были друзьями Пушкина и первый из них его «Демоном». Среди дочерей отличались красотой и привлекательностью Екатерина, невеста генерала Орлова, и Мария, впоследствии жена декабриста, князя С. Г. Волконского. Детей от брака с Л. Д. Давыдовым у Екатерины Николаевны было четверо — три сына и одна дочь. Старший сын, красавец Петр,

⁴) Моя прабабушка, вдова декабриста В. Л. Давыдова.

прозванный «le beau» ⁵⁾), женатый на графине Н. В. Орловой, состоявший гофмаршалом высочайшего двора, жил постоянно в Петербурге и редко бывал в Каменке. Дочь София, младшая из детей Давыдовых, была замужем за первым Таврическим губернатором, генерал-майором А. М. Бороздиным, и жила в Симферополе. У матери в Каменке жил второй сын Екатерины Николаевны с женой и детьми — их было трое — и неженатый младший Василий.

Известный гастроним того времени, Александр Львович Давыдов, прославился своей невероятной тучностью. Обеденный стол перед его местом пришлось вырезать по форме его живота — иначе он не мог брать еду со своей тарелки. Свой культ еды он довел до того, что, отправляясь в Париж, он брал с собой своего крепостного повара и когда приходил в ресторан, то посылал его на кухню, чтобы он указывал французским поварам особенности его вкуса. Как-то, отправляясь морем в Крым, он звал Пушкина совершить с ним путешествие, но последний не мог последовать его приглашению и ответил ему в стихах:

«Нельзя, мой толстый Аристипп:
Хоть я люблю твои беседы,
Твой милый нрав, твой милый хрип,
Твой вкус и жирные обеды,
Но не могу с тобою плыть
К брегам полуденной Тавриды...»

Как видно из этого стихотворения, Пушкин любил Александра Львовича, но это не мешало ему подтрунивать над ним и называть его «рогоносцем величавым». Поводом к такому прозвищу было то, что жена Александра Львовича, урожденная Грамон, из рода герцогов Грамон, не отличалась супружеской верностью. У ее ног, по словам современников, умирали все, начиная с главнокомандующих и кончая корнетами. Не избежал этой участи и Пушкин, если судить по его стихотворению «Кокетке». Впрочем, видимо, он недолго привлекал ее внимание, т. к. ей посвященная эпиграмма «Иной имел мою Аглаю...» выдает его досаду на нее. Вместе

⁵⁾ В него, говорят, была влюблена принцесса Баденская, сестра императрицы Елизаветы Алексеевны.

с тем увлечение Аглаей не помешало Пушкину волочиться за ее двенадцатилетней дочерью Аделью и смущать ее своими страстными взглядами. Вероятно, однако, последнему волокитству Пушкин не придавал значения, т. к. стихотворение, посвященное Адели («Играй, Адель, не знай печали...»), носит скорее характер восхищения милым и красивым ребенком.

«Умным проказником» прозвал Пушкин младшего сына Екатерины Николаевны, Василия, будущего декабриста. Le Richard — называли его в обществе, а современники говорили о нем, что он был человеком незаурядным по образованию, уму и остроумию, но добрым и бесхарактерным. По свидетельству князя В. П. Горчакова, он щеголял манерами простолюдина. У меня сохранились две фотографии с его портретов, одного сделанного в молодости и другого — незадолго до смерти. На первом он изображен красивым молодым человеком, с правильными чертами лица, с зачесанными назад волосами, с небольшими усами, приподнятыми бровями и добрыми мечтательными глазами. На втором, написанном в Сибири, виден сломленный страданиями и лишениями тяжелой каторжной жизни старик с угасшим взором. Мои тетки, свято чтившие память своего отца, особенно подчеркивали в своих рассказах о нем, его религиозность и бесконечную доброту.

В описываемое мною время он не был женат, у него была связь с крепостной его матери, Александрой Ивановной Потаповой. Связь эта не была обычным в то время приключением помещика с подвластной ему крепостной девушкой. Это была сильная привязанность, длившаяся много лет и превратившаяся в законный брак только за год до ареста и ссылки, лишь потому, что при жизни матери этот брак был невозможен. Насколько прочно было чувство, соединявшее моего прадеда-декабриста и мою крепостную прабабушку, видно из того, что она была одной из славных русских женщин, последовавших за мужьями в Сибирь, разделившая с ним там, до самой его смерти в Красноярске, все тяготы его жизни. Мне довелось ее видеть и знать: она умерла в Каменке 92-х лет от роду, когда мне было уже 14 лет, умерла, окруженная своим многочисленным потомством, чтившим ее как свя-

тыню. Отличительными ее чертами были истинно христианские смирение и доброта. Глядя на нее и слушая ее, казалось, что это не женщина, а ангел, для которого ничто земное не существует. А вместе с тем, сколько надо было силы воли и духовной бодрости, чтобы, уезжая за мужем в Сибирь, оставить шесть человек рожденных до ссылки детей, родить и воспитать на каторге еще семь и поддерживать слабовольного мужа, тяжело переживавшего свое несчастье.

Кроме своего прямого потомства, Екатерина Николаевна воспитывала в своем Каменском доме многочисленных племянников и племянниц, а также, на правах своей приемной дочери, дочь своего крепостного дворецкого⁶⁾.

Легко себе представить веселье жизни всего этого многолюдного общества в богатом доме Екатерины Николаевны. Однако эта жизнь не отражала уже отсталого провинциального помещичьего быта, еще не изжитого в то время в России. Сама Екатерина Николаевна, ее родственники и гости принадлежали к тому кругу общества, которого уже коснулись новые веяния эпохи. Воспитание, полученное представителями этого круга, значительно отличалось от того, которое давалось их родителям до царствования Екатерины II. Воспитанные французскими гувернерами, они выросли на французской литературе и, преимущественно, на сочинениях энциклопедистов. Много способствовало их развитию и масонство, широко распространенное в России во времена Екатерины.

Но если старшие представители Каменского общества интересовались иностранной и нарождающейся русской литературой, философскими течениями и музыкой, то среди молодежи, жившей в Каменке или посещавшей ее, нарастали другие интересы. Эта молодежь выросла в эпоху «дней Александровых прекрасного начала» и пережила наполеоновские войны. Для нее были характерны те настроения, из которых родилось декабристское движение. Как известно, у последнего была прямая связь с Каменкой. В Тульчине находилась главная Дума Южного Общества, а по другим юго-западным

⁶⁾ По отношению к ней соблюдался следующий обычай: когда ее отец за столом подносил ей блюдо, она должна была встать и поцеловать ему руку.

городам и помещичьим усадьбам были раскинута местные управы. Одна из этих управ находилась в Каменке, и ее председателем был Василий Львович Давыдов. В то время как в нижнем этаже дома, в гостиной Екатерины Николаевны, шли светские разговоры, наверху, в комнате Василия Львовича, заговорщики обсуждали планы переворота.

Вот, что пишет Пушкин П. Н. Гнедичу о своем пребывании в Каменке:

«Я в деревне Давыдовых, милых и умных отшельников. Время мое протекает между аристократическими обедами и демократическими спорами. Общество наше, теперь рассеянное, было недавно разнообразная и веселая смесь умов оригинальных, людей известных в нашей России, любопытных для незнакомого наблюдателя. Женщин мало, много шампанского, много острых слов, много книг, немного стихов. Вы поверите легко, что преданный мгновению, я мало заботился о толках петербургских».

Помимо председательствования в Каменской Управе, Василий Львович, имея, благодаря своей прежней службе в лейб-гусарах, много товарищей и друзей в гвардейских полках, бывших членами Северного Общества, был звеном между ним и Тульчинской Думой. В Каменку постоянно приезжали курьеры из одного и другого Общества для обсуждения плана общих действий. Курьеры эти оставались по несколько дней в Каменке и, принимая участие в «аристократических обедах», после них уходили в комнату Василия Львовича, где произносились пламенные речи и лилось рекой шампанское. Не все собеседники были членами тайных обществ, но все сочувствовали их идеям, иногда даже не зная о существовании этих обществ. Князь П.А. Вяземский, говоря о непричастности Пушкина к заговору, говорит: «Он жил и раскалялся в этой жгучей и вулканической атмосфере. Все мы более или менее дышали и волновались этим воздухом».

Среди постоянных участников вечерних «демократических споров» были Александр Львович, Н. Н. Раевский с двумя сыновьями, генерал Орлов, кн. С. Г. Волконский, а из наезжающих гостей, кроме других, Охотников, Якушкин и Пушкин. Из них только сыновья Раевского, генерал Орлов,

кн. С. Г. Волконский, Охотников и Якушкин были членами тайных обществ.

Об этих сборищах вспоминают Пушкин и декабрист Якушкин. Первый в своем послании к Давыдову, а второй в своих воспоминаниях. Пушкин пишет В. Л. Давыдову:

А все невольно вспоминаю,
Давыдов, о твоём вине...
Вот евхаристия другая,
Когда и ты, и милый брат,
Перед камином надевая
Демократический халат,
Спасенья чашу наполняли
Беспенной, мерзлую струей
И за здоровье «тех и той» 7)
До дна, до капли выпивали!

Якушкин же рассказывает о последнем вечере, проведенном в Каменке:

«Приехав в Каменку, я полагал, что там никого не знаю, и был приятно удивлен, когда случившийся здесь А. С. Пушкин выбежал ко мне с распростертыми объятиями. В это время были в Каменке ген. Н. Н. Раевский, сын его Александр, Орлов, Охотников».

«В последний вечер В. Л. Давыдов, Охотников и я сговорились так действовать, чтобы сбить с толку Раевского насчет того, принадлежим ли мы к Тайному Обществу или нет. Для большего порядка в прениях был выбран президентом Раевский. С полущутливым и с полуважным видом он управлял общим разговором...».

«В последний этот вечер пребывания нашего в Каменке, после многих рассуждений, Орлов предложил вопрос: насколько было бы полезно учреждение Тайного Общества в России? Сам он высказал все, что можно было сказать за и против Тайного Общества. В. Л. Давыдов и Охотников были согласны с мнением Орлова, Пушкин с жаром доказывал всю пользу, какую могло бы принести Тайное Общество в России. Тут, испросив слово у президента, я старался доказать, что в России совершенно невозможно существование Тайного Общества, которое могло бы быть хоть сколько-ни-

7) «Те и та» — неаполитанские революционеры и неаполитанская республика.

будь полезно. Раевский стал мне доказывать противное и исчислял все случаи, в которых Тайное Общество могло бы действовать с успехом и пользой. В ответ на его выходку я ему сказал: «мне нетрудно доказать вам, что вы шутите; я предложу вам вопрос: если бы теперь существовало Тайное Общество, вы наверное к нему не присоединились бы. — Напротив, наверное бы присоединился, — отвечал он. — «В таком случае давайте мне руку», — сказал я ему. И он протянул мне руку, после чего я расхохотался, сказав Раевскому: разумеется, все это только одна шутка. Другие тоже смеялись, кроме А. Л. Давыдова, рогоносца величавого, который дремал и Пушкина, который был очень взволнован; он перед этим уверился, что Тайное Общество или существует, или тут же получит свое начало и он будет его членом; но когда он увидел, что из этого вышла только шутка, он встал покрасневшись и сказал со слезой в глазах: «Я никогда не был так несчастлив, как теперь. Я уже видел жизнь мою благоуженною и высокую цель пред собою, — и все это была только шутка...». В эту минуту он был точно прекрасен.

Много было написано о том, почему на каменских вечерних беседах Пушкин не был принят в Тайное Общество. Думается мне, что дед мой, Петр Васильевич, его брат Николай и старшая сестра Елизавета правильно решили этот вопрос. По их рассказам выходило, что заговорщики, во-первых, не рассчитывали на осторожность Пушкина, боясь, что при его темпераменте, он не то что не сдержит данного им слова хранить тайну, но либо стихом, либо необдуманно сказанным в споре словом наведет власти на след Тайного Общества. С другой стороны, они понимали, что участие Пушкина в заговоре, в случае неудачи, погубит его и его талант, т. е. принесет России незаменимую потерю.

Пушкин приехал в Каменку в ноябре 1820 года с генералом М. Ф. Орловым из Кишинева (где последний командовал воинской частью), вероятно, по приглашению семьи Раевских, с которыми он путешествовал по Кавказу, а потом провел некоторое время в Крыму, в Гурзуфе. Помимо дружбы с сыновьями Н. Н. Раевского, Александром и Николаем — последнему он посвятил написанного им в Каменке «Кавказского пленника» — Пушкина влекло туда, может быть, одно

из самых возвышенных и чистых из испытанных им чувств: его любовь к их сестре Марии, будущей жене декабриста кн. С. Г. Волконского. Любовь эта началась на Кавказе, а, может быть, в Крыму, и выразилась сначала в известных строфах «Евгения Онегина», где он говорит о женских ножках, а затем, позже, когда Мария Николаевна была уже с мужем на каторге в Сибири, в посвящении ей «Полтавы».

Чувство это, впрочем, не мешало Пушкину волочиться за Аглаей Давыдовой, преследовать ее дочь Адель, принимать участие в «демократических спорах» и, главным образом, писать... Кроме «Кавказского пленника», он написал в Каменке: «Я пережил свои желанья»... и несколько других стихотворений, которые он подарил В. Л. Давыдову и которые были взяты жандармами при аресте последнего, и погибли безвозвратно.

Блестящий период каменской истории продолжался недолго — всего каких-нибудь десять лет. В начале 1825 года скончалась Екатерина Николаевна, а в январе следующего года, после разгрома восстания 14-го декабря, были арестованы Василий Львович Давыдов и кн. С. Г. Волконский. Жизнь в Каменке замерла надолго — на 35 лет. Александр Львович скончался еще раньше, а его жена вернулась во Францию и впоследствии вышла замуж за известного генерала Себастиани. Раевские переехали в выделенную им еще в 1805 году часть Каменки, Болтышку, а жена Василия Львовича последовала за мужем в Сибирь, оставив своих детей на попечение графини Чернышевой-Кругликовой, жившей в Петербурге. Этих детей было шестеро: два сына и две дочери, рожденные до брака, и два сына — мой дед Петр и мой дядя Николай, родившиеся после брака и до ссылки. Екатерина Николаевна завещала Каменку Василию Львовичу, а потому после ссылки она перешла к его законным сыновьям и не была конфискована.

Опекуном над малолетними наследниками и их имуществом был назначен владелец Смелы, муж племянницы Екатерины Николаевны Самойловой, граф Бобринский. Видимо, он уделял мало внимания Каменке, т. к., по словам моего деда, в дни его детства и юности, там полновластно распоря-

жались управляющие, не только не соблюдавшие интересов владельцев, но форменным образом расхищавшие имение. Почему-то во время их владычества были разобраны до основания огромный каменный дом и флигель с колоннами в левой части парка, в котором, лежа на бильярде, любил писать Пушкин. До разорения главного дома на его террасах, где когда-то собиралось аристократическое общество, управляющие устраивали пиршества с соседями. Лилось оставшееся еще в погребах шампанское, которым поили даже лошадей, а хор крепостных пел малороссийские песни.

В результате такого управления каменское хозяйство пришло в полное расстройство и его молодым хозяевам грозило разорение. Их спасли испытанные ими в Петербурге неудачи. Окончив Школу Гвардейских Подпрапорщиков, старший из них, Петр, вышел офицером в Конную Гвардию, а младший, Николай, — в Преображенский полк. Однако, оба они недолго оставались на военной службе. Первому пришлось ее покинуть из-за недопустимых шалостей, а второму — из-за резкости, допущенной по отношению к нему наследником престола, будущим императором Александром II. Когда Николаю I было доложено, что корнет Конной Гвардии, Петр Давыдов, проскакал на паре с пристяжной по Невскому Проспекту от Адмиралтейства до Александро-Невской Лавры, а затем выехал верхом в лагере на переднюю линейку, в голом виде, он только рассмеялся и сказал: «Пусть поедет проведать отца в Сибири». Наказание было легким, потому что дед отправлялся в Красноярск совершенно свободно и мог вернуться оттуда, когда ему заблагорассудится. Да и для ссыльного отца было большой радостью увидеть сына. Так мягко поступил с сыном декабриста прославленный своей строгостью Николай I. Совершенно иначе обошелся с дядей Николаем наследник Александр Николаевич, впоследствии даровавший амнистию декабристам. На параде Преображенского Полка, который он принимал, он крикнул сделавшему какую-то ошибку дяде: «Подпоручик Давыдов, вы всегда и все врете», — после чего дяде не оставалось ничего другого, как подать в отставку.

Пробыв в Сибири не более года, мой дед вернулся женатым на дочери декабриста кн. С. П. Трубецкого, красавице

Елизавете, и поселился с ней в ее имении Саблы, в Крыму, а дядя Николай отправился в Каменку заниматься хозяйством. Это и спасло ее.

Найдя дела в Каменке в полном расстройстве, дядя Николай всецело отдался приведению их в порядок. Образ жизни, принятый им тогда и сохраненный им до конца жизни, был спартанский. О «веселом шуме семейной деревенской жизни» в Каменке теперь не могло быть и речи. От прежнего каменского богатства не оставалось и следа, да к тому же дядя был холост и жил один. Надо было думать не только о собственном питании, но и братьях и сестрах, живших в Петербурге, да и об отце и его семье в Сибири... Под руководством своего дяди гр. Бобринского, опытного сельского хозяина и пионера свекловичного сахароварения на Украине, дядя Николай сначала наладил в Каменке полеводство, а затем построил сахарный завод. Дела начали быстро поправляться, и через несколько лет братья могли не только содержать себя и отца, но и откладывать капитал для рожденных в Сибири сестер и братьев.

В 1855 году, похоронив в Красноярске мужа, вернулась с детьми прабабушка моя Александра Ивановна. Поселилась она в Киеве и лишь летние месяцы проводила в Каменке. Все же в последней опять началось некоторое оживление. Давыдовская семья соединилась, Александра Ивановна собрала вокруг себя своих детей как родившихся до ссылки их отца в Сибирь, так и после нее. К этому времени из ее 13-ти детей оставалось в живых одиннадцать.

Скоро дяде Николаю, главным интересом которого никогда не было сельское хозяйство, удалось осуществить то, что всегда его привлекало, т. е. занятие философскими, общественными и политическими вопросами. Заметив, что старший из рожденных в Сибири братьев, Лев, проявляет интерес и способности к хозяйству, он с согласия своего брата и совладельца по Каменке, моего деда Петра Васильевича, передал ему управление имением, а сам, пользуясь обширной библиотекой, сохранившейся в Каменке, предался своим любимым занятиям.

Я хорошо помню дядю Колю, как мы его звали. Он умер в 1916 году, девяноста лет от роду, когда я был уже совсем

взрослым. У меня, по мере того, как я узнавал его, сложилось о нем впечатление, как о человеке незаурядном. Наружно он был небольшим, сухим стариком, никогда не хворавшим и в молодости обладавшим большой физической силой. Все его движения, походка, жесты были как-то решительны и живы, в них проявлялась унаследованная от матери сила воли. Внутренне он был странным сочетанием почерпнутых им в книгах отца идей XVIII-го века и крайнего консерватизма. Слушая его и наблюдая за ним, я сначала прозвал его последним вольтерианцем, но сохранить за ним это прозвище мне мешал его политический консерватизм. Никогда не слышал я от него атеистических высказываний, но вместе с тем я не помню, чтобы он когда-либо ходил в церковь, даже в Пасхальную ночь. Зато о либеральных идеях того времени он говорил, не скрывая своего отвращения к ним. Мне кажется, что унаследовавши от отца большой ум и остроумие, получив в детстве хорошее образование, усовершенствованное чтением, он был одиноким в окружающей его среде. Горячо любя свою мать, своих сестер и братьев, дядя Николай не хотел оскорблять их высокую религиозность атеистическими высказываниями, а политические его взгляды вполне совпадали с их убеждениями. Я часто спрашивал себя, как дети декабристов, по крайней мере те, которые составляли мою родню, так резко отличались своими взглядами от своих родителей. Мне долго было непонятно, что дети людей, пошедших из-за своих либеральных взглядов на казнь и сохранивших на ней верность этим взглядам, могли, свято чтя память своих родителей, так резко расходиться с ними во взглядах. Помню, как поразил меня трогательный рассказ кн. С. М. Волконского в его книге «О Декабристах» о том, как его отец, посланный имп. Александром II в Сибирь с манифестом об амнистии, переправившись в Иркутске ночью через Ангару, постучал в дверь дома своего отца и на вопрос: «Кто там?» — ответил: «Я привез прощение». Мне казалось странным, как люди, загубившие свою жизнь из-за желания свергнуть царскую власть, могли с радостью принять от нее «прощение». Каюсь, что было время, когда я подозревал этих чистых, идейных людей в ренегатстве, в сдаче и раскаянии в совершенном ими. Однако сохранившаяся в русском обществе, в самых левых его кругах, благоговейная

память о декабристах заставила меня изменить свое мнение. Теперь слова сына декабриста Волконского представляются мне как заключительный аккорд долгой драмы, пережитой Россией от начала царствования имп. Александра I до воцарения Александра II. Манифест, привезенный темной ночью в Иркутск, означал конец целого периода русской истории и был зарей того нового дня, который всходил над Россией. Пушкин писал декабристам:

«Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремление»

и он не ошибся. Сын «жандарма Европы» в начале своего либерального царствования признав правоту тех, кто тридцать лет перед тем мыслил как он, протянул им руку. Сын Волконского мог вместо «прощения» сказать «примирение». Для детей декабристов дело их отцов казалось законченным, и правда, с властью, оказавшейся на их стороне, им было нечего более бороться, а высокая духовность и бескорыстная жертвенность их отцов вызывала в них глубокое уважение.

Чтобы закончить образ дяди Николая, мне надо остановиться на его характере. При первой встрече и после первого с ним разговора его можно было принять за человека недоброго, властного, не терпящего чужого мнения, и лишь при более близком знакомстве с ним открывались его большое обаяние и сердечная доброта. Даже совершенно новому для него человеку, не разделяющему его взглядов, он мог стукнуть палкой, ответить: «вздор», а затем поразить его глубиной своих мыслей и обширностью своих знаний. Доброта его сказывалась не только в широкой благотворительности, но и в том, что от него никто не слышал осуждения кого-либо. Если кто-нибудь, даже из близких родственников, совершал что-либо несогласное с правилами морали или чести, он делал вид, что ничего не знает об этом, и не менял к нему своего отношения.

Была у дяди Николая особая черта, распространенная, впрочем, и среди других русских помещиков на Украине: он ненавидел поляков, которых было много среди соседей-помещиков. Он называл их «ляхами», и ни один из них никогда не переступил порога каменского дома. Причиной такой ненависти было воспоминание о польском восстании 1863 года.

Хотя польские помещики не могли найти поддержки в местном православном населении, все же им удавалось составлять небольшие банды для нападения на полицию и на усадьбы русских соседей. Последним приходилось принимать меры охраны и предосторожности. Дядя Николай, за неимением огнестрельного оружия, вооружил свою дворню изготовленными на каменной кузнице пиками и сам по ночам ходил дозором по усадьбе. Дело обошлось благополучно: на Каменку никакого нападения не было совершено, а на память об этом времени у дяди долго хранились две пики.

Были у дяди Николая и странности, в том числе невероятная мнительность. Обладая хорошим здоровьем, он считал необходимым за ним тщательно следить и для этого ежедневно, три раза в день, измерял свою температуру и записывал ее в особые книжки, рядом с другими заметками о своем самочувствии. Такие записи у него накопились за много лет, и когда его спрашивали, какая у него была температура, положим, 3-го декабря 1865 года в 3 часа дня, то он брал с полки соответствующую книжку и давал точную справку. Удивительно то, что температура всегда оказывалась нормальной. В той же заботе о своем здоровье он требовал, чтобы врач больницы его сахарного завода ежедневно утром посещал его и приписывал ему лекарство. Не зная, как поступить, врач сговорился с аптекарем, что какой бы рецепт он ни получил от дяди, он посылал бы ему просто воду с сиропом. Но однажды врачу пришлось прописать настоящее лекарство в виде капель, которые и были доставлены из аптеки ввиду особой пометки на рецепте, сделанной врачом. Привыкнув пить свои сиропы столовыми ложками, дядя, таким же образом принял и капли, что впрочем нисколько ему не повредило.

Милый, хороший дядя Коля, еще сейчас вижу тебя таким, каким ты приходил из своего «Зеленого Домика» к пятичасовому чаю в «Большой Дом», где жили твоя мать и твои сестры. Вижу твою небольшую, сухую, крепкую фигуру, так решительно шагающую с палкой в руках, вижу блеск твоих умных черных глаз и твою милую добрую улыбку, когда ты подставлял для моего поцелуя свою гладко выбритую щеку.

Какой ты был всегда опрятный, как хорошо пахло от тебя каким-то особенным мылом...

В 1860-ом году дядя Лев Васильевич Давыдов, женился на Александре Ильиничне Чайковской и привез молодую жену в Каменку. Это обстоятельство открыло новую страницу в истории Каменки и связало ее имя с именем Петра Ильича Чайковского. Судьбе было угодно, чтобы вслед за Пушкиным, другой русский гений увековечил ее имя. И не только тем, что этот гений часто посещал ее и даже одно время сделал ее своим постоянным местожительством, но и тем, что обитатели ее, т. е. семья Давыдовых, стали для него самыми близкими и дорогими людьми.

Что же такое нашел Петр Ильич в Каменке и у Давыдовых, чтобы полюбить их как родных?

Прежде всего ни сама Каменка с ее неудобной усадьбой, состоящей из небольших тесных домиков, расположенных над вонючим, болотистым Тясмином, рядом с грязным и пыльным еврейским местечком, ни окружающий ее пейзаж не могли привлекать Петра Ильича, видевшего роскошь Браиловской усадьбы Н. Ф. фон Мекк и много путешествовавшего за границей. Затем сами Давыдовы, с их скромной и однообразной жизнью и отстающими от века понятиями и небольшим интересом к музыке, казалось бы, не могли для человека утонченной культуры и широких знаний, каким был Петр Ильич, быть обществом, где он мог бы найти удовлетворение своим интересам. Даже дядя Николай, этот умный и образованный, но чуждый новым столичным вкусам и нетерпимо относящийся к чужим взглядам человек, вряд ли мог казаться приятным и симпатичным Петру Ильичу. Наконец, несмотря на широко распространенное мнение о том, что Петр Ильич высоко ценил украинские народные напевы и многое из них взял для своих сочинений, в действительности, как мы теперь знаем, его в этом отношении постигло большое разочарование. То, что он услышал в Каменке, было лишено оригинальности, а по красоте уступало великорусским песням. Лишь фортепианный «Scherzo à la Russe» инспирирован песнью, которую пели под его окном садовые девушки, да тема Второй Симфонии, которую Петр Ильич

сначала назвал «Журавель», взята из украинской песни того же названия. Даже известные песни «лирников», т. е. слепых украинских нищих поющих о былой славе Украины, не нашли в нем особого отклика, лишь одну из них он использовал в первой части своего фортепианного концерта (ор. 23).

И тем не менее, где бы Петр Ильич ни находился: в роскошном ли Браилове, на даче ли близ Петербурга, в Париже, в Италии или в Швейцарии — его всегда тянуло в Каменку. Уже после первого посещения он пишет сестре: «Никогда в жизни не проводил я более приятного лета». А живя с семьей Давыдовых на Мятлевой даче близ Петергофа, он пишет: «Мы живем на Мятлевой даче совсем недурно, и если бы не постоянная грызущая мысль о Каменке, то можно было бы найти эту жизнь приятной». И даже, находясь в Париже, он мечтает о Каменке. «Нельзя не признать, — пишет он, — что для работающего артиста такая шумная блестящая обстановка, как Париж, годится бесконечно менее, чем какое-нибудь Тунское озеро, уже не говоря о берегах, хотя вонючего, но милого Тясмина, имеющего счастье протекать мимо дома, в котором живут некоторые прелестные и дорогие мне особы».

И рядом с этой постоянной мыслью о Каменке в письмах Петра Ильича мы находим самые теплые и нежные слова об ее обитателях. Так прабабушку Александру Ивановну и ее дочерей, моих теток, Елизавету и Александру, он не называет иначе, как «наши ангелы», «наши голубушки». В том же письме к сестре с Мятлевой дачи он говорит: «Что за идеальные люди Давыдовы! Это для тебя не новость, а мне трудно удержаться не говорить о них: в такой интимности, как теперь, я никогда еще с ними не жил, и мне приходится каждую минуту удивляться их бесконечной доброте».

Не испугала Петра Ильича и суровая внешняя оболочка дяди Николая. По свидетельству Модеста Ильича, Петр Ильич очень скоро после первого контакта увидел под этой оболочкой его сущность и настолько подпал под его обаяние, что даже перенял у него его консервативные взгляды.

Я видел Петра Ильича в Каменке в последние годы его жизни, когда он уже редко в нее наезжал. Был я тогда еще очень юным и не мог, конечно, судить о нем и о причинах его

тяготения к ней и к моей родне. Все же многое может быть доступным моему пониманию, потому что я жил в той атмосфере, которой дышал Петр Ильич, и близко знал тех, кого он так любил. Много слышал я о Петре Ильиче и о его жизни в Каменке от ее жителей, а впоследствии, возвращаясь среди семьи его сестры, зная хорошо ее детей, моих двоюродных дядей и теток, я не только знал, но и чувствовал эту атмосферу. Для меня не подлежит сомнению, что главная причина любви Петра Ильича к Каменке лежала в нем самом, в его склонностях, интересах и вкусах. В ней и в семье Давыдовых он полностью нашел то, что ему было необходимо. Петр Ильич любил семейную жизнь и был лишен ее. Как артист, он нуждался в свободе и не находил ее в Петербурге. И то, и другое он полностью имел в Каменке. Прежде всего там жила его любимая сестра Александра Ильинична, чье безоблачное счастье в кругу семьи его восхищало и умиляло. Там жили ее дети, которых он так любил и для которых был любимым «дядей Петей». А затем остальные Давыдовы были такими хорошими простыми людьми, так ласково и сердечно к нему относившимися и никогда не вмешивавшимися в его личную жизнь. В Каменке Петр Ильич мог надолго исчезать в своих комнатах, беспрепятственно отдаваться своей работе, а затем, выйдя из них, беседовать с дядей Николаем на политические и философские темы, придумывать игры и забавы для детей, заниматься с ними музыкой или, наконец, мирно беседовать со своими «голубушками» и принимать участие в их шитье.

Мог он также ежедневно совершать прогулки по окружающим Каменку небольшим лесам — Зрубанцу, Тарапуну, Пляковским Дубкам — или устраивать пикники в Большом лесу, где зажигались столь любимые им костры и куда отправлялись в больших четырехместных колясках, запряженных четверкой цугом. «Господи, что бы я дал, чтобы внезапно очутиться в Большом лесу, — пишет Петр Ильич сестре из Содена, — воображаю себя тащущим сухие ветки, листья и прутья для костра; вижу на пригорке тебя с Левой и детьми, окружающими скатерть с самоваром, хлебом и маслом; вижу отдыхающих лошадей, обоняю запах сена, слышу милые детские крики. Какая все это прелесть!» Когда я пишу

эти строки, всё, что описывает Петр Ильич, встает у меня пред глазами. И я ездил в Большой лес, или, как мы его называли, Болтыш, в той же коляске, может быть, одновременно с ним, и мой детский крик слышался около пригорка, и так же пахло сеном, и так же кипел самовар...

Но в Каменке Петр Ильич находил и другое, что шло на встречу его умственным интересам. Из эпох русской истории Петр Ильич больше всего интересовался веком Екатерины и особенно началом XIX столетия. В Каменской библиотеке он находил то, что занимало умы конца XVIII века, а сама Каменка и среди ее жителей прабабушка Александра Ивановна и старшая дочь ее Елизавета были живыми свидетелями событий времен царствования Александра I, а главное, видели и знали Пушкина, которого Петр Ильич так любил. Дружба Петра Ильича с семьей Давыдовых началась в Петербурге, где они жили несколько лет, беседами с тетей Лизой, которая во время пребывания ее матери в Сибири воспитывалась в доме гр. Чернышевой-Кругликовой, где она встречала всех замечательных людей того времени: Пушкина, Гоголя и др. Прабабушка же Александра Ивановна могла говорить Петру Ильичу о жизни в Каменке, когда в ней бывал Пушкин и собирались декабристы.

Если украинский фольклор не имел особого влияния на творчество Петра Ильича, то, несомненно, историческое прошлое Каменки и в особенности тень Пушкина, легшая на нее, влияли на него сильно. Недаром в Каменке он полностью написал увертюру «1812 год» и, окончив «Евгения Онегина», в первый раз сыграл его целиком перед семьей Давыдовых. Я, конечно, не был при этом, но мне нетрудно представить себе Петра Ильича за фортепиано, стоявшим у окна в левом углу столовой так называемого Большого Каменского дома. Вижу я и слушателей, сидящих на стульях и креслах ампир, вокруг обеденного стола. Вот дядя Николай с трубкой с длинным черешневым мундштуком, вот прабабушка, сгорбленная старушка с морщинистым лицом, вот тетушки, Елизавета Васильевна и Александра Васильевна, все три в простеньких сереньких платьях с пелеринками, и, наконец, дядя Лева и тетя Саша...

В то время, как я уже сказал, не было больше ни флигеля с колоннами, ни огромного Каменского дома, в которых бывал Пушкин, но сохранился в правой стороне парка грот, где он любил сидеть. Петр Ильич часто сиживал в этом гроте, и, может быть, там являлись ему образы Татьяны и Онегина. В этом гроте тетушка Елизавета Васильевна уговорила Петра Ильича не менять конца «Онегина», как предлагал ему Модест Ильич, и не заставлять Татьяну покинуть мужа ради любви к Евгению...

Если Петр Ильич под конец своей жизни стал все реже и реже посещать Каменку, то это произошло потому, что он не мог больше находить там того, в чем так нуждалась его страждущая душа. Старшие представители семьи Давыдовых быстро старели. Прабабушка Александра Ивановна, пережившая Петра Ильича, хотя и сохранила до самой смерти свежесть ума и памяти, но физически дряхлая, и долгих бесед с ней нельзя уже было вести, а все интересы ее дочерей, моих старушек тетушек, были направлены на заботу об их «маменьке», как они ее называли. В эту пору нас, мальчиков, водили к прабабушке уже только раз в день и всего на полчаса, после обеда. Но главная причина отдаление Петра Ильича от Каменки была болезнь его сестры Александры Ильиничны, причинявшая ей невыразимые страдания, облегчение которым она находила в морфине и других болеутоляющих средствах. Я помню, что под влиянием этих средств, она казалась нам ненормальной. Петр Ильич, с его повышенной чувствительностью, не мог выносить состояния сестры и, зная, что помочь ей нельзя, предпочитал ее не видеть.

Было, однако, и нечто другое, что временно влекло Петра Ильича в Каменку — это его любовь к племяннику, старшему сыну его сестры — Владимиру, более известному под уменьшительным именем «Боб». Любовь эта была, может быть, самой сильной привязанностью Петра Ильича. Началась она тогда, когда Боб был еще совсем ребенком, и в это время сказывалась только в том, что из всех детей своей сестры Петр Ильич больше всех баловал Боба. Но затем, когда мальчик стал подрастать и превратился в прелестного, талантливого, умного и милого юношу, Петр Ильич при-

вязался к нему всем сердцем. Как известно, Петр Ильич посвятил Бобу несколько своих произведений, в том числе и самое замечательное — Шестую Симфонию. Но помимо того он передал Бобу и ту поразительную тонкость эстетических ощущений, которая стала его отличительной и самой прекрасной чертой.

Когда в конце 80-ых годов Боб переехал для учения в Петербург и поселился у Модеста Ильича, последнее связующее Петра Ильича с Каменкой звено отпало и он нашел тогда другое место для своего уединения — Клин.



КАТАША ТРУБЕЦКАЯ

(РАССКАЗ ПРАВНУКА)

«Умрете, но ваших страданий рассказ
Поймется живыми сердцами,
И за полночь правнуки ваши о вас
Беседы не кончат с друзьями.
Они им покажут, вздохнув от души,
Черты незабвенные ваши,
И в память прабабки, погибшей в глуши,
Осушатся полные чаши».

Н. А. Некрасов (Русские Женщины).

Предо мной два портрета. Один миниатюра, написанная более ста тридцати лет тому назад в Париже, другой — дагерротип снятый сто лет тому назад в Иркутске. На первом изображена молодая девушка, с нежным кротким лицом, голубыми глазами, белокурыми волосами, высоким лбом и правильными чертами лица; на втором — сидящая в кресле полная старушка с лицом, выражающим душевную доброту. Оба портрета изображают одну и ту же женщину. Первый — молоденькую графиню Екатерину Ивановну Лаваль в то время, когда ей было 19 лет; второй — княгию Е. И. Трубецкую незадолго до ее смерти в 1854 году,

Глядя на эти портреты, я вспоминаю далекие времена моей юности и вижу другую старушку сидящую на диване в гостиной в своем крымском имении «Саблы» и рассказывающую мне о жизни своей матери в далекой Сибири. Это

дочь кн. Е. И. Трубецкой — моя бабушка Елизавета Сергеевна Давыдова. И не только о жизни своей матери в ссылке говорила мне моя бабушка, она вспоминала и ее рассказы о жизни в Петербурге, о родителях и сестрах, о своих предках и людях, которых она встречала в родительском доме. Но, главным образом, любила она говорить о том, что пережила ее мать в связи с событиями 1825 года и о том, как она, преодолев многочисленные препятствия, не разлучилась с мужем и последовала за ним на каторгу.

Бывают люди, имена которых входят и остаются в истории не только потому, что судьба их исключительна, но и потому, что самое происхождение их необыкновенно и что их имя вызывает за собой образы замечательных исторических людей. К таковым принадлежит кн. Екатерина Ивановна Трубецкая, или, как ее называли родные и близкие, Каташа.

Некрасов в своей поэме, посвященной ей и кн. Марии Николаевне Волконской, назвал ее «Русской Женщиной». Да она и была по складу своего характера русской, хотя в действительности русской ее назвать нельзя, — будь она заурядным человеком, не выказавшим всей своей жизнью своей русской души, ее все считали бы француженкой. Ведь отец ее был французский эмигрант Jean-Charles-François de Laval de la Loubrierie, марсельский дворянин, служивший сначала в королевской кавалерии — Hussards de Bercheny, в 1791 году состоявший при французском посольстве в Константинополе, сражавшийся в армии Кондэ и ставший впоследствии капитаном русской армии и, наконец, преподававший французский язык в Морском Корпусе и частных домах в Петербурге. Вероятно, русскую свою душу Каташа унаследовала от своей матери, происхождение которой было действительно замечательным.

Петр 1-ый, будучи на Волге, как-то переправлялся через нее на пароме. Перевозили его три молодые, здоровые парня-волжане. Петру они очень понравились своим видом и ловкостью в работе. Переправившись, он посадил их с собой обедать. Во время обеда он расспрашивал их, кто они такие, как живут и довольны ли своей судьбой. Оказалось, что они крестьяне-старообрядцы, живут своим ремеслом паромщиков и на житье-бытье не жалуются. Двое из них были братьями

Иваном и Яковом Твердышевыми, а третий — их зятем Иваном Семеновичем Мясниковым. Петр, из ответов паромщиков вынес впечатление, что они смелые, умные и сметливые люди и спросил их, почему они довольствуются столь малоприбыльным ремеслом, лишенным какого-либо будущего, когда сейчас на Урале так легко можно разбогатеть, как это сделал Демидов, нашедший там железную и медную руду. Паромщики отвечали, что они были бы рады попытаться счастья, но, что у них нет для этого даже тех малых средств, которыми располагал Демидов, начиная свое дело. Петр дал им пятьсот рублей, а к концу его жизни у них было уже, кроме денежных капиталов, восемь заводов и 76 тысяч крестьян.

Иван Твердышев умер бездетным, дочь его брата, вышедшая замуж за Гаврила Ильича Бибикова, умерла молодой и тоже бездетной. Все состояние паромщиков перешло к четырем дочерям И. С. Мясникова: Ирине Бекетовой, Дарии Пашковой, Аграфене Дурасовой и младшей незамужней Екатерине.

Потемкин, будучи в Симбирске с секретарем Екатерины 2-ой «у принятия прошений» Григорием Васильевичем Козицким, остановился у Мясникова. Гостей встречала его дочь Екатерина Ивановна, типичная волжанка, крупная, красивая, здоровая девушка. Недолго думая, Потемкин тут же сосватал ее за Козицкого. Молодые поселились в Петербурге, где Екатерина Ивановна, несмотря на то, что не получила большого образования и не говорила ни на одном иностранном языке, сумела создать себе достойное положение при блестящем дворе Екатерины, благодаря своему природному уму и сметливости. Вступая в брак с Козицким, она перешла в официальное православие.

Когда в 1775 году умер Козицкий, Екатерина Ивановна осталась молодой 29-летней вдовой с двумя дочерьми — Александрой и Анной. Обе ее дочери уже получили воспитание и образование, соответствующее обществу, к которому они принадлежали. Хотя младшая Анна имела, как говорили современники, вид расфранченной горничной, все же первой замуж вышла именно она за бывшего русского посланника в Дрездене и Турине кн. Александра Михайловича Белосельского-Белозерского. Приданое, полученное им за женой, было

по тем временам огромное и очень поправило его материальное положение; оно состояло, кроме других угодий и заводов, из 10 миллионов рублей и Крестовского острова в Петербурге. Кн. Белосельский-Белозерский был вдов и от первого брака у него была дочь — известная кн. Зинаида Александровна Волконская, жена кн. Никиты Григорьевича Волконского, брата декабриста. После декабрьского восстания она не скрывала своего отрицательного отношения к мерам, принятым правительством по отношению к заговорщикам, и с разрешения Николая 1-го навсегда переехала на жительство в Рим, где перешла в католичество. В Риме ей принадлежала известная Villa Volkonsky, в которой она принимала русских писателей и художников, в том числе Гоголя, Иванова и др. Скончалась она 17-го ноября 1850 года.

Старшая дочь Екатерины Ивановны Козицкой — Александра Григорьевна — долго не выходила замуж. Лишь когда ей было уже 27 лет, она влюбилась во французского эмигранта, марсельского дворянина Ивана Степановича Лавалья. Лаваль ответил ей взаимностью, и, казалось, ничто не могло помешать их счастью. Но Екатерина Ивановна ни за что не хотела дать своего согласия на их брак. Кто-то посоветовал им обратиться к помощи имп. Павла 1-го и подать ему прошение, что они и сделали. Павел потребовал объяснений у Екатерины Ивановны, почему она не дает своего согласия. «Не нашей веры», — отвечала она, — «неизвестно откуда взялся и имеет небольшой чин». Резолюция императора гласила: «Он христианин, я его знаю, для Козицкой чин весьма достаточный, а потому обвенчать». Дополнительное повеление было: «Обвенчать через полчаса». Лаваль получил, хотя не столь большое приданое, как кн. Белосельский-Белозерский, но все же очень приличное — кроме 20 миллионов рублей, знаменитый Архангельский завод на Урале, множество угодий и часть Аптекарского острова в Петербурге с великолепной дачей на берегу Невы.

После свадьбы молодые занялись устройством своей жизни в Петербурге. Прежде всего надо было обзавестись домом. Для этого они приобрели у А. Н. Строганова участок земли на Английской набережной близ Сенатской площади и построили на нем, по планам архитектора Тома де Томон,

дом, ставший впоследствии известным как своей архитектурой, так и накопленными в нем художественными сокровищами, а также и тем, что он стал центром, в котором сходились русские и иностранные замечательные люди того времени. Среди этих людей были Пушкин, Мицкевич, Грибоедов, Лермонтов, Козлов, m^{me} de Staël, Joseph de Maistre. Здесь 16-го мая 1828 года Пушкин читал перед Грибоедовым и Мицкевичем «Бориса Годунова», здесь 16-го февраля 1840 года, во время бала, произошло из-за кн. Щербатовой объяснение между Лермонтовым и сыном французского посланника Эрнестом Барантом, окончившееся дуэлью. Об этом доме говорит Пушкин в «Медном Всаднике»:

«Тогда на площади Петровой —
Где дом в углу вознесся новый,
Где над возвышенным крыльцом
С поднятой лапой, как живые,
Стоят два льва сторожевые —
На звере мраморном верхом,
Без шляпы, руки сжав крестом,
Сидел недвижный, страшно бледный
Евгений...»

Сокровища, собранные Лавальями, были исключительной художественной ценности. В числе картин были три Рембранда и много произведений знаменитых французских художников конца 18-го и начала 19-го столетий. В одной из зал пол был мозаичный, времен Нерона. Но самой замечательной коллекцией была коллекция этрусских и египетских древностей. Большинство этих художественных ценностей находится в настоящее время в Эрмитаже.

В этом доме супруги Лаваль прожили до самой смерти. Иван Степанович скончался 20-го апреля 1846 года, а жена его 29-го декабря 1850 года.

19-го марта 1814 года, в день взятия союзниками Парижа, Лавали находились в Лондоне, где жил в это время будущий король Людовик 18-ый. Александра Григорьевна, узнав, что претендент находится в тяжелом денежном положении, передала ему через герцога Блакаса 300.000 франков и, в благодарность за это, получила от него миниатюрный портрет, а в 1817 году король пожаловал ее мужу графский титул.

У Лавалей было шесть человек детей: четыре дочери и два сына. Сын Павел, родившийся в 1811 году, умер от оспы через год после рождения, сын Владимир, родившийся в 1806 году, проигравшись в карты, застрелился в 1825 году. Из дочерей Зинаида, родившаяся в 1803 году, была замужем два раза, в первый раз за гр. Лебцелтерном, австрийским посланником при русском дворе, и затем, после его смерти в 1854 году, за итальянским поэтом Иосифом Кампанья. Дочь ее от Лебцелтерна вышла замуж за герцога Des Cars. Одна из дочерей последней, графиня Jeanne de Cosse Brissac имела дочь, вышедшую замуж за князя de Robeck, графа Levis Mirepoix. В замке последней «La Morosière» похоронена гр. Зинаида Ивановна Лебцелтерн. София Лаваль, по прозвищу Frison, которой после смерти матери перешел дом на Английской набережной, была замужем за гр. Борх, церемониймейстером и директором императорских театров. Александра Лаваль, воспитывавшаяся у бабушки Козицкой, вышла замуж за гр. С. Т. Ф. Корвин-Коссаковского, сенатора, ученого и публициста.

Совершенно особенная судьба ждала старшую дочь Лавалей — Екатерину, или, как ее звали в семье, — Каташу. Родилась она в 1800 году. О детстве ее не сохранилось никаких сведений, кроме свидетельства ее сестры Зинаиды: «естественно веселая, прямая, порывистая, с очень развитой чувствительностью, она отличалась необыкновенной отзывчивостью и добротой». Образование, по настоянию отца, она получила превосходное. Говорила она и писала по-русски, французски, английски, итальянски и немецки. Joseph de Maistre в письме к Александре Григорьевне Лаваль говорит: «Mettez moi, je vous prie, aux genoux de cette grave Catache, notre maitresse à tous sur le participe passé».

Предо мной миниатюрный портрет Каташи, сделанный в Париже, незадолго до ее свадьбы. Ее нельзя назвать красивой. Белокурая, с голубыми глазами, высоким лбом, небольшим ртом, но с довольно толстым носом, унаследованным от деда Козицкого, она производит очень милое и нежное впечатление. Все же в обществе она имела большой успех, благодаря живости своей беседы, природному уму и излучавшейся от нее доброты.

После Реставрации Бурбонов гр. Александра Гр. Лаваль проводила много времени в Париже. На одну зиму сняла дворец Lobau и принимала в нем весь Париж. В 1819 году в доме Татьяны Борисовны Потемкиной Каташа встретила с ее племянником кн. Сергеем Петровичем Трубецким. Он был сыном кн. Петра Сергеевича Трубецкого от его первого брака с свет. кн. Дарией Александровной Грузинской. Кн. С. П. Трубецкой родился 29-го июня 1790 года и ко времени его знакомства с Каташей ему было уже 30 лет. Это был высокого роста, стройный, с красивыми черными глазами и вьющимися волосами человек, очень умный и образованный, напоминающий чертами своего лица свою мать-грузинку. Сходство это заметно и в миниатюре, сделанной в Париже, особенно же в его фотографии, снятой в старости, сохранившихся у меня.

Каташа и Трубецкой полюбили друг друга и, с согласия родителей, вскоре повенчались. Свадьба их состоялась 16/28-го мая 1820 года в русской церкви на *place Vendome*, где тогда помещалось русское посольство. После свадьбы молодые вернулись в Петербург и поселились в доме Лавалей, где родители Каташи устроили им квартиру, в которой они жили совершенно самостоятельно. Счастье их было безгранично, но оно оказалось недолговечным. Их уже ожидали страшные события, которые хотя не разлучили их, но совершенно искалечили им жизнь.

Кн. С. П. Трубецкой воспитывался и получил образование в ту эпоху, когда молодые представители русского дворянства — единственной культурной среды тогдашнего русского общества — всецело находились под влиянием идей французской революции и энциклопедистов. Эта молодежь выросла во времена «дней Александровых прекрасного начала», а долготелее пребывание за границей во время Наполеоновских войн и особенно жизнь в Париже способствовали развитию в ее среде демократических и либеральных настроений. Кн. С. П. Трубецкой не только вполне был проникнут этими настроениями, но и был одним из первых, способствовавших попытке претворения их в действительность. Вернувшись в 1816 году из заграницы в Петербург, он сначала вступил в масонскую ложу «Три Добродетели», а затем в 1817 году образовал вместе с Александром и Никитой Му-

равьевыми первое тайное общество под названием «Союз Спасения или Истинных и Верных сынов Отечества», устав которого был написан Пестелем. В 1818 году общество это было переименовано в «Союз Благоденствия», уставу которого, ранее составленному Александром и Михаилом Муравьевыми, П. Колошиным и кн. С. П. Трубецким, послужил основанием устав Тугендбунда. В 1822 году, на место уничтоженного «Союза Благоденствия» было создано в Петербурге «Северное Общество», в котором кн. С. П. Трубецкой занимал видное положение.

Квартира Трубецких в доме Лавалей, в котором бывали кроме всей знати, сам император и вся императорская фамилия, была, конечно, наиболее безопасным местом для собраний заговорщиков. В ней, в ванной комнате жены, Трубецкой хранил ручной печатный станок. В этой квартире Каташа познакомилась с Пестелем, Рылеевым, кн. Волконским и другими друзьями мужа. Однако Каташа не подозревала ничего о том, что происходило у нее. Когда же, наконец, из неосторожного разговора, она поняла, что затевает ее муж, она стала горячо отговаривать его и указывала ему на то, что его ожидает. Уговоры ее были напрасны, и заговорщики успокаивали ее тем, что бояться нечего, т. к. все меры предосторожности ими приняты.

14-го декабря 1825 года в передней дома Лавалей Пущин и Рылеев уговаривали Трубецкого, избранного накануне диктатором, выйти к взбунтовавшимся войскам на Сенатскую площадь. Он, потерявши веру в успех восстания, не послушался своих товарищей и скрылся с женой в австрийском посольстве у зятя гр. Лебцелтерна, где и был арестован.

С арестом мужа кончилась счастливая беззаботная жизнь Каташи, кончилась навсегда. Николай 1-ый на личном допросе Трубецкого обещал ему сохранить жизнь и велел тут же написать об этом жене. Таким образом Каташе, у которой отпал главный страх потерять любимого мужа, осталась одна забота о том, чтобы, несмотря на ссылку, с ним не разлучаться. Для этого, прежде всего, надо было примирить родителей с мыслью о разлуке, быть может, навсегда и, главное, получить от имп. Николая 1-го разрешение ехать за мужем в Сибирь. Мать Каташи всячески противилась ее отъезду,

но отец, понимая, что ее решение продиктовано ей чувством долга, согласился и уговорил жену.

Что касается разрешения имп. Николая 1-го, то дело было труднее. Император хотел, чтобы о декабристах забыли и, во всяком случае, чтобы их судьба не была украшена героизмом их жен. С другой стороны, Каташа была первой из жен, решившая последовать за мужем, и ей пришлось прокладывать дорогу другим.

Когда хлопоты через влиятельных родственников и знакомых не дали результатов, Каташа решила действовать самостоятельно и обратиться лично к молодой императрице. Императрица приняла очень ласково жену государственного преступника и с первых же слов поняла Каташу, но сначала советовала ей одуматься. Обнявшись, обе молодые женщины плакали. Наконец, императрица сказала Каташе: « Vous faites bien en voulant suivre votre mari, oui vous faites bien, a votre place je n'aurais pas hesite a faire la même chose. Je vous promets de prier l'empereur pour vous et vos amies ».

Императрица исполнила свое обещание, Николай 1-ый принял Каташу и в конце разговора с ней сказал: « Et bien partez et dites aux autres qu'elles peuvent le faire aussi... Je ne vous oublierai pas ».

В июле 1826 года Каташа покинула навсегда Петербург и отчий дом. Княжна Алина Волконская писала своей матери: «Я видела Каташу, она уезжает в Сибирь, как на праздник». Сама Каташа думала, что «Бог отнимет от нее свое благословение и всякое благополучие, если она покинет своего мужа». Путешествие ее было трудным, как все путешествия того времени по Сибири. Ее же трудности и тяготы усугублялись тем, что она не хотела знать отдыха и нигде не останавливалась. Секретарь ее отца, француз Воше, не говоривший ни слова по-русски, мчался впереди нее, но, наконец, не выдержал и заболел по дороге. Наконец, Каташа достигла Иркутска, где ждало новое испытание ее воли. Николай 1-ый, хотя и разрешил ей ехать к мужу, но одновременно дал секретное распоряжение иркутскому губернатору Ивану Богдановичу Цейдлеру всячески постараться отговорить ее от ее

намерения. Для этого он должен был нарисовать в самых мрачных красках будущую жизнь Каташи на каторге и напугать ее трудностями дальнейшего путешествия до Благодатского рудника, которое она должна будет сделать пешком с партией ссыльных. Когда Каташа стойко выслушала все предостережения губернатора и осталась непреклонной, он предложил ей подписать бумагу, в силу которой она должна была отказаться за себя и будущих детей от принадлежащих ей прав состояния. И лишь, когда она с готовностью подписала эту бумагу, губернатор сказал ей, что она поедет, т. к. все, что он говорил ей, было лишь попыткой заставить ее вернуться.

Местом, где Каташа соединилась с мужем, был Благодатский серебряный рудник, на котором работали Волконский, Оболенский, Якубович, Давыдов, братья Борисовы, Артамон Муравьев. Приехала она сюда с кн. М. Н. Волконской, которая нагнала ее в Большом Нерчинском Заводе. Не стоит описывать подробности свидания этих двух замечательных женщин с их мужьями, каждый может его себе представить. Для обеих это было, кроме соединения с любимыми существами, еще и победоносное завершение трудной борьбы со всевозможными препятствиями. Если Каташе пришлось преодолеть волю Николая 1-го, то кн. М. Н. Волконской надо было сломить сопротивление своего отца и своих братьев, сделавших все, чтобы помешать ей в исполнении ее намерения. Недаром Некрасов соединил их имена в своей поэме «Русские Женщины».

На Благодатском руднике декабристам пришлось работать в тяжелых условиях год, пока не была закончена постройка нового каземата в Петровском Заводе, строившегося под наблюдением коменданта генерала Лепарского. Этот генерал был специально выбран Николаем 1-ым для выполнения роли тюремщика декабристов и стал их ангелом хранителем. Рыцарский характер Николая 1-го подсказал ему слова, что, наказав бунтовщиков, он нисколько не имеет в виду мстить им, а потому он поручил их человеку гуманному и благородному. Говорят, что перед отъездом в Сибирь к месту новой должности ген. Лепарский был принят императором и после часовой беседы вышел от него взволнованным и радостным.

Жизнь жен декабристов на каторге была нелегкая, материальные условия ее были сначала очень тяжелыми и лишь постепенно улучшались. Правда, в Петровском Заводе им удалось приобрести и построить себе домики, помещавшиеся на одной улице против острога и названной «Дамской», но денег у них было недостаточно, т. к. им было разрешено получать от родных только 250 рублей в год и небольшие посылки. Ни о какой прислуге нельзя было и думать и приходилось из тех же средств улучшать питание своих мужей, недостаточное при их трудной работе. Каташа и кн. М. Н. Волконская долгое время питались одним хлебом и квасом, скрывая это от своих мужей. Со временем, когда в Петербурге узнали об этом, они стали получать по 3000 рублей в год и целые транспорты вещей и провизии.

Несмотря на все тяготы жизни, у Каташи в Петровском Заводе родилось пять человек детей; 5 февраля 1830 года дочь Сашенька, впоследствии вышедшая замуж за Н. Р. Ребиндера, за ней родилась дочь Лизанька, будущая жена сына декабриста В. Л. Давыдова — Петра, моего деда; 10-го декабря 1835 года родился сын Никита, скончавшийся в 1840 году, 6-го мая 1837 года дочь Зинаида, вышедшая замуж за Н. Д. Свербеева и скончавшаяся, уже при большевиках, в Орле 24-го июня 1924 года. Сын ее Сергей Николаевич Свербеев, мой крестный отец, был последним императорским русским послом в Берлине. Сын Владимир умер в Иркутске, в 1839 году. Значительно позже, в лучших условиях жизни, на поселении в Иркутске у Каташи родился в 1843 году сын Иван, умерший по возвращении в Россию в 1914 году. Ему дополнительным указом Сената был возвращен княжеский титул. Женат он был на кн. В. С. Оболенской, после его смерти вышедшей замуж за гр. Голенищева-Кутузова. Последним ребенком Каташи была родившаяся 15-го июня 1844 года дочь София.

В 1839 году кончился значительно сокращенный срок каторги С. П. Трубецкого, и местом его поселения был назначен Оек близ Иркутска, а затем пришло разрешение жить в самом Иркутске. Здесь жизнь декабристов приняла почти нормальный характер, особенно после назначения губернатором Муравьева.

О том, как относилась к своим страданиям и к пережитому ею Каташа, можно судить по тому, что она смотрела на это как на испытание, посланное Богом, за которое она Его благодарит. Своей сестре Лебцелтерн она пишет: «Память о Боге и память о смерти — два мощных стража всякого добра». Ни в минуту катастрофы, поразившей ее, ни впоследствии, во время самых тяжелых переживаний в ссылке — никогда она не возроптала и не раскаялась, что покинула добровольно свою счастливую жизнь в родном доме. О ней она пишет в последний период своей жизни: «Одним из самых больших оснований моей благодарности Богу безусловно является то, что Он сделал так, что все, что касается моей семьи и моих первых привязанностей детства и юности, не может возбуждать во мне иных мыслей и чувств, как только любви и утешения». О своей жизни на поселении она пишет Нарышкиной: «Внутренняя жизнь все та же, уроки детей, заботы о них — вот главное наше занятие». Ни слова о том большом деле, которое делали декабристы и о котором упоминает внук декабриста кн. С. М. Волконский: «Поселения стали культурными гнездами, очагами духовного света. В каждой семье жило и воспитывалось по несколько детей местных жителей. С юных лет они поступали под воспитательный надзор жен, потом переходили в обучение мужьям. В культурной семейной жизни соприкасались они с наукой и искусствами, крепили и зрели умственно и духовно».

Каташе не пришлось дожить до счастливого дня «прощения». Прохворав последний год своей жизни, 14-го декабря 1854 года она тихо скончалась в Иркутске на руках своего мужа и своей дочери Зинаиды, единственной из дочерей, не покинувшей еще родного гнезда.

В июле 1904 года, следуя добровольцем с эшелоном первого батальона Чембарского пехотного полка в действующую армию, в Маньчжурию, я воспользовался длительной остановкой эшелона в Иркутске, чтобы поклониться могиле моей прабабушки. В ограде Вознесенского монастыря я нашел у самого входа в его обширный двор эту могилу, пред которой ровно полвека никто из потомков этой большой русской женщины не преклонил колена. Меня сопровождал в этом паломничестве один из офицеров батальона, интересовав-

шийся историей декабристов и обладавший фотографическим аппаратом. Он снял меня стоявшим у решетки, окружавшей могилу. Я послал две такие фотографии моей бабушке Елизавете Сергеевне Давыдовой в Крым, в ее имение Саблы. Позже она говорила мне, что получила их, но когда, после ее смерти, я искал эти фотографии среди разбросанных на полу разграбленного большевиками Саблынского дома фотографий и бумаг, я найти их не мог...



САБЛЫ

В 1850 году, 29-го декабря, в Петербурге скончалась графиня Александра Григорьевна Лаваль, с которой за несколько дней перед этим случился удар. Находившийся в то время в Петербурге Иркутский губернатор Муравьев, узнав о том, что она при смерти, посетил ее и уговорил ее составить завещание, которым были бы обеспечена судьба Каташи и ее детей. Свое состояние Александра Григорьевна завещала нераздельно всем своим дочерям. После раздела на долю Каташи достались имения в Пензенской губернии, в 15 355 десятин, с 2 978 душами крестьян, и в Крыму, в 4 000 десятин. Пензенское имение было родовым, унаследованным от Екатерины Ивановны Козицкой, а Крымское — «Саблы» — благоприобретенным, купленным гр. А. Г. Лаваль, вернее ее главноуправляющим, 29 февраля 1828 года с торгов в Санкт-Петербургском губернском правлении, при особых обстоятельствах. Врач графини А. Г. Лаваль посоветовал ей морские купанья в Крыму, а т. к. в то время там еще не было сносных гостиниц и нельзя было нанять приличного дома, то графиня приказала своему главноуправляющему купить имение с усадьбой. Не выезжая из Петербурга, последний купил для нее Саблы, не отдавая себе отчета, где они расположены. Когда графиня приехала во вновь приобретенное имение, то оказалось, что хотя море в ясный день отсюда видно, но находится в 40 верстах от него по птичьему полету. Имение оказалось расположенным в прекрасной местности, большим и доходным, и гр. Лаваль оставила его за собой. Когда вторая дочь Каташи, Елизавета, вышла за моего деда П. В. Давыдова, она подарила его ей, и молодые там и поселились после короткого пребывания в Каменке.

Мой дед, Петр Васильевич Давыдов, хотя физически очень походил на своего брата Николая, с той только разницей, что имел наклонность к полноте, зато обладал совершенно противоположным характером. Далеко не столь умный, как брат, менее образованный и менее склонный к изучению серьезных вопросов, он унаследовал от отца его сердечную доброту и слабую волю. Я уже говорил о том, что в молодые годы он не был чужд некоторым проказ.

Бабушка моя, Елизавета Сергеевна, со своей стороны являлась полной противоположностью своей матери. Физически она пошла в свою бабу-грузинку. Большого роста, черноволосая, с живыми черными глазами и правильными чертами лица, она в молодости была очень красива. Что касается характера, то им она нисколько не напоминала свою мать, кроткую и добрую Катарину. Своенравная, властолюбивая, самолюбивая, волевая и вспыльчивая, она не отличалась добротой, и жизнь с ней и около нее была нелегкой. Умная и не лишенная хитрости, она добивалась своего путем интриг, когда не могла достигнуть того, чего хотела открытым способом. Образование она получила в Иркутском институте и особенно блеснуть им не могла. Понятно, что она всецело завладела своим безвольным мужем и командовала им, как хотела. Когда моя мать однажды сказала моему деду, что не может выносить обидного к ней отношения свекрови, он ответил ей: «Терпи, Оля, я столько лет терплю...»

Детей у моих деда и бабушки было трое: мой отец, Василий Петрович, родившийся в октябре 1852 года, и две дочери — Зинаида и Екатерина, первая была замужем за Дублянским, и вторая — за кн. Долгоруким. Никакого нормального воспитания своим детям моя бабушка не могла дать из-за своего характера. В детстве они ее боялись и не любили, а в зрелом возрасте ее, неудачно вышедшие замуж, дочери непрестанно обманывали родителей и стремились получить от них побольше денег. Что касается моего отца, то бабушка любила его страстно, но той эгоистической, родительской любовью, в которой больше самолюбия, чем нежности. В отце, и без того уже слабохарактерном, она убила последние остатки воли. Тем не менее, после инцидента, о котором я говорил в начале моих воспоминаний, родители передали мо-

ему отцу в собственность, кроме Юрчихи, еще и Саблы, сохранив лишь на них право пожизненного пользования.

В Саблах дед и бабушка прожили, можно сказать, всю свою жизнь. Поселившись там в 1852 году, они лишь во время Крымской войны, когда у них в доме был военный госпиталь, на два года уехали в Каменку. Со временем, уже на склоне лет, они стали проводить зимы в Симферополе, поближе к врачам и местному обществу. Смерть настигла обоих в городе. Дед мой умер в январе 1912 года, успев, за несколько дней перед тем, отпраздновать свою бриллиантовую свадьбу, — а бабушка скончалась в феврале 1918 года, в то время когда террором праздновали свою победу только что занявшие город большевики.

Таким образом, жизнь моих стариков продолжалась в Саблах более 60-ти лет... Жизнь эта была спокойная и, в сущности, счастливая. Обладая значительным состоянием, они никогда не знали нужды; чуждые всякой роскоши, они жили в достатке и достойно. Конечно, приходило и горе, умирали родственники и сверстники, но это их как-то мало волновало. Служились панихиды и заупокойные обедни, а потом все возвращалось к обычному и повседневному. Забот было мало, разве что дочери просили денег сверх положенного, и тогда созывался совет из местных близких друзей, на котором, по большей части, решалось в просьбе отказать. Летом приезжали дочери и внуки и дом на время оживлялся. Знакомые часто посещали стариков в городе и только изредка наезжали летом в Саблы, туда их почему-то не очень приглашали.

В общественной жизни мой дед не принимал никакого участия. Прожив так долго в Саблах, он никогда не выбирался ни земским гласным, ни предводителем дворянства, хотя его средства и уважение, которым он пользовался, безусловно, давали ему на это право. Думаю, что бабушка была против выступления деда на общественном поприще, боясь, что он таким путем выйдет из-под ее власти. Дед даже никогда не участвовал в дворянских выборах. А тем не менее, у обоих был большой интерес к различным выборам, в особенности у бабушки, которая с большим азартом обсуждала шансы кандидатов, не пропуская случая высказать о каждом из них свое, далеко не лестное мнение.

В начале своей жизни в Крыму у стариков, когда они были моложе, было довольно много друзей. Были они в среде высших губернских чиновников, присылаемых из Петербурга и принадлежащих к обществу. Находились они и в числе более или менее родовитых местных соседей помещиков. Но с течением времени ряды этих друзей редели и круг знакомых сокращался. Бабушка была большой «снобкой» и знакомиться, а в особенности принимать у себя «новых» людей, она охоты не имела. К тому же в противовес тому, что часто бывает со стариками, бабушка, старея, не становилась добрее и мягче, и это не только не привлекало новых знакомых, но даже сокращало посещения внуков.

Кажется, мне было уже лет 12 или 13, когда я в первый раз с братом Петром посетил Саблы. Усадьба, парк и окрестный пейзаж произвели на меня чарующее впечатление, а ласка и доброта деда тронули меня. Все это было испорчено каким-то тяжелым стеснительным чувством, вызванным во мне неискренностью бабушки. Однако вокруг меня в Крыму все было для меня так ново, впечатления были так необычайны, что стеснение недолго тревожило меня. Прежде всего мы, конечно, посетили Южный Берег и Севастополь и были ими очарованы. А затем нас заинтересовал экзотический характер Крымского населения. Ведь в Крыму тогда насчитывалось 35 различных народностей, среди которых первое место занимали татары. Много интересного и смешного рассказывали нам наши старики из быта этих последних, в особенности о мурзаках, т. е. татарских дворян. Но главной темой рассказов деда и бабушки была Сибирь и жизнь их родителей. Они, как и другие дети декабристов (мои родственники), исповедовали самые консервативные убеждения, но память об их родителях была для них священна. Бабушка говорила главным образом о своей матери, о ее доброте и религиозности, о ее любви к своим детям и заботе о них. Вспоминала она Иркутский институт и его начальницу Кузьмину, бывшую перед тем ее воспитательницей. Отец, его друзья и их дети тоже часто были предметом ее рассказов. Показывала она рисунки и картинки из Сибирской жизни, а также старые дагерротипы и миниатюры...



МОСКВА

Москва... как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось!

А. С. ПУШКИН («Евгений Онегин»)

Я родился 29-го сентября 1881 года (ст. ст.) в Тамбове, где мой отец был в то время чиновником особых поручений при губернаторе. Тамбова я совсем не помню, т. к. в 1884 году моя мать переехала с нами, тремя братьями, на постоянное жительство в Москву. Одновременно с этим мой отец переселился в Чигиринский уезд, Киевской губернии.

Пребывание моих родителей в Тамбове продолжалось не долго, с 1879 по 1884 год. Перед этим они жили в Петербурге, где мой отец был офицером в Кавалергардском полку. Покинул он Петербург и полк из-за каприза своей матери, моей бабушки Елизаветы Сергеевны Давыдовой, жившей с моим дедом Петром Васильевичем Давыдовым в своем Крымском имении «Саблы». Бабушка моя, женщина своенравного и деспотического характера, очень любила моего отца и гордилась его карьерой в первом полку русской императорской гвардии, но была против его женитьбы на моей матери. Не имея возможности возражать против ее происхождения, т. к. она была урожденной свет. княжной Ливен, она упрекала ее в том, что она была бесприданницей. В сущности же, она боялась, что ее сын, женившись, подпадет под влияние жены и уйдет из-под ее воли.

Этот страх послужил причиной тому, что, уплатив сравнительно незначительную сумму по долгам мужа моей тетки, человека ничтожного, она написала моему отцу, что не может более его содержать в Петербурге и требует его с семьей

переезда для совместного с ней жительства в деревне. В случае неповиновения, она грозила ему прекращением материальной поддержки. Моим родителям пришлось подчиниться, и моя мать, молодая жизнерадостная женщина, оказалась с мужем и двумя малолетними сыновьями, моими старшими братьями, под одним кровом со своей, ненавидящей ее, свекровью. Как и следовало ожидать, последствия этого сказались очень скоро. Жизнь молодых супругов стала невыносимой. Отец мой, человек слабохарактерный, не сумел занять надлежащего положения между матерью и женой, а мать моя, у которой проснулась вся Ливенская гордость, ни в чем не уступила свекрови. Случилось неизбежное: очень скоро, после бурных сцен и объяснений, произошел разрыв и мои родители покинули Саблы без копейки денег, т. к. моя бабушка прекратила им всякую денежную помощь. Пришлось искать заработок, который и был найден в размере 30 рублей в месяц по должности чиновника особых поручений при Тамбовском губернаторе.

Нечего и говорить, что жизнь на такую малую сумму с двумя малолетними детьми даже в те времена была трудной, а тут еще, совсем некстати, появился на свет и я... Но несмотря на нужду и лишения, прирожденная гордость моей матери не только не позволила ей пойти с повинной к свекрови или обратиться за помощью к родне, но она удержала от этого и моего отца. И вот тут произошло чудо.

Однажды, после усердной молитвы (а моя мать была очень религиозна), она, утомленная дневной работой, заснула и увидела странный сон. Во сне ей явились святые—Кирилл и Мефодий и сказали ей, что ее молитва услышана и что она должна приобрести их икону и отслужить им домашний молебен. После этого, по их словам, все должно было устроиться. На другое утро моя мать сделала все, что ей было указано, и обещанная святителями помощь пришла очень скоро совершенно неожиданным образом. Отец получил письмо от своей тетки, сестры моей бабушки, Зинаиды Сергеевны Свербеевой, уведомлявшей его, что, узнав о его положении, она выразила своей сестре сожаление, что последняя, видимо, не может достойно содержать своего сына. При этом она высказала предположение, что это объясняется отсутствием у моей

бабушку достаточных средств, ввиду чего она решила выдавать моему отцу 3 000 рублей в год. Добрейшая тетя Зина хорошо знала свою сестру и ее чрезвычайное самолюбие. Последствия обращения тети Зины к моей бабушке превзошли все ожидания. Моему отцу была немедленно выделена из состава имения Каменка экономия Юрчиха с 1150 десятинами пахотной земли и 1750 дес. прекрасного дубового леса.

Казалось бы, материальное положение моих родителей устроилось и жизнь их могла бы принять счастливый оборот, но, к сожалению, перемена пришла слишком поздно. К этому времени семейное счастье было уже разрушено. Отец тяжело перенес разлуку с полком и средой Петербургского общества. Обладая страстной натурой и слабой волей, он не сумел пережить это потрясение и найти другой интерес в жизни. Он стал искать развлечение и утешение в соблазнах рассеянной жизни и возникшие на этой почве нелады между ним и моей матерью привели к тому, что они расстались. Отец отправился в Киевскую губернию и занялся управлением своим имением, а моя мать с нами, детьми, переехала в Москву к своей старшей незамужней сестре.

Трудно сказать, что произошло бы, если бы моя бабушка не изменила так круто направление жизни нашей семьи. Неизвестно, сложилась ли бы она совершенно иначе, но можно допустить, что мой отец, продолжая служить в своем полку и вращаться с моей матерью в родном им Петербургском обществе, сдерживаемый полковой и товарищеской дисциплиной, не разрушил бы своей семейной жизни и сделал бы, если и не особую, то во всяком случае обычную карьеру гвардейского офицера, а моя мать не покинула бы своего общества. Что же касается нас, троих сыновей, то, конечно, наша судьба сложилась бы совсем иначе. Мы выросли и воспитывались бы в Петербургской атмосфере, столь отличной от Московской, и товарищами нашими были бы сыновья тех семей, среди которых жили мой отец и моя мать. Братья еще в детском возрасте записанные, по повелению императора Александра II, в Пажеский корпус, вероятно, служили бы в гвардейских полках, а я поступил бы на службу в одно из Министерств. Думаю, что для моих братьев это было бы лучше. Что же касается меня, то я нисколько не жалею, что

моя жизнь устроилась иначе: потеряв в легкости, она выиграла в интересности и разнообразии.

Если в Москве вы, едучи по Покровке, минуете Земляной Вал, переедете через мост над соединительной веткой между Николаевской и Курской железными дорогами и у церкви Никиты Мученика повернете направо в переулок, название которого я не запомнил, вы попадете в часть Москвы, называемую Гороховым Полем. Я никогда не знал исторического происхождения этого названия. Вероятно, в старые Петровские времена иностранцы, населявшие эти места, сажали здесь горох. История этого московского пригорода становится более ясной, когда, едучи по Вознесенской улице, начинающейся у церкви Вознесения, стоящей в конце Гороховой улицы, вы доедете до Лефортова и Немецкой улицы и, наконец, пересечете Яузский мост и, следуя дальше, достигнете Камер-Коллежского Вала, Анненгофской Рошши и Владимирской заставы. Немецкая улица и Лефортово известны по роли, которую они играли в судьбе Петра I в его юные годы. В этой части города жили иностранцы, огульно в то время называвшиеся «немцами», в лице которых Петр I впервые встретился с Западом, его культурой и цивилизацией, а Яузский Мост упоминается Толстым в «Войне и Мире», когда он описывает встречу Ростопчина с Кутузовым во время отступления Русской Армии и прохождения ее через Москву. Я не помню происхождения названия Камер-Коллежского Вала, знаю только, что он был старинным московским укреплением.

Что же касается Владимирской заставы и начинающегося от нее шоссе того же наименования, то они были известны москвичам тем, что тут проходили каторжники, следующие по этапу, т. е. пешком, в Сибирь. В народной песне, говорящей о судьбе, ожидающей разбойников и убийц, поется

«По Владимирке пойдешь...»

Гороховое Поле омывается рекой Яузой и ее притоком, речонкой Чечерой. Когда-то по этим рекам, окаймленным зелеными берегами, ходили боты Петра и воды были чисты и прозрачны. В мое время Яуза была уже рекой, куда стека-

лись все стоки и нечистоты фабрик, стоящих на ее берегах; ее воды отливали всеми цветами радуги и распространяли зловоние и заразу. Речонка Чечера, протекавшая под Московской Второй Гимназией и вдоль парка Елисаветинского женского института, служила закрытой сточной канавой, в которую, между прочим, вливались нечистоты двух трактиров и одного завода, стоявших на ее пути, между этими двумя учебными заведениями.

Занимаемая Гороховым Полем площадь земли была обширна, но население его было невелико. Вдоль его улиц, среди садов и парков, а кое-где и огородов, стояли одно- и двухэтажные домики и лишь на некоторых из них были расположены фабрики и заводы. Много места занимали три учебные заведения с их обширными парками. Это был Межевой Институт, Малолетнее отделение Николаевского женского института и Елисаветинский женский институт. При обширности и малонаселенности Москвы того времени, такие окраины, как Гороховое Поле, носили совершенно провинциальный характер. По булыжной мостовой улиц, окаймленных тротуарами с каменными тумбами, проезжали с треском и шумом пролетки извозчиков, а иногда проходили длинные обозы ломовых, провозивших товары с близ расположенных вокзалов, откуда по вечерам, когда стихал городской шум, доносились свистки паровозов. На перекрестках улиц днем и ночью стояли городские, которых многие называли еще, по старой привычке, «будочниками», а у ворот каждого дома, ночью, дремали дежурные дворники, одетые зимой в тяжелые тулупы.

Хотя Гороховое Поле было местом спокойным и безопасным, все же иногда ночью можно было слышать призывы на помощь прохожих, подвергшихся нападению грабителей. Крики — «караул» — будили нас и заставляли чаще биться наши детские сердца.

Зимой, когда выпадал снег и умолкал «шум колеса», улицы погружались в тишину, поражавшую привыкшее к летнему шуму ухо. От выпавшего снега в комнатах становилось светло, и так приятно было слышать скрип снега под ногами прохожих и треск дров в голландских печах. Каким удовольствием было для нас, мальчиков, ехать в санках на резвом рысаке, по хорошо укатанному санному пути. Казалось, что ле-

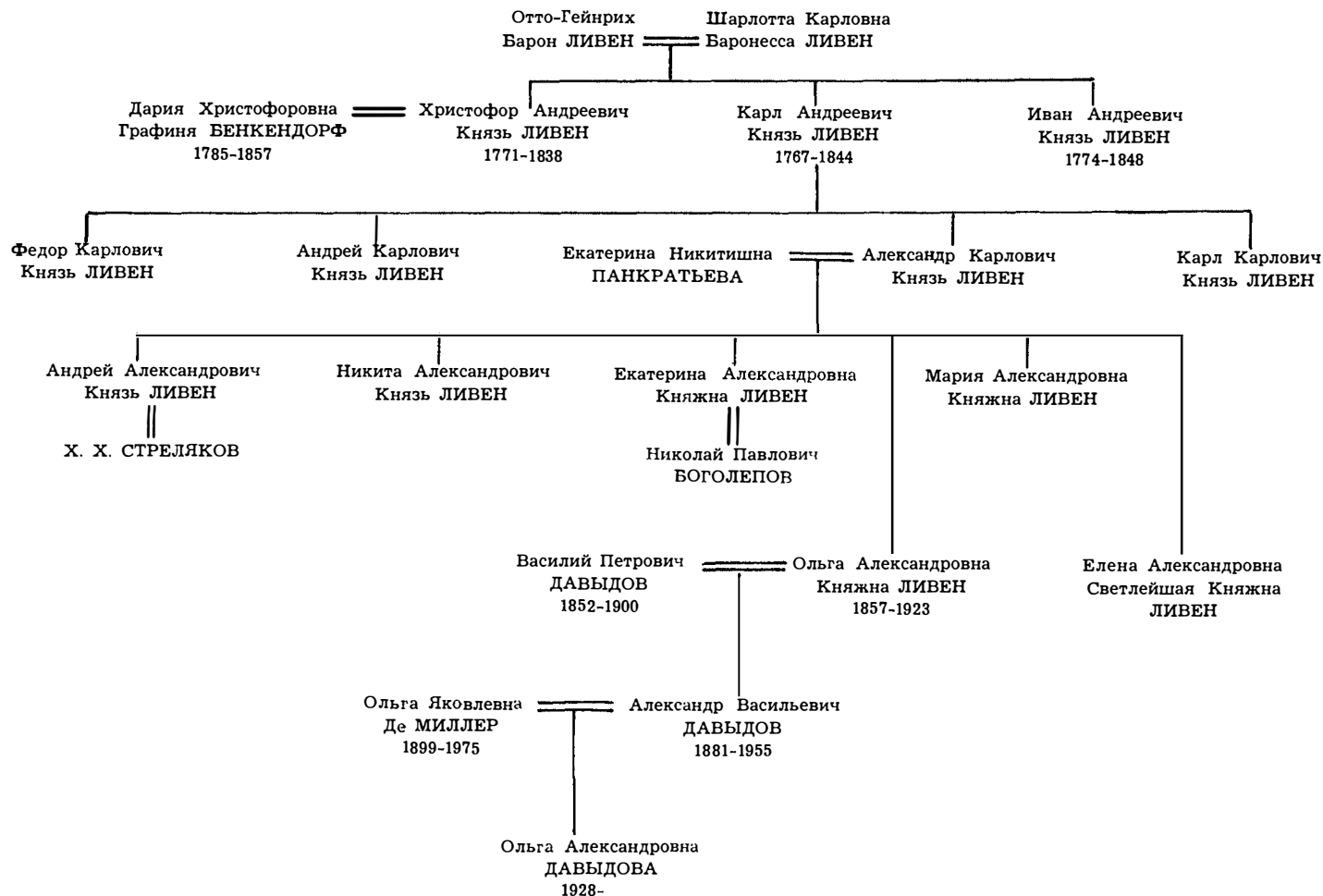
тишь по воздуху, и какая гордость охватывала нас, когда мы обгоняли другую «одиночку» с сидевшим в ней толстым купцом. А когда во время прогулки мы шли по Немецкой улице, где были магазины и лавки, как вкусно пахло в теплые дни от бакалейных торговль, когда их двери на скрипучих веревочных блоках открывались, чтоб пропустить покупателя. Особенно красочны были трактиры, помещавшиеся преимущественно в небольших отдельных деревянных домиках с зелеными вывесками, на которых золотыми буквами были написаны такие забавные названия, как «Не унывай», «На Перепутьи» и т. п... Через их замерзшие окна можно было видеть сидевших за столами лавочников, распивающих «в прикуску» нескончаемые «пары чаю», или легковых и ломовых извозчиков, запивающих «мерзавчиком» яичницу с колбасой. Иногда дверь с шумом открывалась, и из нее, одетые в белом и опоясанные малиновым пояском, с заткнутой за ним записной книжкой в клеенчатом переплете, «половые» выбрасывали подвыпившего фабричного или мастерового. Часто из трактира доносились раскаты драки и слышалась отвратительная брань; появлялся городской, а иногда и околоточный, и целая компания пьяных «гостей» отправлялась под эскортом полиции в ближайший участок, где ее держали до вытрезвления, а затем отпускали с миром, не подвергая никакому наказанию. Лишь в случаях, когда особенно буйный пьяница не подчинялся представителю власти и оказывал сопротивление, городские применяли к нему «отеческое внушение», но этим дело и ограничивалось.

Гороховое Поле было, главным образом, населено мещанами, рабочими, мастеровыми, мелкими чиновниками, лавочниками, лабазниками и учителями, преподававшими в учебных заведениях, о которых я упомянул выше. Много было и духовенства, т. к., как известно, Москва в то время изобиловала церквями. которых было в ней «сорок сороков». Все эти люди жили своими мелкими интересами, редко бывая, как говорили тогда, в городе и «гром витиев» и «шум словесной войны» почти не доходил до них. Жизнь текла мирно и спокойно, и событиями в ней были лишь свадьбы и похороны, поглазеть на которые сбегались толпой соседи. Особенно привлекательны были военные похороны, на которые наряжались войско-

вые части с оркестром музыки. Из этих похорон самыми интересными были генеральские, т. к. на них наряд войск был от трех родов оружия: пехоты, кавалерии и артиллерии. На свадьбах в толпе говорилось не столько о красоте невесты, сколько о размере ее приданого и в чем оно состояло. О женихе же говорили, хваля его, что он трезвый человек и, наверное, бить жену не будет.

Хороша была московская зима, но московская весна не уступала ей в прелести. Правда, она часто приходила поздно и заставляла себя долго ждать, — правда и то, что борьба ее с зимой была нелегкая и часто дело не обходилось без того, что зиме удавалось приостановить на короткое время ее торжественное шествие. Зато когда победа была за ней обеспечена, в какой красе и силе она устанавливалась. Для нас, мальчиков, весна обладала особой прелестью: ее приход значил близость окончания учебного года и наступления вакаций, а с ними и переезда в деревню. Уже с 9-го марта (ст. ст.), когда в булочных начинали продавать особые витые хлебцы с птичьими головками, называемые «жаворонками», мы с нетерпением начинали ждать весны. Ее приход был сначала медленный. На улицах еще стоял санный путь, портящийся с каждым днем. По ночам еще морозило, но днем воздух был уже мягким. Так хотелось поскорее скинуть тяжелое зимнее платье и обновить легкое, весеннее. И вот, наконец, на улицы выходили полчища дворников, вооруженные кирками и лопатами, выезжали одноконные розвальни и закипала работа по уборке снега. В три дня должна была быть сделана, так называемая тогда, «весна Власовского», известного московского полицмейстера. Булыжная мостовая освобождалась от зимнего покрова, и, о радость, по улице с шумом проезжала первая извозчичья пролетка. Сколько было наблюдений через все еще двойные рамы, сколько разговоров о том, закладывать ли сани или коляску.





РАЗУМОВСКИЙ И СЕМЬЯ ЛИВЕН...

В конце Гороховой улицы, вблизи небольшой площади, пред церковью Вознесения, стоял в описываемое мною время, утопая в окружающих его садах, бывший дворец Елисаветинского вельможи графа Разумовского. Мне пришлось прожить в этом дворце только короткое время, и я запомнил лишь его внешний вид. Помню большое кирпичное красное здание, с широким двором на улицу, в глубине которого был парадный подъезд. Помню террасу, выходящую в парк, покрытую цветами, помню большой парк, доходящий до Яузы, с большими котлованами, в которых раньше были пруды. Во внутренней части дворца я помню лишь залу в нашей квартире и церковь — ту самую, в которой Наташа Ростова коленопреклоненно слушала молитву о даровании победы русской армии и переживала впервые патриотические чувства.

В этот дворец меня и моих братьев привезла в 1884 году из Тамбова мать. В то время в нем помещалось Малолетнее Отделение Московского Николаевского Института, начальницей которого была моя тетка, незамужняя, старшая сестра моей матери, свет. княжна Елена Александровна Ливен. С момента переезда нашего в Москву начался первый период моей жизни, прошедшей всецело в атмосфере семьи Ливен, а потому я должен в моем рассказе сначала остановиться на этой семье.

Род Ливенов ведет свое начало от старшины племени ливов Каупо, принявшего христианство в 1186 году. В дворянском достоинстве он был утвержден папой Целестином 3-им в Авиньоне в 1202 году. Первым стал носить фамилию Ливен его внук Николай Рейнбольд Ливен, бывший в 1653 году Эзельским губернатором, — был возведен вместе с братом Бе-

рендсом-Оттоном в баронское достоинство. Сын этого последнего был другом шведского короля Карла XII-го и сопровождал его в походах. Потомок Рейнгольда Ливена, Иоган-Христофор, именовавшийся по-русски Иваном Романовичем, был при Екатерине II губернатором в Архангельске. При этой императрице начинается близость семьи Ливен к дому Романовых, которая продолжалась до конца его царствования.

В 1783 году императрица Екатерина II искала воспитательницу для своих внушек — дочерей вел. кн. Павла Петровича и его двух младших сыновей — Константина и Николая. По рекомендации Рижского генерал-губернатора Брауна, она предложила это место баронессе Шарлотте Карловне Ливен, урожденной фон Гаугребен, потерявшей мужа, генерал-майора Отто-Гейнриха Ливен в 1781 году. Баронесса Ш. К. Ливен обладала скудными средствами и жила в Митаве, воспитывая сыновей. Эрнест Додэ в своей книге о кн. Дарье Христофоровне Ливен (*La vie d'une Ambassadrice*) говорит, что когда Браун посетил бар. Ш. К. Ливен, чтобы передать ей приглашение императрицы, он нашел ее в бедной обстановке, а детей ее — бегущих босиком.

Бар. Шарлотта Карловна Ливен была умной и энергичной женщиной. Ее моральные качества и прямота характера дали ей возможность вскоре занять особое положение в семье Павла Петровича, который очень ее уважал. Она была самым близким человеком к имп. Марии Федоровне, дети которой до конца ее жизни относились к ней, как к родной. В 1799 году она была назначена статс-дамой и ей был пожалован орден Екатерины 1-ой степени. В 1799 году, 22-го февраля, она была возведена с потомством в графское достоинство. В день коронации имп. Александра I ей был дан драгоценный браслет с портретом императорской четы, а в 1824 году — портрет имп. Александра I на золотой цепи для ношения на груди. Наконец, в день коронации имп. Николая I она была возведена в княжеское достоинство и в декабре того же года ей был пожалован титул светлости. Скончалась Шарлотта Карловна 24 февраля 1828 года, и похоронена в Курляндии, в имении Мезотен.

Старший сын Шарлотты Карловны, кн. Карл Андреевич Ливен, родился 1-го февраля 1767 года. Вступив в 1788 году

на военную службу, он поочередно был адъютантом Потемкина, шефом Преображенского полка, членом Государственного Совета, шефом полка своего имени, попечителем Дерптского Университета, министром Народного Просвещения. Скончался он в Курляндии 31 декабря 1844 года. По семейным преданиям, он был образованным и либеральным, по тому времени, человеком, но отличался плохим характером.

Второй сын Шарлотты Карловны был кн. Христофор Андреевич Ливен, родившийся в Киеве 6-го мая 1774 года и сделавший блестящую карьеру, как военную, так и гражданскую. В 1797 году он был флигель-адъютантом имп. Павла I, в 1805 году был посланником в Берлине, а в 1812 году послом в Лондоне. Лорд Грей в речи в парламенте, отметил его достоинства и выразил ему благодарность английского правительства. По возвращении в 1834 году в Россию он был удостоен особым доверием имп. Николая I, назначившего его попечителем наследника, Александра Николаевича, будущего императора Александра II. Скончался он в Риме 29 декабря 1838 года во время путешествия с опекаемым им великим князем.

Женат Христофор Андреевич Ливен был на графине Дарии Христофоровне Бенкендорф, сестре известного шефа жандармов. Это была выдающаяся по уму и светской умелости женщина. Она заняла в Лондоне большое положение и держала там настоящий политический салон, имевший большое дипломатическое влияние. Дружбы ее искали все замечательные люди той эпохи. Известна ее близость с Меттернихом, а затем продолжительный роман с Гизо. В Россию она со своим мужем не вернулась и умерла в Париже 15 января 1857 года. Похоронена там же, где ее *belle mère*, в Мезотене.

Третий сын Шарлотты Карловны, Иван Андреевич, родился в 1778 году и умер генерал-майором в 1848 году.

У кн. Карла Андреевича Ливен было четверо сыновей: Андрей, Александр (мой дед), Карл и Федор.

Когда мой прадед кн. Карл Андреевич Ливен, оставив службу, переселился с семьей в Курляндию, только один из его сыновей — мой дед — не последовал за ними. Женившись на русской, Екатерине Никитишне Панкратьевой, он сначала жил в Петербурге, затем некоторое время был градоначальником в Таганроге и, наконец, окончательно поселился в Мос-

кве, где был сенатором московского присутствия Сената. Благодаря женитьбе на русской и долгой государственной службе, он совсем обрусел в противоположность своим братьям и их семьям, которые окончательно потеряли связь со всем русским и даже больше не говорили по-русски. Только один из сыновей кн. Андрея Ливен — Георгий — недолгое время служил по Министерству Иностранных Дел.

Судьбе было угодно, чтобы в то время, когда мой прадед Василий Львович Давыдов был в числе декабристов, 14-го декабря 1825 года, дед мой Александр Карлович Ливен, командуя ротой Л. Гв. Московского полка, заставил ее, ударив плашмя саблей правофлангового, присягнуть имп. Николаю I и привел ее к Зимнему Дворцу, за что был награжден флигель-адъютантом.

Дед мой был человеком рыцарски благородным, честным, прямым, беззаветно преданным своему царю и своему отечеству. Далекий от всякого лукавства, он не допускал мысли о возможности его в других и тем паче у членов своей семьи. Каково же было его разочарование, когда по смерти отца он не поехал в Курляндию для раздела наследства и вполне доверился в этом отношении своим братьям. Из огромного многомиллионного состояния ему было уделено всего лишь 200.000 рублей. Верный семейным традициям, он не стал спорить и не разошелся со своими братьями.

Благодаря такой несправедливости, умирая, дед мог оставить своим детям лишь небольшое состояние, состоявшее из подмосковного имения «Синее» и дома в Москве, в Мертвом переулке, в приходе Успения на Могильцах. Все это имущество было продано и вырученные от продажи деньги были разделены между его детьми. Каждому из них досталась небольшая сумма в 10.000 рублей. К этому времени, однако, две старшие дочери уже умерли, а из остальных детей пятеро были уже материально устроены. Только тетя Лина, не вышедшая замуж, должна была искать заработка. Она обратилась к императрице Марии Александровне, фрейлиной которой она была, с просьбой дать ей работу, и та назначила ее начальницей Разумовского института.

Так как моя бабушка Ливен умерла, когда матери было всего 10 лет, то ее воспитанием пришлось заняться тете Лине.

При скудных средствах моего деда трудно было дать моей матери широкое образование, но все же она научилась хорошо говорить по-французски и по-немецки и знала все, что полагалось тогда знать девушке «из общества». Зато воспитание она получила превосходное. Тетя Лина внушила ей глубокую религиозность и правила морали и чести, которые были основными чертами ее характера. Наконец, когда пришло время, она вывезла ее в свет, одеваясь сама и одевая ее за счет экономии в своих личных небольших расходах. На одном бале моя мать встретила моего отца, приехавшего навестить своих родителей, живших тогда в Москве, и вскоре вышла за него замуж.

Создавшиеся таким образом особые отношения между сестрами сблизили их на всю жизнь. Они нежно любили друг друга, а у моей матери навсегда осталось чувство дочерней благодарности к воспитавшей ее старшей сестре. Вот почему в минуту крушения семейной жизни моей матери тетя Лина вызвала ее к себе, а она с радостью отклинулась на ее зов. И я в возрасте трех лет очутился в Разумовском институте.

Тетя Лина была, как все Ливены, крупного роста, с белокурыми волосами и синими глазами. Ее нельзя было назвать красивой, а к тому времени, когда я увидел ее в первый раз, ей уже перевалило за сорок и у ней начинала сказываться общая в ее семье склонность к полноте. Во всей ее фигуре проявлялись основные черты ее характера. Она была в настоящем и хорошем смысле слова «grande dame». Чувство доброты уживалось у ней с чувством долга, в отношении к которому она была одинаково требовательна как к другим, так и к самой себе. Большой природный ум ее допускал иногда проявление стародевичьей милой наивности. Но особенно силен был у нее такт — результат ее настоящего светского воспитания и близости ко двору. Моральное чувство у нее было развито чрезвычайно, и в отношении его она за всю долгую жизнь никогда не погрешила. Гордая и прямая, она не шла на компромиссы со своей совестью или на какую-нибудь интригу. Следуя заветам своего отца, она была предана своему государю и была монархисткой не только умом, но и сердцем. Поверхностное домашнее образование того времени она пополни-

нила самостоятельно уже после выхода своего в жизнь. Прекрасно зная четыре языка — русский, французский, немецкий и английский — она много читала, а умение ее окружать себя просвещенными и культурными людьми, которые ценили ее общество, сделало из нее образованную женщину. В этом отношении ей много помогла ее дружба со старшим братом Андреем, одним из замечательных людей ее времени. Ее особой чертой была религиозность, которая у ней была глубоким внутренним чувством. Она проявлялась не в любви к обрядам, к которым она относилась с большим уважением, а в глубокой вере и истинном понимании христианства.

Я особенно остановился на личности этой моей тетки, т. к. в моей жизни она сыграла большую роль, и мне посчастливилось уже в зрелом возрасте пережить в ее обществе много светлых и интересных часов, воспоминание о которых наполняет мое сердце чувством благодарности к ней.

Старшим братом моей матери был Андрей (1839-1912). Как внешним видом, так и характером он был типичным представителем своей семьи. Большого роста, плотного сложения, с крупными чертами лица, открытым лбом и умными глазами, остроумный, говорящий на четырех языках, прекрасно образованный, культурный в европейском смысле человек, дядя Андрей был одновременно со всем этим человеком большого света, со свойственным ему «*savoir vivre*». Его успех, не только в обществе, но и среди мыслящих людей, был большой и заслуженный. Слабыми его сторонами были его самолюбие и страстность, которую он сохранил до конца своей жизни. Эта страстность проявлялась как по отношению к его самолюбию, так и к женщинам. Романах его не было конца, и последний из них кончился с его смертью, которая случилась, когда ему было уже за семьдесят лет.

Очень рано окончив университет по математическому факультету, с золотой медалью за написанное им сочинение, он еще очень молодым женился на московской барышне Стрекаловой, внучке известного полицмейстера при имп. Александре I, очень богатой девушке. Поступив на государственную службу по ведомству министерства внутренних дел, он скоро был назначен московским губернатором, а в возрасте 48 лет был уже министром государственных имуществ. Столь блестящая карьера была однако внезапно прервана на этом посту,

благодаря интриге известного тогда министра Валуева, с которым он повздорил в свойственной ему резкой форме и который совершенно справедливо видел в нем опасного соперника. Дядя Андрей вышел, как говорилось тогда в «чистую отставку», т. е. не только покинул министерский пост, но и звание статс-секретаря и члена Государственного Совета. Свою опалу он пережил болезненно.

Его первая жена к этому времени уже давно умерла, оставив свое состояние двум детям, а ему лишь ежегодную пенсию в 6 000 рублей; а со второй женой, от которой не имел детей, он уже развелся. Дети были уже взрослыми и сын женат. Одиноким удалился дядя Андрей в свое небольшое имение «Бунаковка» вблизи ст. Павлоград, с маленькой усадьбой и полным отсутствием соседей. Там он жил безвыездно зимой и лето, часами молча просиживал в кресле. Навещала его только дочь Александра, навсегда оставшаяся в старых девах. Особенно тяжелы были зимы, когда в саду усадьбы были волки и в окрестностях «шалили» разбойники. Единственным утешением дяди Андрея были его большая библиотека и занятия астрономией.

Дядя Андрей не был верующим человеком, а тем более суеверным. Занимаясь всю жизнь наукой и особенно астрономией, он не допускал возможности каких-либо сверхъестественных явлений, вроде привидений и тому подобного. Но он сам рассказывал мне, как однажды ночью в Бунаковке он не спал и вдруг среди полной тишины услышал, что дверь в коридоре, проходившем мимо его спальни, отворилась и тяжелые шаги, будто обутых в ночные туфли, ног направились к его двери... и, после короткой остановки, прошли дальше. Дядя, разумеется, не поверил бы в действительность этого явления, если бы собака, спящая в его комнате, не зарычала бы и шерсть не поднялась на ее хребте. На следующую ночь явление повторилось. Тогда дядя, под предлогом нездоровья, попросил своего камердинера лечь в его комнате, не сказав ему ничего о происходящем. Точь-в-точь в то же время послышался звук отворяемой двери и тяжелых шагов в коридоре. Собака зарычала, а камердинер чуть не умер от страха. Окончательно убедившись, что он не был жертвой галлюцинации, дядя старался объяснить себе необычайное явление. На чет-

вертую ночь оно не возобновилось, как и в последующие ночи. Разгадка пришла через несколько дней, когда из Петербургских газет дядя узнал, что в ту самую ночь, когда он впервые услышал шаги в коридоре, — умер Валуев...

Дети моего деда и моей бабки Ливен, по странной игре судьбы, разделялись на две группы. Первая группа состояла из трех старших сестер и дяди Андрея, вместе с тетей Линой. Все они походили физически и морально на своего отца. Младшие же четверо, т. е. дядя Никита, тетя Екатерина, тетя Мария и моя мать, — пошли в мать. В отношении моей матери это, впрочем, не совсем верно. Хотя физически она и походила на мою бабушку, морально у ней было много Ливенского. Это различие между двумя группами братьев и сестер сказалось и на их взаимоотношениях. Походившие на моего деда, т. е. принадлежавшие к Ливенскому типу, дружили между собой, тогда как остальные не были близки друг к другу. Отношения между моей матерью и тетой Леной были исключением, что объяснялось тем, что последняя заменила ей мать. Обе старшие сестры умерли до моего рождения, и из первой группы оставались только дядя Андрей и тетя Лина. Дружба этих двух была глубокой и была основана не только на сходстве душевного и умственного склада, но и на общности взглядов и интеллектуальных интересов.

Когда дядя Андрей начал опять приезжать в Москву, он часто посещал мою тетю. Конечно, мы были слишком молоды, чтобы понять и оценить этого исключительного человека, но во мне, по крайней мере, он уже и тогда возбуждал какой-то инстинктивный интерес. Однако, т. к. дядя Андрей, ввиду содеянной по отношению к нему несправедливости, не очень уважительно отзывался об императоре Александре III и не был религиозен, мать боялась его вредного влияния на нас и всячески нас от такового предохраняла. Доходило до того, что, когда приезжал дядя Андрей, нам запрещалось оставаться в гостинной.

Другой брат моей матери, дядя Никита, не жил постоянно в Москве, и мы видели его лишь в редкие его приезды из Киева, где он сначала был прокурором Окружного Суда, а затем Судебной Палаты. Он был наиболее ярким представителем Панкратьевского типа семьи и дружил главным образом с мо-

ей матерью и тетей Екатериной и мужем ее Николаем Павловичем Боголеповым. Это был и физически, и морально сухой человек. В юности он перенес сильный суставной ревматизм, в результате которого у него развился порок сердца, а впоследствии он стал страдать и катаром желудка. Когда я его узнал, это был человек высокого роста, очень худой, с землистым цветом лица, с седыми волосами. Говорил он глухим голосом, постоянно откашливаясь, и выражался, даже в самых обыкновенных разговорах, деловым, казенным языком, тем самым, которым он, вероятно, произносил свои обвинительные речи. Судил он всех и обо всем строго и безапелляционно, и мне кажется, что обвиняемые им подсудимые должны были испытывать жуткое чувство, видя его за прокурорским столом. Из страха перед простудой он даже летом одевался тепло, и я, читая впоследствии Чеховского «Человека в футляре», невольно вспоминал о нем. В целях сбережения своего здоровья, он приучил себя никогда не волноваться, т. е. ничему особенно не радоваться и ничем не огорчаться. Мне даже говорили, что, когда он шел к женщинам, он брал с собой валерьяновые капли. Из-за этой заботы о своем здоровье комнаты в его квартире никогда не проветривались и воздух в них был тяжелый. Я никогда не знал его религиозных взглядов, но по отношению к вопросам чести и морали он был чрезвычайно строг. Что же касается его политических убеждений, то, я думаю, трудно было бы найти более реакционного человека. Этим, между прочим объясняется его дружба с Николаем Павловичем Боголеповым, мужем моей тети Екатерины, бывшим впоследствии министром Народного Просвещения.

Молодежи дядя Никита не любил, да и она его не могла любить. Когда начались студенческие волнения, он всецело обвинял в них студентов и был сторонником самых суровых мер по отношению к ним, всячески поддерживая в этом направлении Н. П. Боголепова. Сначала он очень дружил с моей матерью, но затем несколько охладил к ней, вероятно, потому что не одобрял поведения, впрочем весьма невинного, моего старшего брата, одно время жившего у него студентом в Петербурге.

А вместе с тем сухой человек когда-то, будучи юношей, был остряком и весельчаком и даже писал стихи. Одно его юношеское стихотворение сохранилось в моей памяти:

«Het plus beau et plus aimable
Dans la toute Europe
Чем Никита l'adorable
Et le nez, les yeux, le лоб
Так прекрасны и готик
Как statue antique».

Тетя Екатерина, или, как мы ее называли, тетя Катя, физически очень походила на своего брата Никиту. Мне трудно говорить о ее характере, т. к. судьба этой женщины была трагична и характер ее сложился или изменился под влиянием перенесенных ею несчастий. Знаю только, что она была очень религиозна и что ее политические взгляды были чрезвычайно реакционны и даже черносотенны. В этом отношении она далеко ушла от своего брата и своего мужа. Вышла она замуж против воли отца за Н. П. Боголепова, домашнего учителя, происходившего из духовного звания, но сделавшего впоследствии ученую и служебную карьеру. Известно, что ее муж погиб от руки политического убийцы. Двое детей ее скоро умерли почти в один и тот же день от дифтерита. Через некоторое время у ней родилась дочь, которую она берегла как зеницу ока. Но, достигши 15-летнего возраста, и эта дочь, недолго проболев, умерла. Нападки либеральной части общества на политику ее мужа и ненависть к нему русской учащейся молодежи и, наконец, его трагическая смерть озлобили ее. После кончины мужа она покинула Петербург и вернулась в Москву. С тех пор я ее больше не встречал, но знаю, что она сделалась активным членом либо «Союза Михаила Архангела», либо «Союза Русского Народа» — двух крайних черносотенных организаций. Конец ее был столь же трагичен, как и вся ее жизнь. Было объявлено, что она упала с балкона своей квартиры на третьем этаже. В действительности же она покончила жизнь самоубийством, под влиянием событий первой русской революции 1905 г. и неизлечимой болезни, которой она долгое время страдала.

Третья сестра моей матери, принадлежавшая тоже к Панкратьевскому типу, звалась Мария. Она очень редко посещала нас, и о ее характере я ничего не могу сказать. Помню только ее внешность. Это была очень полная седая женщина, чертами лица походившая на мою мать. Она рано вышла замуж по любви и сделала настоящий «*mésalliance*». Не только ее

родители, но и все братья и сестры старались уговорить ее отказаться от этого брака, но все было напрасно. Ее муж был не только акушером, но представлял собой и физически, и морально комическую фигуру. Впоследствии он держал приют для кормилиц.

Выше я говорил, что от своего брака со Стрекаловой дядя Андрей имел двух детей сына Александра и дочь Александру. Эти мои двоюродные брат и сестра были гораздо старше меня, и ко времени, с которого я их помню, Саша Ливен был уже женат и имел троих детей. Дина же, его сестра, могла уже быть зачислена в старые девы. Физически оба они ничем не походили на Ливенов. Небольшого роста, дурные лицом какого-то нездорового, землистого цвета, они были вылитыми портретами их матери. Саша, в первое время нашей жизни в Москве, был предводителем дворянства Бронницкого уезда Московской губернии. Он редко приезжал в Москву, но всегда в свои наезды посещал тетю Лину. Если физически он не напоминал своего отца, то по своей культуре и образованию, а равно и по моральным качествам он очень походил на него. Отличался он от него своими политическими убеждениями. Дядя Андрей дулся на имп. Александра III, но все же придерживался правоверных монархических убеждений. Сын же его был явным либералом и критиковал самый монархический принцип и придворный этикет, что не мешало ему, однако, быть камергером и служить по выборам от дворянства. Умный и талантливый, он был еще и прекрасным музыкантом, т. е. не только хорошо играл на фортепиано, но и тонко понимал музыку. Женат он был на Александре Петровне Васильчиковой, женщине, хотя и красивой, но невероятно большого роста. Контраст между ростом мужа и жены был большой и подавал повод различным шуткам. Олеса, как звали его жену, была женщиной прекрасных правил, но по своему уму и развитию значительно мужу уступала. Она была добра и радушна, но при всех своих достоинствах отличалась некоторой странностью. Разговаривая с кем-нибудь, она могла вдруг поразить собеседника неожиданной парадоксальностью своих суждений, не лишенных некоего задора. Можно было подумать, что она хочет спровоцировать или соригинальничать.

Жили Саша и Олеса очень дружно, и никакая семейная история не омрачила их семейного счастья до конца. Детей у

них было трое: два сына и дочь. Ростом они вышли в мать, а лицом, кроме старшего, Андрея, в отца, т. е. были так же некрасивы, как и он. Об этих двух двоюродных племянниках я вспоминаю не только с грустью, потому что двое из них уже умерли, но и с родственной нежностью и благодарностью. Редко можно встретить столь внимательное, дружеское и доброе отношение, как то, которое я видел от покойных Петрика и Машеньки Ливен.

Дина Ливен, оставшись старой девой, не приобрела дурных сторон этого положения, вероятно, потому что сумела заполнить свою жизнь серьезными интересами. Хорошо образованная, она много читала и, будучи, как брат, хорошей музыкантшей, много играла на фортепиано. Досуги свои она посвящала благотворительности, помогая в этом своей бабке, известной в Москве Александре Николаевне Стрекаловой, обладавшей большими средствами.

Дина очень любила и высоко ставила своего отца, что же касается ее брата Саши, то он совершенно с ним разошелся. Причиной этому было то, что дядя Андрей и Олеся не выносили друг друга. Не берусь судить о том, кто из них был прав, но думаю, что началом их размолвки была странная провоцирующая манера Олеси и резкая реакция на нее дяди Андрея. К сожалению свою нелюбовь к тестю Олеся передала своим сыновьям, которые более чем пренебрежительно относились к нему, что его огорчало.

Об остальных представителях Ливенской семьи я буду говорить ниже, когда скажу о наших поездках в замок Блиден, в Курляндии.



ЕЛИСАВЕТИНСКИЙ ИНСТИТУТ

Мы недолго прожили в Разумовском Институте: тетя Лина скоро была назначена начальницей Елисаветинского Института. Это было для нее повышением по службе. На первом посту она не была самостоятельна, завися от начальницы Николаевского Института, отделением которого был Разумовский. Вероятно, за наше краткое пребывание в этом последнем, наша жизнь ничем особенным не была отмечена, т. к. в моей детской памяти ничего не запечатлелось. Помню только, что в нем воспитывались дети обоего пола и что среди воспитанников был известный впоследствии клоун Дуров и маленькая текинка, подобранная генералом Скобелевым чуть ли не на поле сражения и привезенная им императрице, которая поручила ее воспитание моей тетке.

С Елисаветинским Институтом у меня связано много воспоминаний. Приехал я в него ребенком и покинул его взрослым юношей, прожив в нем более пятнадцати лет, т. е. пору моего отрочества и начала моей юности. Здесь пробудилось мое сознание и началось познание мною жизни внешнего мира. Эта пора жизни человека столь полна переживаниями, в ней столько первых горестей и первых радостей, что к концу жизни от нея в памяти остаются лишь главные общие черты рядом иногда с мелкими фактами, поразившими детское воображение. В связи с этим в памяти встают отдельные лица как родные, так и чужие, посещавшие дом, слышатся разговоры этих лиц, вспоминаются воспитание и учение. Позже, путем размышления, человек может вывести общие линии давно прошедшей эпохи, но не дать связного и точного рассказа о минувшем им пережитом.

Елисаветинский Институт был расположен, так же как и Разумовский, на слиянии Яузы и Чечеры, последняя разделя-

ла парки обоих институтов. Фасадом своим он выходил на Вознесенскую улицу, ту самую, которая ведет к Немецкой, в Лефортово, и кончается у Камер-Коллежского Вала. Здание его было больше Разумовского, и было еще расширено пристройками уже в мое время. Не знаю, каково было его назначение прежде, но оно было образцовым для учебного заведения. Большие, высокие и светлые классные комнаты и дортуары, два прекрасных обширных зала, из которых один с колоннами, составляли его внутреннее помещение. Церковь была большая, но очень уютная и располагающая к молитвенному настроению. Большой парк с двумя прудами, где летом плавали лебеди, с лодкой и купальней доходил до Яузы и был отделен от нее высоким деревянным забором.

Наша квартира находилась в низком одноэтажном доме бывшей прачечной, соединявшимся с главным корпусом института зимним садом. Дом был очень поместительный, в нем было 14 комнат, в том числе большая гостиная и зала. Квартире принадлежали два небольших сада. Дом выходил на Вознесенскую улицу, и прямо против наших окон находилась лютеранская кирха св. Михаила, с реальным училищем того же наименования. Кирха была окружена большим садом и огородом. Казалось бы, что соседство было спокойным и приятным, но по нашей стороне улицы, рядом с нами, были расположены два завода: Невской стеариновой мануфактуры и машиностроительный Гужона. От первого летом к нам несло отвратительным запахом, а от второго доносился шум молотов, ударяющих по железу.

Наша семья в начале своей жизни в Елисаветинском Институте была довольно многочисленна. Она состояла из моей тетки Лины, моей матери, нас, троих братьев, и нашего двоюродного брата Мити Олсуфьева, сына моей покойной тетки, которого после смерти его отца тетя Лина взяла на воспитание. Кроме нашей семьи, с нами жили еще наша няня Мария Матвеевна и гувернантка — француженка, мадемуазель Фукэ.

Митя Олсуфьев был гораздо старше нас и ко времени нашего переезда в Елисаветинский Институт уже ходил в Пятую Мужскую Гимназию на Покровку. Его отец, когда-то очень богатый человек, владелец стеклянного завода, под конец жизни совершенно разорился, и Митя остался без всяких

средств. Он был очень хорошим и приятным мальчиком, прекрасно учился как в гимназии, так впоследствии и в университете. Я никогда не видел на его лице проявления радости или огорчения, он никогда не принимал участия в спорах, и мне ни разу не удалось услышать его мнение по тому или другому вопросу. А вместе с тем, это был незаурядный человек, что он доказал в своей дальнейшей жизни. Гораздо позже, когда я уже состоял на государственной службе и жил самостоятельно в Петербурге, он, наезжая из деревни, всегда останавливался у меня, и мы с ним очень сошлись, но и тогда он не покидал своей замкнутости.

Няня Мария Матвеевна, или, как мы ее называли «Матоса», подобно многим русским няням, воспитывала несколько поколений Ливенской семьи, в том числе мою мать и мою двоюродную сестру Дину. Все нянины интересы были связаны с этой семьей, и она была беззаветно ей предана. Нас троих она любила, как родных. При всей своей доброте она отличалась отвратительным характером и необъяснимыми капризами. Когда она на кого-нибудь обижалась, правая ее бровь поднималась, лицо принимало трагическое выражение. А высказав свое неудовольствие, она умолкала и дулась иногда две-три недели. Особенно трудно было удовлетворить ее в отношении пищи. Несмотря на то, что благодаря любви моей матери к хорошему столу и тонким блюдам, у нас был хороший повар, Матоса ни за что не хотела питаться от нашего стола и готовила себе в своей комнате сама в голландской печке. Не помню, в чем состояли ее блюда, знаю только, что в них входило много грибов и лука и что от них по соседним комнатам расходился сильный запах. Не доедая сразу своей стряпни, она сохраняла ее не только в своей комнате, но и в печах других комнат. Все относились к Матосе с большим вниманием и любовью, особенно моя мать, хотя подчас капризы и дутье становились для нас невыносимыми. В нашей квартире у нее была отдельная комната, остававшаяся за ней даже в те периоды, когда она, обидевшись, удалялась на продолжительное время погостить у каких-нибудь знакомых. В конце концов, когда мы выросли и не нуждались более в ее уходе, пришлось согласиться на ее просьбы и устроить ей койку в одной из московских богаделен. Но когда, после смерти моего отца, мать

переехала на постоянное жительство в деревню и предложила Матоше комнату в нашей усадьбе с тем, что к ней будет представлена особая прислуга и что по субботам и воскресеньям ее будут возить в церковь, она с негодованием отвергла это предложение и осталась жить в богадельне. Уже будучи студентом и постоянно живя в Петербурге, в один из моих наездов в Москву я как-то навестил ее. Нельзя описать ее гордости перед товарками. Помню, я приехал на лихаче, который ждал меня во дворе. Старушки подходили к окну и любовались элегантно упряжкой. Воображаю, сколько разговоров было, когда я уехал. В одном отношении няня имела на нас благотворное влияние: будучи сама религиозной, она научила нас молиться и относиться с уважением к обрядам православной церкви.

О мадемуазель Фуке в моей памяти почти ничего не сохранилось. Она была самой обыкновенной французской гувернанткой. Долг свой по отношению к нам она исполнила честно, т. е. скоро научила говорить по-французски и прилично сидеть за столом. Думаю, что она, подобно онегинскому *Mr l'Abbé*, не «"докучала" нам моралью строгой» и «слегка за шалости бранила». Одним словом, мы друг другу неприятностей не причиняли, у меня с ней не связано никаких неприятных воспоминаний. В семью нашу она не вжилась и когда она нас покинула, то вскоре все о ней забыли, она нас никогда не посещала. Вероятно, она была одиноким несчастным существом и сейчас мне хочется думать, что она кончила свое существование в мире и спокойствии где-нибудь у себя на родине.

Не могу не упомянуть о прислуге, в то время весьма многочисленной. Буфетчик, выездной лакей, буфетный мужик, судомойка, две горничные и кучер составляли наш штат. Горничные и лакеи жили с нами в одном доме, остальные же помещались в комнатах, отведенных им в институтском дворе. Такое количество прислуги объясняется тем, что в то время она была дешева. Наш первоклассный повар Василий Баранов получал самый большой оклад: 25 рублей серебром в месяц; лакеи по 15 рублей, горничные по 10, а низшие чины, как кучер, буфетный мужик и судомойка, и того меньше. Да и остальные расходы были невелики, т. к. жизнь была деше-

вая. Помню, как моя мать сердилась, когда ежедневный счет повара превышал 5 рублей серебром, а ведь надо было кормить 14 человек. Отец мой выдавал моей матери на жизнь 10.000 рублей в год, а жалование тети составляло около 2.500 рублей. На эти деньги мы могли не только питаться, одеваться, иметь гувернеров и домашних учителей, но держать выезд, а летом, когда этого требовало чье-нибудь здоровье, то и поехать на два месяца за границу.

Население такого учреждения, как казенное учебное заведение, в те времена было велико. Кроме преподавателей и учительниц, весь персонал института пользовался казенными квартирами. Помимо начальницы и воспитанниц, в институте жили классные дамы, рукодельная дама, бельевая дама, пыльная дама, целый сонм горничных и швеек, смотритель здания, казначей, врач, священник, диакон, не говоря уже о более мелких, как вахтер, столяр, садовник и истопники. Все это помещалось либо в отдельных корпусах, либо в отдельных домиках во дворе. Некоторые из обитателей института были обременены большими семьями, и дети их, если это были дочери, были приходящими в институте, мальчики, посещали ту же гимназию, что и мы.

У меня сохранилось впечатление, что за 15 лет моей жизни в Елисаветинском институте состав его населения мало менялся. Мне кажется, что те его жители, которых я застал при моем приезде, оставались в нем до моего отъезда. Всех их я хорошо помню, но немногие из них отличались чем-либо особенным. Я могу остановиться только на институтском священнике, отце Димитрии Николаевиче Беляеве, и на некоторых институтских учителях, да еще на самом скромном служащем — плотнике и столяре.

Отец Димитрий, окончивший Духовную Академию, был очень образованным и вместе с тем глубоко верующим человеком. Отправляемая им церковная служба отличалась какой-то особенной трогательностью и задушевностью. Это особенно чувствовалось во время Страстной недели, когда отец Димитрий как бы сам переживал Страсти Господни. Помню его слезы во время погребения Христа. Никогда впоследствии не мог я свыкнуться с торжественным «пафосным» тоном служ-

бы других священников — так сильна была у меня память о простой и умирительной службе отца Димитрия.

Среди преподавателей я запомнил двух: Сергея Алексеевича Соколова, одно время учившего меня русской грамоте, и Сергея Васильевича Зенченко, хотя они были полной противоположностью друг другу. Первый из них, высокий, худой, в очках, со впалыми глазами, преподавал в младших классах института русский язык. Он считался очень строгим, но в сущности был добрейшим и честнейшим человеком, просто не любившим лентяев и безжалостно ставившим им плохие отметки. Он фанатически любил русскую грамоту и совершенно не переносил грамматических ошибок в диктовках своих учеников. Думаю, однако, что если бы ему пришлось преподавать русскую словесность, то его уроки были бы неинтересны. Он был моим вторым учителем русского языка пред моим поступлением в гимназию. Не знаю, как он это делал, но без особых строгостей и раздражительности он очень скоро научил меня писать без ошибок. Благодаря ему буква «ять» никогда не причиняла мне огорчений. Довольный таким результатом, он говорил моей матери: «Саша — нравственный мальчик, он пишет по-русски без ошибок».

Сергей Васильевич Зенченко был и человеком, и преподавателем совершенно другого порядка. Небольшого роста, с белокурыми волосами, в пенсне, с умными глазами, он привлекал к себе внимание своим интересным разговором и своей культурой. В институте его считали красным — наименование, дававшееся тогда самым безобидным либералам, никогда не помпешавшим о свержении существующего строя. Более правильно их следовало бы называть «передовыми», т. к. по своей культуре они стояли впереди своего окружения. С. В. Зенченко преподавал историю, но мне, к сожалению, по малости моих лет, не удалось воспользоваться его уроками. Знал я его только потому, что он иногда посещал нас. С его именем в моей памяти связывается забавный случай. Как-то значительно позже, когда мы уже учились в гимназии, моя мать спросила у Сергея Васильевича, какие книги он мог бы рекомендовать нам для чтения во время летних каникул. Он указал на Мамина-Сибиряка, и мать приобрела сочинения этого писателя. В деревне отец, зайдя в наши комнаты, стал

перелистывать лежащий на столе томик Мамина-Сибиряка. Вдруг его лицо изобразило негодование, и он, забрав с собой книгу, быстро вышел из комнаты. Позже мы узнали, что отец сделал нашей матери целую сцену по поводу столь безобидного писателя, как Мамин-Сибиряк. До сих пор не знаю, в чем именно упрекал отец этого писателя: грешил ли он, по его мнению, против правил морали или по политической линии. Но книги эти в тот же день были изъяты из нашего обращения.

С благодарностью вспоминаю жену С. В. Зенченко — Марию Михайловну, дававшую частные уроки детям младшего возраста. Столь же культурная и столь же передовая, как ее муж, она обладала совершенным педагогическим талантом. На мое счастье, она была моей первой учительницей. Спокойная, ласковая, всегда с улыбкой на лице, она сделала так, что в семилетнем возрасте я незаметно научился от нее читать, писать и овладел началами арифметики.

Институты ведомства Императрицы Марии управлялись советами. В них входили начальница, председательствовавшая в нем, и два почетных опекуна, члены Опекунского Совета этого ведомства, заседавшего в Петербурге. Начальница была главным лицом в управлении институтом и несла наибольшую ответственность. Ее голос был решающим в Совете. Опекуны же, из которых один заведовал учебной частью, а другой — хозяйственной, хотя и имели суждение каждый в своей сфере, но роль их была скорее консультативная. Они помогали начальнице и представляли интересы института в Опекунском Совете.

Как бы это ни казалось странным, но в Елисаветинском Институте опекуном по учебной части был отставной кавалерийский генерал гр. Алексей Васильевич Олсуфьев. Это был маленький, совершенно лысый генерал, носивший всегда форму Гродненского Гусарского полка. Удивительно то, что этот, казалось, вполне военный человек, был настоящим ученым — специалистом по поэзии и литературе... За время нашего с ним знакомства он написал прекрасную книгу о Марциале, один экземпляр которой он нам подарил с очень милой надписью. Вместе с тем был большим весельчаком и очень тонко

острил, дразня тетю Лину, с которой был очень дружен. Его жена Аликс, как ее звали в свете, рожденная Миклашевская, вероятно, бывшая в молодости очень красивой, сохранила до старости лет миловидность и некоторую долю жеманства. Она очень боялась мужниных шуток, которым он, чтобы ее поддразнить, придавал несколько легкомысленный характер. Мы очень любили графа Олсуфьева, т. к. он всегда мило болтал и шутил с нами.

Опекуном по хозяйственной части был кн. Николай Петрович Трубецкой. Когда-то очень живой и образованный, принимавший участие в известных интеллектуальных кругах Москвы (о нем упоминает в своих мемуарах Б. Н. Чичерин), он был ко времени моей встречи с ним уже дряхлым стариком, потерявшим память и зачастую подававший повод к недоумению и смеху. Рассеянность его была легендарной. Так, будучи назначен, еще в среднем возрасте, губернатором в какой-то город, он делал визиты. По рассеянности, выходя из одного дома, он надел пальто полицеймейстера, бывшего в ссоре со многими в городе. Продолжая делать визиты, он оставлял карточки полицеймейстера вместо своих и тем помирил его со всеми. Особенностью его был неразборчивый почерк, про который говорили, что его надо давать разбирать в аптеку. Однажды, поехав по делам института в Петербург, он послал оттуда несколько писем тете Лине, но она не могла их прочитать. Наконец, не выдержав, она вернула ему письмо, прося продиктовать его кому-нибудь. Через неделю она получила письмо, написанное прекрасным почерком и очень грамотно. Сам он приписал только несколько слов, чтобы сказать, что на этот раз письмо писал буфетный мужик.

Последним лицом, не участвовавшим в управлении институтом, но занимавшим в нем почетное положение, был церковный староста. Эту должность в казенных учебных заведениях в старой России занимали обыкновенно богатые купцы. Содержания они не получали, а напротив, сами ежегодно жертвовали известные суммы на храм и делали денежные подарки духовенству. За это их жаловали медалями и орденами. В Елисаветинском институте церковным старостой был некий Журавлев, хозяин большой гостиницы «Континенталь», в Охотном Ряду. Это был представитель нового москов-

ского купечества, т. е. человек, получивший уже известное образование и говоривший по-французски. Все же, повидимому, общество тети Лины его немного смущало, и когда после всенощной она приглашала его к чаю, он, чтобы показать свою образованность, вел с ней разговор о новейшей французской литературе и особенно о Paul Bourget, модном тогда писателе.

Тетя Лина уделяла большое внимание музыкальному образованию своих воспитанниц. В этом ей деятельно помогал музыкальный инспектор Московских Учреждений ведомства Императрицы Марии, известный дирижер и директор Консерватории Василий Ильич Сафонов. Способствовал этому и преподаватель фортепиано в институте Давид Соломонович Шор, организатор квартета, дававшего в Москве концерты камерной музыки, усердно нами посещавшиеся. Идя навстречу желанию тети Лины, В. И. Сафонов привозил в институт всех знаменитых гастролеров. Помню замечательные концерты Гофмана, Габриловича и др. в прекрасном, двухсветном зале института.

Я не буду говорить об институтских балах, наводивших на нас невыносимую скуку, т. к. воспитанницы смотрели на нас, племянников начальницы, как на каких-то диких зверей, что нас раздражало и нам надоедало.





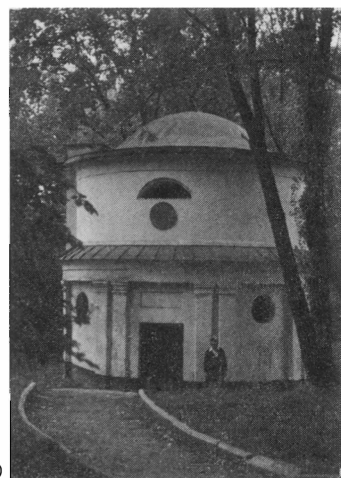
Зелёный домик Дяди Коли в Каменке.
Ныне Музей А. С. Пушкина и П. И. Чайковского



Река Тясмин



Грот



Водяная мельница
КАМЕНКА

©
О
О
Д.
Д.

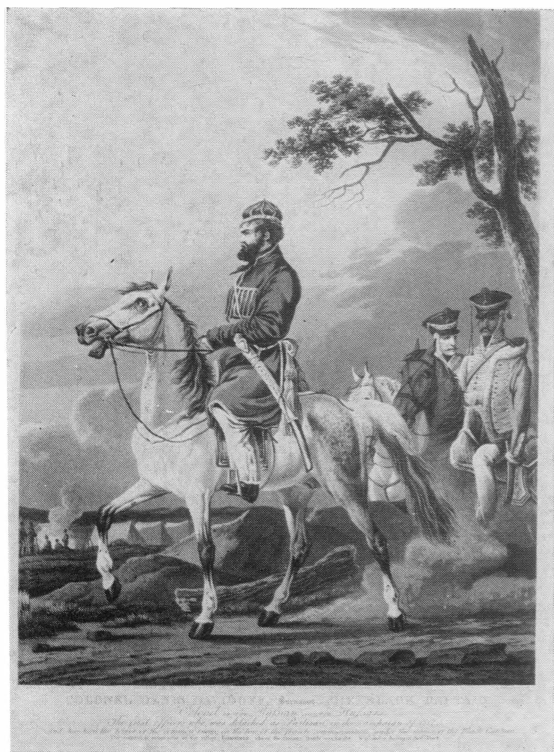


Екатерина Николаевна САМОЙЛОВА
1755 — 1825

©
О
О
Д.
Д.



Петр Львович ДАВЫДОВ
1777 — 1842



Денис Васильевич ДАВЫДОВ
Поэт и партизан
1784 — 1839
(худ. А. Орловский)

Новодевичий
Монастырь





Василий Львович ДАВЫДОВ
декабрист
1792 — 1855
(ок. 1820)



Александра Ивановна
ДАВЫДОВА
рожд. Потапова
1802 — 1894
(худ. Н. А. Бестужев)
(1830 — 1839)



Василий Львович ДАВЫДОВ
ок. 1853



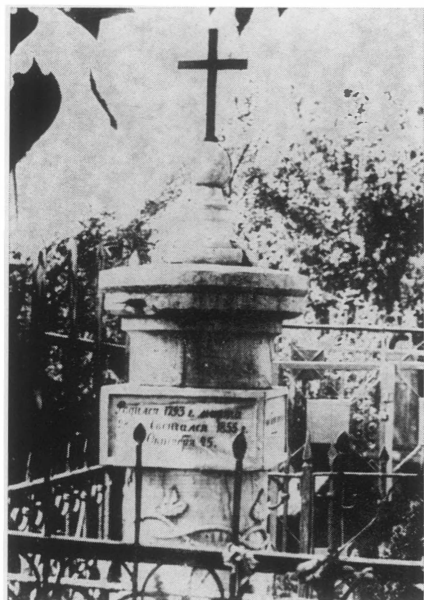
Александра Ивановна
ДАВЫДОВА
ок. 1860



Александра Ивановна
ДАВЫДОВА
в Каменке
ок. 1890



КРАСНОЯРСК: Дом декабриста В. Л. ДАВЫДОВА.
(Акварель из семейного альбома Давыдовых)



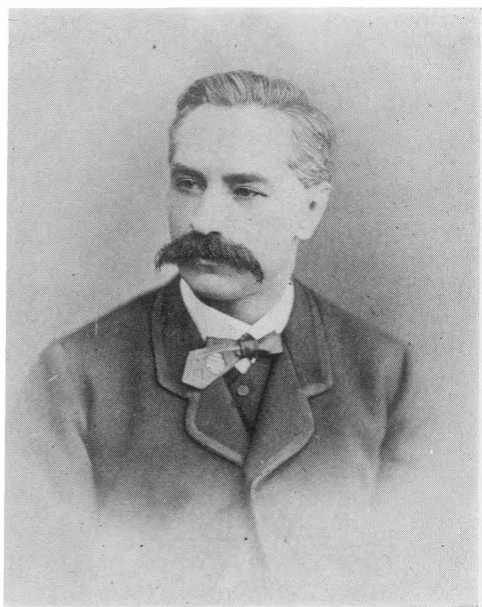
КРАСНОЯРСК
Могила Василия Львовича



КАМЕНКА
Могила
Александры Ивановны



Петр Васильевич
ДАВЫДОВ
1825 — 1912



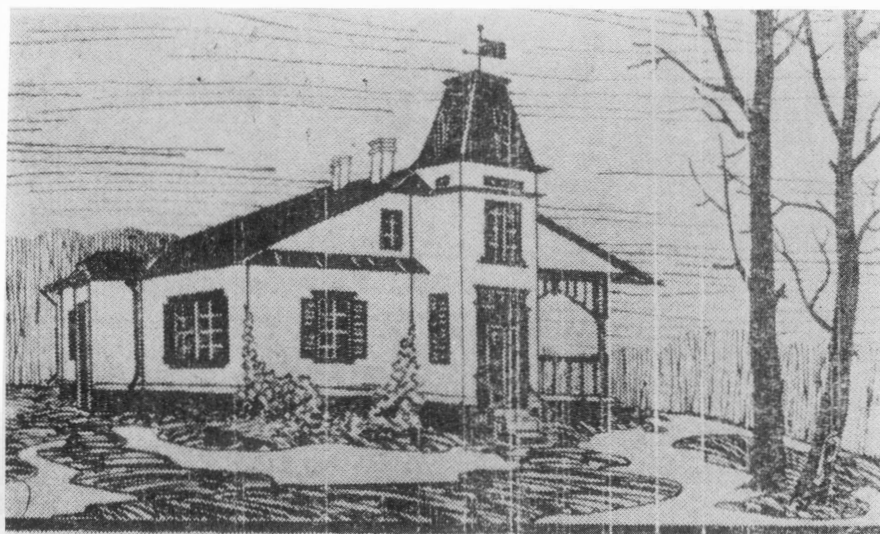
Николай Васильевич
ДАВЫДОВ
1826 — 1916



Три дочери ТРУБЕЦКИХ
Елизавета, Александра, Зинаида



Лев Васильевич ДАВЫДОВ,
Александра Ильинична
урожд. ЧАЙКОВСКАЯ



МУЗЕЙ А. С. ПУШКИНА И П. И. ЧАЙКОВСЬКОГО
Г. КАМЕНКА, ЧЕРКАССКОЙ ОБЛАСТИ

КАМЕНКА

ВОСПИТАНИЕ

В старое время в России, в дворянских семьях, была принята система воспитания детей, которую интеллигенция и передовые представители тогдашнего общества называли «воспитанием в страхе Божиим». Особенности этой системы заключались в привитии детям двух основных начал: религиозности и основанной исключительно на ней морали. Религиозность должна была выражаться внутренне в вере в Бога и в страхе перед Ним, а внешне — в строгом соблюдении церковных обрядов. Всякое рассуждение о религии возбранялось, как могущее поколебать в ребенке веру. Ребенок должен был умственно и эмоционально воспринимать религию, как это делали воспитывавшие его родители. Что же касается морали, то она была единственной директивой его поведения. К морали относилось и обязательство исполнения долга, в чем бы он ни заключался, будь то в хорошем учении или безусловном повиновении своим родителям и воспитателям. Родительский авторитет должен был быть признаваем неукоснительно, как бы зачастую ни были устаревшими или несправедливыми их взгляды. Всякое проявление самостоятельной мысли со стороны детей, идущие вразрез со взглядами, принятыми родителями, почиталось аморальным и вредным и, в зависимости от характера родителей, оценивалось ими более или менее резко. Особенно властные родители отвечали на неподходящие им рассуждения детей словами: «глупость, вздор...» Родители были начальством своих детей, и их приказания должны были исполняться беспрекословно. При такой системе родители обращали мало внимания на особенности ребенка, на его ум, способности и наклонности. Принятые ими «правила», заключающие, по их мнению, абсолютную истину, само собой разуме-

меется, должны были быть применяемы ко всем детям одинаково и принимаемыми последними без рассуждения. Даже когда в семье было несколько детей, отличавшихся своими способностями или характерами, требования к ним предъявлялись все те же и им давалась та же душевная и духовная пища.

Самым острым и опасным вопросом в воспитательной системе «в страхе Божием» был вопрос половой. Идти против природы или отрицать ее требования, было невозможно, но так как не только самый половой акт, но даже мысли и особенно разговоры о нем считались греховными, то надо было как-то выходить из положения. Такой выход был найден в тайне, которой этот вопрос был облечен, и в признании его стыдным. На момент половой зрелости юноши и на часто с этим связанные сильные потрясения его психики, родители не обращали никакого внимания. Проявления этих потрясений считались признаками дурного и аморального поведения юноши, который из-за порочности своей натуры нарушает правила, установленные его родителями — начальниками.

Само собой разумеется, что при такой системе исключался всякий психологический подход к ребенку. Вопрос о том, какое впечатление производили на него те или иные распоряжения, вообще не ставился. Раз эти распоряжения основывались на абсолютной истине, то впечатления от них у ребенка должны были обязательно быть не только хорошими, но и приятными. Если же это было не так, то виноват в этом был только ребенок из-за испорченности своей натуры. Возможность несправедливости по отношению к ребенку, в силу этих же соображений, не допускалась. Родители не знали, что дети очень остро переживают всякую причиняемую им несправедливость и что всякое оскорбление этого чувства оставляет в них глубокие, зачастую неизгладимые во всей последующей жизни следы.

Такое же отсутствие психологического подхода к ребенку сказывалось и в том, что родители не пытались развивать в нем серьезных интересов. Такого развития даже как будто остерегались, вероятно, предполагая, что тогда ребенок либо сможет перерасти своих начальников — родителей и выйти из-под их авторитета, либо подвергнуть критике «правила»

воспитательной системы. Совершенно упускалось из виду, что мораль и страх Божий, навязанные начальством, в силу одного этого, принималось детьми, как скучная дисциплина, всякое нарушение которой было сладким запретным плодом. Тогда как развивающийся у ребенка, а особенно у юноши, сврезынный интерес занимает его ум, наполняет мысли и тем самым отвращает его внимание от пустых ничтожных стремлений.

Все это не значит, что родители не любили своих детей. Напротив, чем больше они их любили, тем полнее и строже применяли они к ним свою воспитательную систему, полагая, что они дают максимум хорошего. Одного они не знали, а именно — что ребенка, а потом и юношу, надо не только любить, но и жалеть и помогать ему в трудные минуты его переживаний, подчас очень тяжелых. Они не знали, что лучший и самый ценный багаж, который вносит в свою жизнь человек, есть память о счастливом детстве. Она смягчает его душу и устраняет озлобленность, она делает человека оптимистом и приятным для окружающих и тем самым помогает ему преодолевать жизненные трудности и невзгоды.

Так как ко мне и к моим братьям была полностью применена система воспитания в «страхе Божиим», то я могу судить о ней по личному опыту. Боже избави меня упрекнуть за это мою мать. Воспитанная по этой системе, принятой в кругу того общества, к которому она принадлежала, она не имела выбора. Любила она нас страстно, и, после перенесенной ею семейной неудачи, мы для нее были единственной отрадой и целью жизни. В нас, своих сыновьях, она надеялась найти удовлетворение своему самолюбию. От природы она была чрезвычайно самолюбива, а пережитое ею горе сделало ее, как уже сказано выше, женщиной властной и волевой. Эти особые черты характера моей матери еще усугубили и без того тяжелые формы нашего воспитания. Сколько раз она применяла ко мне телесное наказание — и в последний раз, когда мне было уже восемь лет.

О том, какие результаты такого воспитания получились для моих старших братьев, я скажу всего несколько слов, потому что мне трудно говорить о том, как они внутренне его воспринимали. Я должен остановиться на себе, не потому что мой случай был каким-то особым, напротив, он является при-

мером того, что было со многими другими. Мой рассказ покажет, как лучшие намерения такой прекрасной женщины, как моя мать, принесли мне много тяжелых переживаний, столь тягостно отразившихся на всей моей жизни.

Оба мои старшие брата не отличались силой воли, и железная рука моей матери совершенно искоренила в них ее последние проявления. Если у старшего брата это выразилось лишь в том, что он на всю жизнь остался нерешительным и легко поддающимся под чужое влияние, то для второго брата результаты такого воспитания оказались катастрофическими. Будучи натурой слабой и склонной к жизненным наслаждениям, он потерял последние сдерживающие центры и погиб еще в молодых годах.

Для меня дело сложилось иначе. Прежде чем начать описание моего воспитания, я могу охарактеризовать его, как многолетнюю борьбу двух волевых начал, из которых одно боролось за свою власть, а другое — за свою самостоятельность. Начиная с тринадцатилетнего возраста и до самого зрелого, я жил в состоянии постоянной оппозиции против матери, пока, наконец, не вышел из этой борьбы полным победителем. Теперь я сознаю, что эта оппозиция была не столько против моей матери, не любить и не уважать которой я не мог, но против той системы воспитания, которую она ко мне применяла. Помню, что лишь после полной моей победы, когда жизнь моя удалась, не благодаря указаниям матери, а скорее помимо них, я рассказал ей о своей жизни, не как она ее видела, а какой она была на самом деле. Мать поняла меня и горько заплакала... Но прошлого было уже не вернуть. Сколько тяжких страданий пришлось мне пережить и сколько душевных сил и драгоценного времени было истрачено на борьбу с самым близким, любимым и любящим меня существом — моей матерью. И все это из-за системы воспитания, построенной на самых лучших намерениях...

До десяти лет я находился под непосредственным наблюдением мадемуазель Фукэ, о которой, как я уже сказал, у меня сохранилось очень мало воспоминаний. Она учила меня только французскому языку и манерам; нравственную же часть моего воспитания мать оставила за собой. Когда мне минуло девять лет, мадемуазель Фукэ перестала заниматься старши-

ми братьями, и к ним был приглашен гувернер-немец из балтийских провинций, в ведение которого я перешел через год. В выборе национальности гувернера моя мать руководствовалась двумя соображениями. Во-первых, считалось необходимым научить нас немецкому языку, а, во-вторых, было решено, что для нас пришла пора, когда мальчикам следует привить понятия о чести. Первое основание для приглашения немецкого гувернера не может быть оспорено. Но в том, что для осуществления второй цели было необходимо обратиться к содействию прибалтийского немца, можно усомниться. У матери в этом отношении не могло быть сомнений. Не надо забывать, что сама она происходила из курляндского дворянства, сохранившего традиции тевтонских рыцарей, и что, несмотря на свою жизнь в Москве, она поддерживала постоянный контакт с Курляндией, где проживала ее многочисленная родня. От нее она слышала, что только среди прибалтийских немцев сохранились истинные рыцарские традиции и что лучшими наставниками молодежи по этой части могут быть только бывшие студенты Дерптского Университета, прошедшие через студенческие корпорации, т. е., проще говоря, «бурши». Тип этих буршей известен, и жизнь их в корпорациях описана как в немецкой, так и в русской литературе. Стоит только вспомнить повесть Тургенева «Ася» и описанный им там конвент немецких студентов или пьесу «Старый Гейдельберг».

Благодаря нашим курляндским гувернерам, мы хорошо познакомились с нравами и обычаями этих буршей, особенно я, т. к. у меня их перебывало шестеро. Мы очень скоро узнали, что каждый студент должен презирать филистера, т. е. зрелого человека, ведущего трудовую жизнь и имеющего серьезные интересы. Узнали мы прелесть пьянства и связанного с ним удалства. Научились ценить довольно плоские и грубые шутки над людьми, не имеющими чести принадлежать к студенческим корпорациям, и особенно над евреями, которые-де существуют только для того, чтобы давать займы студентам деньги. Распевали мы с гувернерами немецкие студенческие песни, в которых воспевались Wein, Weib und Gesang*) и развеселая жизнь. По части чести наши гувернеры познакомили нас с правилами дуэлей на саблях, на эспадронах и

*) Вино, женщины и пение.

пистолетах и объяснили, что высота положения студента в корпорации прямо пропорциональна количеству дуэлей, в которых он участвовал. Поводом же для дуэли могло служить малейшее неуважительное выражение по отношению к корпорации или к личности студента, зачастую несколько не затрагивающее его чести, причем такого рода оскорбления наносились обычно в пьяном виде.

Все наши немецкие гувернеры, отъявленные пьяницы и гуляки, были по существу абсолютно некультурными людьми, даже в своем немецком смысле. А так как ни один из них не говорил ни слова по-русски и никогда, следовательно, не читал ни одной русской книги, то о русской культуре они и подавно не имели никакого представления. Все же они были «добрыми малыми» — первый из них Ф. Ф. Чернай был очень хорошим человеком. Большой любитель леса и охоты, он стал впоследствии лесничим в нашем Киевском имении и, изучив по немецким книгам лесное дело, превосходно с ним справлялся. Когда мы подросли и выпили с ним на брудершафт, он стал нашим большим другом и совершенно вошел в нашу семью. Об остальных пяти не стоит и говорить. Самое большое влияние наши наставники имели на моего старшего брата, средний брат относился к ним безразлично, а я подходил к ним с большой долей иронии.

Не знаю, понимала ли мать бесполезность и даже вред всех этих гувернеров, но тот факт, что за шесть лет их пребывания в нашем доме она их часто меняла, показывает, что они ее мало удовлетворяли. Вероятно, поэтому она не переставала принимать близкое участие в нашем воспитании. Так все моральные и религиозные наставления исходили непосредственно от нее. В отношении вторых это было естественно, т. к. наши наставники были, во-первых, лютеранами, а во-вторых, вообще мало интересовались вопросами религии. Хотя моя мать вышла из лютеранского рода, она была крещена православной, т. к. по закону тогдашнего времени, если отец или мать были православными, то и детей крестили по православному обряду. Однако мать атавистически склонялась к лютеранству, любила посещать кирху и слушать проповеди пасторов. Все же, вероятно, считая своим долгом утвердить нас в правилах православия, она усердно посещала церковь и строго наблюдала за тем, чтобы и мы следовали ее примеру. Религия вос-

принималась ею эмоционально и сущность христианского учения в его православном выявлении была ей чуждой, а потому никакого поучения в этой области она дать не могла. В силу этого она требовала от нас точного выполнения обрядов, выражавшегося в соблюдении постов (далеко не всех), аккуратном посещении служб, исповеди и причастии. Не имея возможности внушить нам уважение к религии путем разъяснения сущности христианского учения и смысла религиозных обрядов, она прибегала к возбуждению в нас страха, как к средству утверждения религиозного начала. Когда мы были еще совсем детьми, нас буквально пугали немедленным и безукоснительным проявлением Божьего гнева по отношению к нам, если мы не будем верить в Бога или станем небрежно относиться к соблюдению церковных обрядов. Так, когда нас водили в церковь, мы должны были простаивать, вытянувшись в струнку, с начала и до конца службы. Если нам делалось дурно, нам давали нюхать соли и на несколько минут позволяли присесть на стул. Хождение в церковь стало для нас мучением, и, находясь в ней, мы не вникали в смысл молитв, а только думали о том, когда же кончится служба. Уклониться от посещения церкви под каким-нибудь благовидным предлогом мы не могли, т. к. тогда нас ожидало проявление Божьего гнева в самом материальном смысле, т. е. в виде какой-нибудь болезни или физического уродства. Страшнее всех были возможные кары за погрешности в отношении исповеди и причастия. Нам говорили, что если на исповеди мы не скажем священнику какого-либо греха или согрешим помышлением между ней и причастием или, наконец, если в самый момент причастия подумаем о чем-нибудь постороннем или греховном, то дьявол тут же, на амвоне, перед чашей, может похитить нашу душу, что выразится в нашей немедленной смерти.

Результаты такого религиозного воспитания очевидны. Сначала, когда мы были еще очень малы, религия и церковь страшили нас и Бог представлялся нам, как карающий мстительный еврейский Иегова. Понятия о любвеобильном и милостивом Христе у нас не было. Потом, когда мы подросли и страхи наши прошли, мы, хотя и уважали религию, но относились к ней формально и уж никак не искали в ней ни опоры, ни утешения в трудные минуты сомнений и моральной неудовлетворенности.

Родители, времени моего детства и юношества, вероятно, не читали одной строфы из «Евгения Онегина», а если и читали, то не вдумывались в нее, а, быть может, даже сочли ее безнравственной. Между тем там сказано нечто, понимание чего могло бы значительно облегчить некоторые очень тягостные минуты юношеской поры. Вот что говорится в этой строфе:

Нас пыл сердечный рано мучит,
Как говорит Шатобриан,
Любви нас не природа учит,
А первый пакостный роман.
Мы алчны жизнь узнать заране
И узнаем ее в романе.
Лета пройдут и между тем
Не насладимся мы ничем.
Прелестный опыт упреждая,
Мы только счастью вредим...

Когда я вспоминаю, какой таинственностью был облечен в сущности естественный и простой вопрос о деторождении и половом акте, как люди стыдились о нем говорить, каким грехом казалась всякая мысль о нем, то я завидую теперешнему молодому поколению: его учит любви природа и оно с ранних лет привыкает относиться просто к отношениям между мужчиной и женщиной. Насколько их воображение чище и спокойнее. Тайна в половом вопросе только способствовала развитию чувственности. Первая любовь в этих условиях теряла свой идеалистический характер и превращалась в плотскую страсть, которая, в случае ревности, порождала невыносимые и совершенно лишние страдания. Казалось бы, вот тут-то и должна была проявиться благая роль родителей и наставников, с которыми юноша мог бы поделиться своими мучениями. Но нет, причина эта была стыдная, а юноши, в особенности самлюбивые, боялись насмешки или легкомысленного отношения к их исповеди и потому предпочитали молчаливо переносить свои тяжелые переживания. К тому же размышления и разговоры об этом считались греховными, и если родители и наставники не смеялись над юношей, то они считали его грешником и испорченным безнравственным мальчишкой и даже принимали строгие меры к его исправлению. Юноше оставалось в молчании переносить свои страдания, что отражалось на его поведении, а иногда и на здоровье. Прежде всего он становился мечтательным, рассеянным и ленивым, а это

отзывалось на его учении. Тогда родительская власть, не стараясь найти причины его состояния, со всем своим авторитетом набрасывалась на виновного, засыпала его упреками, наказывала за плохие отметки. Происходило отчуждение между существами, любящими друг друга и, по законам природы, призванными приходить друг другу на помощь.

Для меня «пора надежд и грусти нежной», т. е., проще говоря, половая зрелость, наступила рано — в тринадцать лет и проявилась бурно и резко. Потрясение моей психики было настолько сильно, что я совершенно изменился. Из благонаправленного старательного мальчика я за короткое время превратился в рассеянного, раздражительного, а главное ленивого мальчишку. Учиться я совершенно не мог, и самые простые уроки стали мне непонятны. Надо сказать, что то, что так тщательно скрывали от меня мать и гувернеры, я узнал от товарищей в первый же месяц моего поступления в гимназию, а «пакостным романом», окончательно меня просветившим, был «Нана» Золя в русском переводе. Читал я его по ночам, когда в доме все спали. Последствия этого очевидны. Престиж, которым я до сих пор пользовался дома, был мной утрачен, и вернул я его только значительно позже и не без борьбы. Отношение матери ко мне резко изменилось, она больше не гордилась мной, а сердилась на меня за мою испорченность. Именно с этого времени началась моя «оппозиция» против материнского авторитета, стоившая мне немало душевных сил...

Моя мать, как я уже говорил, была по рождению немка и Россию не понимала, русская же культура была для нея совершенно чужда. А то, что она из нее узнавала, казалось ей исполненным вольнодумства и безнравственности, от которых нас, разумеется, надо было уберечь. Это было легко сделать, т. к. наш дом посещали исключительно «благонамеренные» люди, за исключением дяди Андрея, от которого нас оберегали путем отправления во время его посещения сначала в детскую, а позже — в классную. Наше чтение строго контролировалось (несмотря на то, что я рано прочел Золя), и, кроме проскачки с Маминым-Сибиряком, этот контроль действовал нормально по отношению к литературе, вредной в религиозном и нравственном отношении. Все же Толстого, кроме «Войны и Мира», нам не давали читать, ведь он в это время напи-

сал столь опасную повесть, как «Крейцера Соната». Я уже говорил о наших немецких гувернерах, а потому не стоит говорить об их возможности иметь на нас культурное влияние.

Могут спросить, а нужны ли были нам серьезные интересы? Не показались ли бы нам скучными серьезные разговоры старших о вопросах, далеких нашему пониманию? Не бежали бы мы сами от них, занятые мыслями о развлечениях и житейских наслаждениях? Я не берусь ответить на эти вопросы за моих братьев, но о себе могу сказать, что я с удовольствием познал бы с более раннего возраста прелесть и вкус глубоких, долгих размышлений...

В тяжелые минуты сомнений и тягостных борений я был один и мне были даны только лишь страх Божий и мораль, как орудия в этой борьбе. Эти орудия никак не могли занять мой ум и увлечь мое сердце. Почему мне не дали того, что отвлекло бы меня от ничтожных увлечений, заняло бы мой ум и наполнило бы пустоту моей души?

То, что происходило со мной в мои детские и юношеские годы, было уделом многих, но у меня было нечто особенное, чего я тогда не мог осознать. Это «нечто» бессознательно, как я понял впоследствии, усугубляло трудности моих внутренних борений. Теперь я знаю, что во мне, вернее в моем подсознании, тогда боролись два атавизма. С одной стороны длинная вереница потомков немецких рыцарей, чуждых и даже враждебных русскости и русской культуре, и, с другой стороны, потомки татар, совершенно обрусевших в течение веков. Во мне встретились немецкая рыцарская традиция и духовное наследие декабристов. Столь различные элементы не могли слиться в одно целое, и в их борьбе победило второе. Мне стало дорогим и близким все, что связано с русской историей, с именем Давыдовых. Знатное происхождение семьи моей матери никогда не льстило моему самолюбию, но место, занимаемое именем Давыдовых в истории русской культуры, всегда возбуждало мою гордость.



ПУТЕШЕСТВИЯ ЗАГРАНИЦУ В ДЕТСТВЕ

Когда мне было девять лет, здоровье моей матери стало внушать опасения. Боялись за ее легкие. Врачи запретили ей выходить зимой из дому, и она могла только не более получаса гулять по солнечной стороне нашей улицы, да и то в респираторе. На лето ее послали в Швейцарию.

Это наше путешествие было моим первым выездом за границу. Поселились мы в Терите, на берегу Женевского озера, недалеко от Шильонского замка. Вид из окна пансиона, в котором мы жили, я впоследствии более тысяч раз видел на цветных и простых фотографиях, на коробочках и других ненужных предметах-сувенирах, и он достаточно надоел мне. Но тогда Женевское озеро, Шильонский замок и окружающие горы составили такой контраст с Москвой и нашей Вознесенской улицей, что я был в восторге. Как полагается всем туристам, мы катались на лодке по озеру, осматривали замок, и я с содроганием смотрел на место заключения несчастного Бонивара. Подымались мы и на горы над Терите и любовались видом озера. Все же, несмотря на первый восторг от красоты природы, ни в то время, ни позже, когда мне пришлось много ездить по Швейцарии, я как-то никогда не смог ее полюбить. Может быть, меня, степного жителя, стесняют горы, а, может быть, Швейцария кажется мне провинциальной и мещанской. Вероятно, мое отношение к ней несправедливо; в ней чувствуешь себя свободно, а ее история показывает, что в ней рождались большие патриоты и великие мыслители.

В следующем году мы вновь отправились в Швейцарию, но на этот раз в местечко Aigle-les-Bains, расположенное вверх по долине Роны, почти напротив Dent du Midi. Сейчас это большой курорт, но в мое время там была только одна гостиница,

в которой жили исключительно англичане. Было очень скучно, и если бы не прогулки по горам, то можно было бы впасть в тоску. Особенно плох был стол, приноровленный к английскому вкусу. Каждый день мы получали к утреннему кофе, к завтраку, дневному чаю и обеду ревеня в разных видах. Салат, варенье, сладкие пироги и т. д. — все было на ревене...

Гораздо интереснее показались нам позднейшие наши путешествия по Швейцарии. По тем же причинам, т. е. для поправки здоровья кого-нибудь из нас, мы посетили городок, названия которого я не помню, расположенный на Констанцском озере и побывали два раза в Сен-Морице — в Энгадине. Хорошо запомнилось мне в Констанце древнее аббатство, в котором находилась гостиница. В столовой на стенах, завешанных занавесками, еще сохранились старинные фрески. Вероятно, в этом помещении, в 1414 году, собирался церковный собор. Совершили мы, конечно, и экскурсию на место, называемое *Drei Länder Blick*, из которого можно видеть одновременно Германию, Австрию и Швейцарию. Любовались мы на расположенный посреди озера, живописный остров, где в то время находилась знаменитая лечебница для алкоголиков...

В то время не существовало того, что теперь в такой моде — *Sports d'hiver*. Зимой люди стремились в теплые края, к южному морю, и уезжали на зиму на французскую Ривьеру или в Египет. Поэтому Сен-Мориц в Энгадине вовсе не посещался зимой, туда ездили только летом. Мне кажется, что тогдашние туристы много от этого выигрывали, т. к. они могли любоваться поразительно красивой картиной, облаченной зимой в белый саван. Другим преимуществом путешествия в Энгадин того времени было отсутствие железных дорог, соединяющих его с остальной Швейцарией. Сейчас под двумя главными проходами, ведущими в Энгадин — *Julier Pass* и *Albula Pass* прорыты туннели, и путешественники проезжают в какие-нибудь двадцать минут то расстояние, для которого раньше требовалось полтора суток езды на почтовых, по прекрасным швейцарским дорогам, с ночевкой в дороге. Зато теперешние туристы не наслаждаются, спускаясь с *Julier Pass* дивной панорамой Энгадинской Долины с цепью озер, принимающих в солнечный день совершенно изумрудный цвет, отражая в себе зеленые леса на склонах гор. Самый перевал

на высоте, где нет никакой растительности, являет собой величественное зрелище. В верхней его точке стоит каменный столб, памятник перехода Юлия Цезаря, а направо высится острый Julier Pic, покрытый вечными снегами.

По железной дороге мы доезжали до станции Кур и там брали так называемую «extra post», т. е. большую коляску с двумя сидениями позади, запряженную четверкой прекрасных лошадей цугом. И сама коляска, и сбруя лошади, и живописная форма почтальона — все блистало порядком и чистотой. В первый день мы ехали по не очень высокой местности и к вечеру приезжали в Tiefenkasten. Здесь мы ночевали в небольшой, очень чистой гостинице, в которой нас кормили простым, но вкусным ужином, политым легким местным белым вином. На другое утро, напившись кофе с чудными сливками и превосходным маслом, мы отправлялись в дальнейший путь. Подъем на перевал начинался сейчас же по выезде из Tiefenkasten и продолжался несколько часов. По дороге не было никаких селений и постоянных дворов, и питались мы провизией, захваченной в Tiefenkasten. Лишь к вечеру приезжали мы в Сен-Мориц.

Время в Сен-Мориц мы проводили весело, т. к. оба раза, когда мы были там, с нами была тетя Лина и несколько представительниц курляндской родни, среди которых две молодые кузины, графини Кайзерлинг. Мы совершали дальние экскурсии, лазили на глетчеры и рвали эдельвейсы на высоких скалах. Иногда в экипажах, с итальянцами-кучерами и разукрашенными лошадьми, мы ездили вдоль Энгадинских озер, по дороге в Chiavenna до Maloya, где Инн падает в долину небольшим водопадом, чтобы далеко, в Австрии, уже большой рекой смешать свои воды с Дунаем.

Но самое живописное путешествие мы совершали, возвращаясь после нашего второго посещения Сен-Морица. Почему-то на этот раз нам надо было проехать через Вену, и моя мать решила, что мы сядем в поезд в Австрии, на Арлбергской дороге, в Инсбруке. Опять на extra post мы перевалили на этот раз через Albula Pass и, следуя вдоль течения Инна, переехали в Тиролю у Laudeck. Вся дорога до Инсбрука как по Швейцарии, так и по Тиролю была поразительно красива. Особенно мне памятен мост через Инн, посреди которого про-

ходила граница между Швейцарией и Австрией. После ночевки в Инсбруке, мы сели в поезд и, проехав через Арлбергский туннель, приехали в Вену.

Однажды здоровье моего брата потребовало его пребывания на Крейцнахских водах. Остановились мы там в самой большой гостинице Oranienhof, в которой во время первой мировой войны помещался штаб имп. Вильгельма. Жили мы не в самой гостинице, а во флигеле, другую половину которого занимало американское семейство, предававшееся усиленному пьянству. В день их национального праздника наши соседи были пьянее обыкновенного и до глубокой ночи пускали ракеты и бросали петарды. Это была моя первая встреча с американцами, и они произвели на меня тогда странное впечатление.

Крейцнах и его окрестности мне очень понравились. Расположенный на берегу реки Нахе, притоке Рейна, он окружен невысокими горами, на которых стоят средневековые замки, еще обитаемые в то время. Особенно понравился мне своей красотой Schloss Rheingrafen-Stein. Осматривать его было нельзя, т. к. в нем в это время жили его владельцы. Разумеется, мы с нашим гувернером ездили в Bingen на Рейне, отстоявший от Крейцнаха в 30-ти километрах по железной дороге. Там мы посетили знаменитую, расположенную на острове башню, называемую Mauseturm, в которой скупой епископ Гатон скопил когда-то большое количество зерна, которым он не захотел поделиться с народом в голодный год и который был съеден мышами, переплывшими Рейн. Переплыв на лодке на противоположный берег Рейна, мы посидели в прибрежном кабачке Rüdesheim, славящимся своим вином. Взяв напрокат велосипеды, мы взобрались затем на гору до статуи Германии (Nieder Wald Denkmal), воздвигнутой в память франко-прусской войны 1870 года, и поднявшись в залу, помещавшуюся в ее голове, мы любовались через глаза статуи видом на Rheingau Assmannshaus и Schloss Johannisberg, именем кн. Меттерниха, славившимся лучшим вином на Рейне. Позднее, когда я читал Тургеневскую «Асю», описываемые там виды и типы жителей казались мне знакомыми. Только то, что Тургенев обошел пешком с рюкзаком на спине, я объездил на велосипеде.

Впечатление, которое я вынес тогда от Германии, было такое милое и уютное. Чистота, порядок, честность и приветливость жителей в рамке мягкой и красивой природы давали покой и уверенность в будущем. Кто бы мог тогда подумать, что сначала под водительством Пруссии, а затем австрийского капрала Гитлера, этот милый, sentimentalный народ захочет покорить всю Европу и совершит неслыханные в истории зверства.

Моей матери надо было посоветоваться с известным профессором, жившим в Гейдельберге и читавшим лекции в его знаменитом университете. Поэтому, покинув Крейцнах, мы поехали в этот город. Для нас мальчиков, было большим удовольствием побывать в этом святилище немецкой науки и увидеть образец немецких студенческих нравов, о которых нам так много рассказывал сопровождавший нас гувернер Ф. Ф. Чернай. Его восторгу не было предела, о таком счастливом случае он не смел и мечтать. Тогда же я научился от него прелестному стихотворению, посвященному Гейдельбергу, но имени автора я, к сожалению, не запомнил:

Alt Heidelberg, Du feine,
Du Stadt an Ehren reich,
Am Neckar und am Maine
Kein andere kommt Dir gleich

Stadt fröhlicher Gesellen
An Weisheit reich und Wein
Klar sind des Stromes Wellen
Blau Auglein blitzen drein

Und wenn aus bündem Süden
Der Frühling kommt ins Land
So weht Dir aus den Blüten
Ein shimmernd Brautgewand.

В Гейдельберге мы провели всего два дня, но пока моя мать посещала врача, мы с гувернером успели осмотреть достопримечательности города: замок, университет, а главное знаменитую Hirschgasse, где помещался дом первой немецкой студенческой корпорации Sachso-Borussen. Там мы видели ее Kneipe и зал, в котором происходили дуэли. На стенах зала висели эспадроны, ленты с цветами корпорации, фотографии славных боев, а пол был весь в красных пятнах — кровавых следах дуэлей.

Надо было видеть, как горели глаза нашего гувернера, когда он смотрел на все эти достопримечательности. Воображаю, какие письма он написал своим коллегам в Курляндию и что он им потом рассказывал.



КУРЛЯНДИЯ

До поступления в гимназию моего старшего брата, в начале мая каждого года, мы покидали Москву на летние месяцы. Сначала мы ездили либо в Курляндию, в замок Блиден, основное Ливенское гнездо, на Рижское взморье, либо в Каменку, Давыдовское имение, Чигиринского уезда, Киевской губернии. Позже, когда здоровье моей матери или кого-нибудь из нас требовало поездки на воды или на климатические курорты, мы часто выезжали за границу. Наконец, значительно позже, мы стали навещать нашего деда и нашу бабушку Давыдовых в их имении Саблы, в Крыму. О Каменке и о Саблах я скажу особо, т. к. эти имения связаны с историей семьи моего отца и сами имеют историческое прошлое. Сначала я опишу жизнь моей Курляндской родни в их замке Блиден.

При этом я должен, однако, сделать одну оговорку. Я не могу ограничить свои курляндские впечатления периодом моего детства и моего юношества. Они были бы не полны и не дали бы целостной картины той среды, которая сыграла большую роль в истории императорской России. В Курляндии я бывал и студентом, и зрелым человеком. Кроме моей родни, я знал много балтийцев, живших в Петербурге, а потому мог составить себе о них полное представление.

Моя Курляндская родня была многочисленна и очень состоятельна. Ей принадлежали большие имения в Курляндии с прекрасными замками и 44.000 десятин на южном течении Волги. Главным гнездом Ливенов был замок Блиден. Имение это было расположено в 45-ти верстах от станции Ауц на железнодорожном пути из Митавы в Либаву. Самый замок, монументальная постройка в стиле русского ампира, стоял среди большого парка, незаметно переходящего в дремучие леса. Па-

радный подъезд, украшенный тяжелыми колоннами, выходил на огромный круглый двор, разделенный пополам проезжей дорогой. Ближняя к дому половина двора представляла собой лужайку с раскинутым по ней кустарником и цветниками. Другая была под прудом, на котором плавала домашняя птица. Прямо против подъезда, за прудом, стояли конюшни и каретные сараи, построенные в том же стиле ампира. Другим своим фасадом замок выходил в парк. На этой стороне была большая терраса, тоже украшенная колоннами. С этой террасы был вид на большую лужайку, окаймленную с одной стороны небольшим озером с живописным на нем островом, соединенным с материком паромом, а с других сторон — лесом. К дому вела широкая тенистая аллея, длиною в две версты.

Посреди замка находилась большая двухсветная зала, по обеим сторонам которой шли многочисленные гостиные и кабинеты, заканчивающиеся на правой стороне длинной столовой, где без труда размещалось до пятидесяти человек. В левом крыле дома помещались личные покои старушки-княгини, Шарлотты Карловны Ливен, и ее младшей незамужней дочери Мари. Во втором этаже замка были расположены комнаты для гостей, гувернанток и экономки.

В конце аллеи, ведущей к дому, находился докторат, т. е. усадьба доктора, состоящая тоже из хороших стильных построек. Хозяйственных построек вблизи не было, они были расположены в шести верстах от него, в Гросс-Блидене, где жили управляющий, главный лесничий и пастор. Там же была и кирха.

Как известно, прибалтийское дворянство, по собственному почину еще до всеобщего освобождения крестьян в 1861 году предложило освободить своих крепостных латышей, но без наделения их землей. Русское правительство согласилось на эту меру, и система сельского хозяйства в этом крае приняла английский фермерский характер. Сами же помещики обрабатывали лишь небольшую часть своей земли. Им поэтому не представлялось необходимости иметь большой инвентарь и сельскохозяйственные постройки.

Большая часть Блиденской земли находилась под лесом, который прекрасно содержался и эксплуатация которого велась по строго намеченному плану. Строго оберегалась в

нем охота, и он изобиловал дичью. Говорили, что Блиденский главный лесничий Буш, страстный, как все балтийские немцы, охотник, нарисовал план леса с указанием на нем мест, в которых преобладали те или другие виды дичи, путем фигурального изображения этих видов.

Фермерами, как во всем прибалтийском крае, были крестьяне-латыши, бывшие крепостные. Все же помещики, управляющие имениями, доктора и пасторы были исключительно немцами. Латыши не говорили ни на одном другом языке, кроме своего, и балтийским немцам поневоле приходилось с детства учиться этому языку, что было нетрудно, т. к. няньки и домашняя прислуга были латышами.

В замке Блиден постоянно, зиму и лето, проживала старшая представительница Ливенского рода, если можно так выразиться, его «матриарх», вдовая княгиня Шарлотта Карловна Ливен. Когда я ее увидел в первый раз она была маленькой полной старушкой с лицом, носившим следы былой красоты. Она была причесана на прямой пробор, волосы закрывали уши, а на голове находился, как тогда полагалось, черный кружевной чепец. Тетя Шарлотта, как мы ее называли, была прелестной, добрейшей старухой и благороднейшим существом. Особенно добра она была к детям, много их баловала, и мы очень ее любили. Другие родственники, жившие в замке, были: незамужняя тетя Мари, ее брат Лев, вдовец, и его малолетняя дочь.

Летом и на Рождество в Блиден съезжалось потомство тети Шарлотты: ее сыновья, замужние дочери с мужьями, внуки, внуки и правнуки с гувернерами и гувернантками. Дом бывал переполнен, и за стол садилось 45-50 человек. Я любил посещать Блиден в это время, т. к. хотя вся эта многочисленная родня и не представляла особого интереса, но зато в этой толпе можно было потеряться и не надо было сидеть со старшими и занимать их скучными разговорами. Можно было совершать прогулки, кататься верхом, а главное — охотиться. Вся мужская половина моей родни любила, как и я, охоту. Облавы при моем участии устраивались почти каждый день, и особенно приятно было то, что они не делались специально для меня.

Бывали и семейные торжества, как-то: дни рождения постоянных обитателей замка и приезжих гостей. Эти праздники

проходили по раз и навсегда установленному церемониалу, весьма стеснительному и утомительному для виновника торжества. В восемь часов утра, специально приглашенный, небольшой бродячий оркестр будил новорожденного так называемым «Ständhen», в программу которого входило несколько немецких песен, из которых я запомнил одну, да и только один куплет:

Mein Herz es ist ein Bienenhaus.
Die Mädchen sind darin die Bienen.
Sie fliegen ein, sie fliegen aus
Grad wie in einem Bienenhäus
In meiner Herzen Kläuse...

Когда новорожденный спустился в столовую к утреннему кофе, он находил свой стол и свой прибор украшенным гирляндами цветов. Но прежде чем приступить к завтраку, он должен был принять поздравления не только от всех своих родственников, но и от старших служащих замка, причем все эти лица подносили ему подарки столь же скромные, сколь и ненужные. Что же касается молодых кузин, то они, кроме подарков, подносили еще и сочиненные ими немецкие стихотворения. Целый день новорожденный был предметом особого внимания. За завтраком и обедом его место за столом оставалось украшенным цветами и за его здоровье пили шампанское (очень сладкое) с провозглашением тостов.

Как я уже сказал, все это было стеснительно и утомительно, а потому, будучи в Блидене, я старательно избегал, даже случайно в разговоре, напоминать о дне моего рождения. Можно себе представить, какова была моя радость, когда в одно из моих посещений, тетя Мари, забыв о дате моего рождения (я родился в сентябре ст. ст.), попросила меня напомнить ей ее. Я не запинаясь ответил, что родился в октябре, и считал, что избавился от опасности. Каково же было мое разочарование, когда утром 29-го сент. я был разбужен звуками «Ständhen». Тетя Мари отыскивала соответствующую запись и наказала меня тем, что усугубила чествование. Даже старушка, жившая на покое в одном из флигелей замка, поднесла мне спеченный ею сладкий пирог с марципаном. Мне пришлось его съесть, а Бог знает, как я не люблю марципана...

Нечего и говорить, что вся моя курляндская родня исповедовала лютеранство и была очень религиозна. Большая

часть семьи по воскресениям отправлялась в кирху, в Гросс-Блиден. Каждое утро, перед кофе, тетя Шарлотта садилась за стоящую в углу большого зала фисгармонию и играла хорал, который все пели хором, стоя вдоль стен зала. То же самое повторялось вечером, но два раза: первый раз, когда уходили спать дети, а второй, когда расходились на покой старшие. Хотя в течение многих лет пелся все тот же хорал каждый день, все же, вероятно ввиду отсутствия у большинства певших слуха, пение было фальшиво. Помню высокий резкий голос русской экономки, Анисьи Степановны, певшей до того фальшиво, что, слушая ее, я ощущал зубную боль. Только одна тетя Мари, обладавшая хорошим голосом и слухом, составляла приятное исключение.

Вспоминая теперь о моей курляндской родне, я понимаю, что ее единство и солидарность держались всецело на «матриархе» тете Шарлотте. Еще при ее жизни видно было, что все братья и сестры находятся в постоянной вражде между собой. Так, жившие в одном доме дядя Лев и тетя Мари никогда друг с другом не разговаривали и, встречаясь по утрам, подавали друг другу руку, глядя в сторону. Как-то раз, проходя мимо кабинета дяди, в котором происходил громкий разговор, я слышал, как дядя кричал тетке Гейкинг, что она «ein blödsinniger Kahlhühn», т. е. идиотская индюшка.

Не знаю, чем объяснялась такая семейная вражда, но помню, что вскоре после смерти тети Шарлотты семья распалась. А когда дядя Лев тоже умер и его дочь вышла замуж, к великому скандалу, за лифляндского дворянина, окна замка Блиден были заколочены, и он был продан.

Одной из особенностей не только моих родственников, но и большей части балтийских дворян, было их физическое уродство и дегенеративность. Объяснялось это тем, что будучи с одной стороны немногочисленны, а с другой — не желая вступать в браки с русскими, они женились только между собой. К тому же лютеранство разрешало браки даже между близкими родственниками, что приводило к кровосмешению и физическому вырождению. Так, тетя Шарлотта приходилась родной племянницей своему покойному мужу, кн. Андрею Карловичу, а ее сын, дядя Лев, любил шутя говорить: «Ich bin mein eigener Grossonkel».

По своим национальным и политическим настроениям, конечно, не обнаруживаемым явно, все эти дворяне были и оставались настоящими немцами, только лояльными русскому Государю. Именно **лояльными**, а не верноподданными. Русскими, эти потомки тевтонских рыцарей, себя не считали, Германия и Германский императорский дом был им значительно ближе, чем российский. Да и вообще они чувствовали себя в России иностранцами: их духовной родиной была Германия. Как я уже говорил, явно и определенно это никогда не выражалось, но иногда случайно проскальзывало. Я помню несколько таких случаев. Как-то одни из моих многочисленных кузин побывали со своими родителями в Германии и рассказывали при мне о своем путешествии. Надо было слышать, с каким восторгом они повествовали о выпавшем на их долю счастье. Они с упоением описывали наружность и манеры кронпринца Вильгельма и принца Эйтель-Фридриха. Когда же я спросил сколько дочерей у нашего Государя и как их зовут — они не смогли мне ответить. А когда в разговоре, при дочери дяди Льва, я упомянул о Казани, она просто не знала, что это такое. Наконец, когда однажды мне пришлось встретить в Блидене новый год, я ясно почувствовал, насколько моя родня не считала себя русской. По заведенному обычаю, за пять минут до полуночи тетя Шарлотта села за фисгармонию в большом зале и мы все пропели хорал, после чего двери растворились и лакеи внесли на подносах бокалы с шампанским. Когда часы пробили 12, старший из дядей подошел ко мне, хотя и младшему, но единственному русскому из мужчин, и, чокаясь, сказал мне: «Auf Wohl unseren Kaisers!» Не надо забывать, что все балтийские немцы учились в гимназиях, в которых преподавание велось на немецком языке и русскому языку вообще не учили, а университетский курс они проходили в Дерптском университете (впоследствии Юрьевском), где профессорами были немцы. Никто из балтийцев, мужчин и женщин, по-русски не говорил, и, кроме немецкого, они знали лишь латышский и немного французский.

Согласно немецкой традиции, они глубоко презирали русских и все русское, о себе же были очень высокого мнения. Все у них было лучше, особенно сельское хозяйство. Когда я как-то позволил себе заметить, что на Украине мы ведем

очень высококультурное интенсивное хозяйство и что оно выше ихнего, то мое заявление вызвало взрыв негодования. Наконец, когда бывало, что кто-нибудь из молодых людей посылался для образования в Петербург, что было нарушением традиций, то находили, что он «обрусел» (т. е. «ganz verrückt»), причем говорили это с сожалением и порицанием.

Принадлежа к знати, они, конечно, были монархистами, а по своей тевтонской традиции — истыми феодалами. К простому народу они относились свысока и презрительно. Обычай целования рук господам, как женщинам, так и мужчинам, сохранился в Прибалтике до революции тысяча девятьсот пятого года.

Однако, значительно позже, когда некоторые семьи поняли неправильность таких настроений и стали посылать своих сыновей в Петербургский и Московский университеты, то балтийские студенты понимали преимущества русской культуры и русского быта через короткое время и скоро начинали говорить по-русски и ассимилировались. Эти молодые люди неохотно возвращались жить в свои замки и стремились устроиться в Петербурге на государственную службу. Среди них у меня было много родственников и друзей. Большинство из них были благородными, честными людьми и прекрасными товарищами. Поживя в России и полюбив ее, они из «лояльных» делались верноподданными. Служили они в гвардейских полках и в гражданском ведомстве и, благодаря указанным качествам, часто делали хорошую карьеру. Но все же происхождение сказывалось в них и по-настоящему понять Россию и русский народ они никогда не могли — попадая в окружение трона, они не оказывали хорошего влияния.



ГИМНАЗИЯ

*Мы все учились понемногу,
Чему-нибудь и как-нибудь...*

А. Пушкин

*Die Jugend soll nicht gelernt,
Sondern angeregt werden.*

Heinrich Heine

В сентябре 1892 года я выдержал вступительный экзамен во второй класс Московской Второй Гимназии. Так как я был примерным мальчиком и, благодаря хорошим учителям, хорошо подготовлен, то экзамены прошли для меня вполне благополучно.

Вторая Гимназия помещалась на углу Елоховской улицы и Разгуляя, в бывшем дворце Петровского сотрудника Брюсса, в десяти минутах ходьбы от Елисаветинского Института. Здание, хотя и старое, было большим и вместительным. От Брюсса в нем ничего не сохранилось, кроме солнечных часов на внешней стене, выходившей на Разгуляй. В его трех этажах свободно размещались светлые, поместительные классы, залы, библиотека-приемная, физический кабинет, дортуары пансионеров, их столовая и церковь. Никак нельзя было пожаловаться на отсутствие гигиены, все было чисто, и, как говорили мне мои товарищи, жившие при гимназии, кормили их просто и хорошо. При гимназии имелся и лазарет. Во дворе помещались флигеля, в которых жили директор, инспектор, служащие и находилась канцелярия. За двором был большой сад,

где летом мы проводили время «большой перемены». Прямо из раздевальной вела наверх «парадная лестница», по которой могли подниматься только преподаватели, посетители и, ввиду особой привилегии, ученики старшего, 8-го класса. Лестница эта выходила к двери, за которой помещалась приемная — библиотека, одна из лучших в Москве, как говорил мне о ней дядя Андрей, бывший когда-то Московским губернатором и пользовавшийся ею для своих научных работ. Нам, ученикам, она не была доступна. Из библиотеки дверь вела в актовый зал и восьмой класс. У старшего класса была еще одна привилегия: во время «большой перемены» он мог оставаться в своем помещении и пользоваться стоящим в нем фортепиано. В библиотеку выходил коридор, вдоль которого были размещены классы. В третьем этаже находились дортуары пансионеров, четыре класса и церковь. За восемь лет моего пребывания в гимназии я сидел почти во всех классных комнатах.

Ко времени моего поступления в гимназию занятия уже начались. В класс меня привел инспектор и представил преподавателю и моим новым товарищам. Место мое на парте было определено заранее. Моя мать просила начальство посадить меня рядом с благональным мальчиком. Таковым оказался Колоколов, племянник временно исполнявшего обязанности почетного опекуна в Елисаветинском Институте, Болдырева. Колоколов действительно хорошо учился и был милым мальчиком, скромным, чистым, но в нем была какая-то тихость не по летам и задумчивость. Особой дружбы между нами, вероятно, вследствие его замкнутости, не установилось, но зато он не «просвещал» меня и не учил никаким пакостям. Этим занялись с большим успехом другие товарищи; для этого совсем не надо было сидеть со мной на одной скамейке.

Как полагалось, в первую же перемену класс приступил к «крещенью» новичка, что означало его избиение, причем права гражданства приобретались новичком, если он мужественно переносил побои, не плакал и не жаловался начальству. К моему счастью, мой старший брат, учившийся уже два года в той же гимназии, предупредил меня о том, что меня ожидало, а, кроме того, оказалось, что я гораздо больше и сильнее своих товарищей. Как только я заметил, что произойдет

нападение, я быстро отступил в угол класса и этим обезопасил свой тыл. Когда же главные «заводилы» приблизились ко мне, чтобы сделать мне «подножку» и повалить, я, не ожидая их маневра, сразу перешел в наступление и ударами кулака сбил с ног передних. В этот момент в класс вбежал привлеченный шумом класный надзиратель и прекратил сражение. К моему удивлению, в спедующую перемену нападение не возобновилось и оказалось, что я не только был признан равноправным членом класса, но и товарищем, достойным особого уважения ввиду моего превосходства в силе и мужественной обороны. Товарищи мои не знали, что ко времени моего поступления у меня уже был боевой опыт. Недаром же нас дома было три брата и не напрасно мы упражнялись в драках с нашими друзьями, сыновьями институтских служащих. Этот случай создал мне особый престиж, который я сохранил до конца моего пребывания в гимназии.

Преподаватели во втором классе ничем особенным не отличались, и я мало их помню. Запомнились мне только трое из них, по разным причинам. Первым из них был наш директор Сергей Викентьевич Гулевич. Он преподавал нам латинский язык. Впоследствии я понял, что он был культурный, образованный человек. Вначале же я проникся к нему уважением за его справедливую строгость, спокойствие и ласковое отношение к нам, детям-второкласникам. Преподавателем он был превосходным и умел вызывать у нас интерес даже к такой сухой материи, как первоначальная латинская грамматика. В старших классах он иногда заменял заболевшего учителя, и было интересно переводить, под его руководством, римских классиков.

Одним из двух других памятных мне учителей второго класса был учитель рисования, который никак не мог понять, что его предмет является не обыкновенной учебой, а искусством, для изучения которого требуется, кроме прилежания, еще и способность. Т. к. у меня этой способности никогда не было, то я часто получал двойки по рисованию, что очень огорчало мою мать.

Третий памятный мне учитель был совершенно особым явлением, к счастью, редко встречавшимся даже в те далекие времена. Не помню его фамилии, но облик его до сих пор

стоит перед моими глазами. Глубокий старик, худой, высокого роста, с глухим голосом, он наводил панику на учеников. Преподавал он чистописание, и когда кто-нибудь из нас не удовлетворял его требований, он не только бил провинившегося линейкой по пальцам, но и ругался тем знаменитым русским ругательством, которое я никак не могу привести на этих страницах. Сорвался он на мне. Когда он вздумал выругать таким образом и меня и взялся было за свою линейку, я, двенадцатилетний мальчик, нашел в себе мужество сказать ему, что я не допускаю такого обращения с собой и что если он не согласен со мной, то я попрошу директора сказать мне, правли я. Старик, вероятно, понял, что он рискует своим местом, промолчал и больше не прибегал к своим приемам обучения, по крайней мере в нашем классе. Будучи уже в седьмом классе, мы с братом и его репетитором совершали путешествие по Южному Берегу Крыма. На катере, перевозившим нас из Ялты в Гурзуф мы познакомились со священником, в котором я скоро признал архирея. Из разговора выяснилось, что в свое время этот архирей учился в той же Второй Московской Гимназии, что и мы с братом. Начались воспоминания, и, каково же было мое удивление, когда оказалось, что преподавателем чистописания у нашего архирея был тот же ругатель, что и у нас.

Пребывание мое во втором классе ознаменовалось двумя происшествиями, из которых первое было трагическим. В воскресенье утром, в одном из верхних пустых классов, в углу под иконой, был найден мертвым мой сосед по парте, Колоколов. Около него стояла на половину пустая бутылка нашатырного спирта... Он был пансионером и, вероятно, когда все ушли в церковь на обедню, незаметно пробрался в пустой класс и покончил с собой. Что побудило его к этому, осталось для нас навсегда неизвестным.

Вторым происшествием было то, что на масленной неделе я заболел сильной формой крупозного воспаления легких, которое повторилось три раза подряд. Спас мою жизнь наш домашний врач Габричевский, но когда на самую Пасху у меня начался третий кризис, врач предупредил мою мать, что у него осталось мало надежды на благополучный исход. Но я все же поправился, и мать настаивала, чтобы я держал переход-

ные экзамены в третий класс. Этому совершенно справедливо воспротивилось гимназическое начальство, приводя, однако, невероятный аргумент. Оно находило, что, оставшись на второй год, я получу возможность усовершенствоваться во французском языке. Надо сказать, что в классе я был единственным учеником, свободно говорящим и пишущим по-французски. Мать взяла меня из гимназии, и осенью того же года я вновь поступил в нее, уже в третий класс.

Казалось, что все вышло удачно и что я смогу успешно проходить гимназический курс. Но тут я потерпел свою первую жизненную неудачу. Мне исполнилось 13 лет, и для меня «пришла пора любви и грусти нежной». Как я уже сказал раньше, приход этой поры сопровождался у меня большими психологическими потрясениями. Я совершенно изменился и из ребенка сделался юношей с бурным темпераментом и неукротимым характером. Учился я очень плохо, и дома жизнь для меня стала адом. Каждый день на меня сыпались упреки, и я больше ни от кого не слышал ласкового слова. Я совершенно ушел в себя и научился скрывать свои мысли и чувства. Если раньше я обожал свою мать, то теперь начал ее избегать. Не будучи в состоянии просто учиться, я стал изучать технику учения в гимназии, т. е. методы, по которым можно было с наименьшей затратой энергии переходить из класса в класс и, наконец, окончить курс. Пусть не подумают, что я легко переживал свою первую жизненную неудачу. В душе я прекрасно сознавал всю неправильность своего положения, но не мог обрести того морального равновесия, которое легко вывело бы меня из него. Хуже всего было то, что мать, отдавая меня в гимназию, сказала: «Ты должен окончить гимназию. Как ты это сделаешь — это твое дело, я в это вмешиваться не буду, но и помогать не стану». Я был очень горд этими словами матери, и тем паче мое самолюбие страдало от первой неудачи. Вот тут-то и сказался недостаток системы воспитания «в страхе Божиим». В это тяжелое время никто не протянул мне руку помощи и не заглянул в мою душу, а в ней царил тьма... Нечего и говорить, что я остался на второй год в третьем классе.

Спасла меня моя здоровая натура. Первые бури «любви и страсти нежной» прошли, душевные силы помогли мне обрес-

ти моральное равновесие, а приобретенное полное знакомство с техникой учения в гимназии обеспечило мне спокойное прохождение ее курса. Не прошло и трех лет, как я уже мог ответить матери на ее вопрос, почему в одну из четвертей я съехал с пятого места в классе на седьмое: «Не все ли тебе равно, ведь ты обещала мне не вмешиваться в мое учение». А когда моему брату, учившемуся трудно и плохо, взяли на лето репетитора и мать хотела, чтобы он занимался и со мной, я запротестовал, напомнив ей, что она обещала не помогать мне в учении.

Техника учения в гимназии заключалась в следующем: прежде всего надо было знать, что в гимназии существуют два враждебных лагеря: начальство, т. е. дирекция, преподаватели и классные надзиратели, с одной стороны, и ученики — с другой. Первый лагерь обладал несравненно большей силой, чем второй. На его стороне была полнота власти, возможность по своему усмотрению безапелляционно осудить ученика, причинить ему всяческие неприятности и, наконец, даже уничтожить его путем исключения из гимназии. Положение этого лагеря усиливалось еще и тем, что, во-первых, существовала презумпция его абсолютной правоты и справедливости, — во-вторых, он имел верных союзников в лице родителей. Последнее обстоятельство в случаях воспитания «в страхе Божиим» было особенно могущественно, т. к. при нем твердо устанавливалось правило, что старшие всегда правы и несправедливыми быть не могут.

Что же мог противопоставить такой силе второй лагерь? Прежде всего товарищескую солидарность. Каждый ученик, придерживавшийся этой солидарности, знал, что в трудную минуту товарищи не только его не выдадут, но и всячески ему помогут. И напротив, ученик, придерживающийся начальнического лагеря, старающийся ему угодить, иногда даже путем предательства, несмотря на кажущиеся преимущества дружбы с сильными, был обречен на печальную участь. Само начальство его презирало, а товарищи не пропускали случая, чтобы наказать его своим судом. В трудную минуту, которая могла настичь каждого, он был одинок, т. к. если товарищи никогда не подводили его перед начальством, то они ничего не делали, чтобы его выручить.

Опираясь на эту товарищескую солидарность, каждый ученик мог быть уверенным, что все изощрения и все хитрости, к которым он прибегнет для самозащиты, будут поддержаны его товарищами даже без его просьбы.

В мое время был особый способ не слишком утруждать себя науками. Дело в том, что переходные экзамены не были обязательны для всех классов. Только в тех классах, окончание которых давало особые права по исполнению воинской повинности, как, например, шестой класс, экзамены были обязательны, а остальных учеников переводили по средним годовым отметкам. Для этого надо было иметь не менее четырех баллов по главным предметам. Понятно, что в последних классах надо было учиться в течение всего года, а в первых — только перед экзаменами. Что же касается самих экзаменов, то подготовляться надо было только к устным, т. к. письменную работу можно было всегда «позаимствовать» у более сильного соседа.

Долгое время ученический лагерь пользовался только указанной стратегией, но когда русская учащая молодежь начала интересоваться политикой и прибегать к забастовкам и насилиям над начальством, новая стратегия скоро перебралась из университетов в гимназии. Не то, чтобы гимназисты стали революционерами, политика продолжала оставаться им чуждой, но они поняли, что организованной массе можно не только обороняться хитростью, но и предпринимать демонстративные наступательные действия. Таких действий было два: забастовка и оскорбление действием нежелательных преподавателей. Первые состояли обыкновенно в том, что либо весь класс в определенный день отказывался отвечать данному учителю, либо не писал классное ехтемпогае, или сочинение. Этот способ был для учеников менее опасен, нельзя же было исключить весь класс! В таких случаях педагогический совет назначал форму наказания для всех и тем самым безразличную индивидуально. Для учителя же забастовка его учеников была фатальной: он терял свое место. В результате добивались своего сравнительно недорогой ценой, т. к. наказание «соброе» переносилось легко и скоро забывалось; оставался лишь ореол пострадавших за правду. Второй способ был одинаково катастрофичен и для учителя, и для ученика, нанесшего пер-

вому оскорбление действием. Обоих удаляли из гимназии. Но для ученика последствия были легче, чем для учителя, т. к. для приведения в исполнение приговора класса выбирался ученик, все равно подлежащий исключению в силу суммы совершенных им правонарушений и по невозможности для него продолжать пребывание в гимназии из-за достижения им предельного возраста. Таких учеников в каждом классе было несколько, по преимуществу из пансионеров. Эти, обреченные на получение «волчьего паспорта», т. е. свидетельства, по которому они не могли, будучи исключены, поступить в какое-нибудь другое казенное учебное заведение, являли собой ужасное зрелище. Нечесанные, немые, неряшливо одетые, курившие и пившие водку даже во время уроков, они были кандидатами «дна». На одного из них падал жребий привести в исполнение приговор. Экзекуция производилась так: ученик ждал, когда приговоренный учитель вызовет его для ответа. Урока он, конечно, не знал, а на замечание учителя возражал резко и провокационно. Учитель выходил из себя и начинал грубо его обрывать. Тогда ученик давал ему пощечину. Никто из класса не поднимался на защиту учителя, и ему оставалось только уйти и донести директору о происшедшем. Являлся инспектор в сопровождении классного надзирателя, и виновный отправлялся в карцер, откуда он выходил только для того, чтобы навсегда покинуть гимназию. Начальство прекрасно знало, что экзекуция была произведена по постановлению всего класса, но, не имея тому доказательств, не могло применить к классу дисциплинарных мер. Как и при первом случае, учителя мы больше не видели.

В нашей гимназии я помню три случая активного выступления учеников и должен сказать, что во всех трех случаях ученики были правы. Два из этих случаев произошли в моем классе, и я в них участвовал.

Когда кто-нибудь из постоянных учителей заболел продолжительной болезнью, из учебного округа присылали временного заместителя. Обыкновенно это были молодые люди без всякого педагогического опыта, считавшие себя, однако, большими знатоками своего дела. Нашему классу пришлось иметь дело с двумя такими дебютантами. Первый из них, вероятно, был просто ненормальным. Объясняя урок, он делал же-

сты, вызывавшие у нас бурный смех, а когда он задавал нам для перевода на латинский язык русские фразы, то они были лишены всякого смысла. Помню одну такую фразу: «Когда неприятельские солдаты увидели, что они умерли, полководец занял город». Не помню, посредством какой акции мы избавились от этого феномена, но, вероятно, она не была серьезной, т. к. никакой кары за нее мы не понесли. А, может быть, начальство было согласно с нами в оценке этого преподавателя и решило не раздувать инцидента. Другой случай был серьезнее. Молодой учитель решил, что с нами надо поступать строго, но забыл, что строгость должна сопровождаться справедливостью. Думаю, что, если бы на его месте был старый опытный преподаватель, мы не решились бы на активное выступление, но к этому дебютанту у нас не было никакого уважения. Было решено устроить забастовку, в форме отказа писать классное extemporale. Еще за несколько минут до урока мы, первая пятерка класса, на особом совещании постановили принять участие в забастовке. Я подчеркнул, что мы не можем нарушить товарищескую солидарность, и, кроме того, указал, что наше участие придаст особую силу нашему выступлению. Все произошло, как мы решили, никто не оказался штрейкбрехером. Учителя мы больше не увидели, а педагогический совет постановил применить к нам следующие наказания: 1) Поставить всем за ненаписанную работу единицу. 2) Вызвать весь класс на воскресенье для написания новой работы. 3) Сбавить всем один балл за поведение.

Из всех трех видов наказания неприятным было только последнее. Дело в том, что событие произошло, когда мы были в седьмом классе, а гимназисты, не имевшие при окончании гимназии полного балла за поведение, подпадали под надзор полиции и рисковали не быть принятыми в университет. Дело, конечно, кончилось ничем, — воскресную работу мы написали, и я получил за нее 4, единицы наш выздоровевший учитель не принял во внимание при выводе средней отметки за четверть, а балл за поведение был восстановлен еще до конца учебного года. Большую роль сыграло в столь мягком отношении к нам начальства то, что оно было очень либерально и сознавало, что мы были правы. Такое заключение я вывожу из разговора, который имел со мной хорошо знавший меня и

мою мать преподаватель С. А. Иванцов. Он позвал меня в приемную и спросил меня, как я, юноша, принадлежащий к такой семье, мог принять участие в забастовке. Я ответил ему вопросом: что сделал бы он, будучи на моем месте? Он молча повернулся и ушел.

Третий случай произошел не в моем классе и был образчиком второго способа воздействия и сопровождался рукоприкладством. Физику в нашей гимназии преподавал Федор Федорович Хандриков. Это был уже пожилой человек, отличавшийся дурным характером, сухой, придирчивый, бессердечный и к тому же несправедливый. Его преподавание заключалось в том, что мы должны были заучивать почти наизусть знаменитый учебник Краевича, тот самый, о котором один университетский профессор говорил молодым студентам: «Вы, конечно, учились в гимназии по Краевичу, так вот мой первый совет: забудьте его и начнем все сначала». Вся гимназия ненавидела Хандрикова, а начальство почему-то не решалось с ним расстаться. Наконец, терпение учеников не выдержало и один из классов постановил его экзекутировать. В классе был ученик 20-ти лет, не имевший больше права оставаться на второй год и не питавший надежды выдержать экзамены. Роль палача выпала на него. В один из следующих уроков этот ученик был вызван Хандриковым и, конечно, урока не знал. Хандриков стал издеваться над ним в обидной форме. Ученик размахнулся и ударил его по лицу. Остальное ясно.

Мое положение в гимназии было особое. Муж моей тети Кати, Николай Павлович Боголепов, когда я был в четвертом классе, был назначен Попечителем Московского Учебного Округа, а ко времени окончания мною гимназии был уже Министром Народного Просвещения. Гимназическое начальство знало мое родство с Н. П. Боголеповым и поневоле меня остерегалось. Мое же положение было деликатное, товарищи мои тоже знали о моем дяде — министре и могли заподозрить меня в использовании для себя этих связей. Приходилось проявлять много такта и вселять в товарищах уверенность, что если это случится, то это будет сделано только в интересах всего класса, а не меня одного. Такой случай представился, когда я был в пятом классе, а Боголепов был Попечителем

Округа. Дело было перед масленицей, которая праздновалась у нас три дня. Мы узнали, что среди пансионеров началась эпидемия дифтерита. Я незамедлил сообщить об этом моей тете, которая была начальницей Елисаветинского института и обязана была принимать меры к тому, чтобы никакая эпидемия не заносилась в институт. Тетя сейчас же позвонила Боголепову, и тот сказал ей, что гимназия будет распущена на другой день в 12 часов, т. е. за три дня до обычного срока. Придя на следующий день в класс, я рассказал об этом моим товарищам, которые, в свою очередь, не называя источника, сообщили об этом классному надзирателю, а тот — начальству. Т. к. последнее об этом еще ничего не знало, то нам было сказано, что мы выдумали глупость. Однако в 12 часов в класс вошел инспектор и заявил, что мы можем идти домой и вернуться только после праздников. Начальство, конечно, догадалось, чьих рук было это дело, а товарищи благодарили меня за мою изобретательность.

Мое особое положение не давало мне поблажек со стороны начальства, но я мог быть уверен, что я больше не останусь на второй год в классе и что гимназию я кончу в положенный срок, хотя бы потому, что начальству очень хотелось от меня отделаться.

Среди наших преподавателей были и плохие, и хорошие. Преобладали средние. Да это и понятно. В то время Ведомство Народного Просвещения было захудалым и люди культурные и способные были в нем редким исключением. Труд оплачивался плохо, а карьеру сделать было трудно. В лучшем случае преподаватель мог достигнуть места инспектора, а затем директора гимназии. Но преподавателей было много, а таких мест сравнительно мало. К тому же для продвижения надо было иметь хорошую аттестацию не только по профессиональной части, но и по политической. Труд был тяжелый и неблагодарный. Нелегко было иметь дело с 25-40 мальчишками, только и ищущими, как бы поиздеваться и напакостить. Проявить же свою талантливость и заслужить уважение и любовь учеников тоже было нелегко. Этому мешала, прежде всего, система обучения, принятая в то время в казенных учебных заведениях России. Вопреки мнению Гейне, нас учили, но интереса к учению в нас не возбуждали. Учителя должны

были строго придерживаться учебной программы и ничего для общего нашего развития предпринимать не могли. В результате получалось, что хороший ученик твердо знал латинскую грамматику, без ошибок писал ехтемпрогае, хорошо переводил Овидия или Горация, но не имел понятия о культуре древнего Рима, представителями которой являлись эти поэты, не понимал литературной ценности и красоты их творений. В этом случае изучение истории не могло помочь ученику, т. к. мы ей учились по единственному, разрешенному министерством, учебнику Иловайского, столь прославленному своей бездарностью... Даже сейчас, после стольких лет, мне помнятся отдельные фразы из этого учебника: «История мидян темна и непонятна...» или «Алкивиад был богат и знатен, природа щедро одарила его, но когда в Афинах были разбиты стоявшие на углах улиц гермы, граждане единодушно обвинили его». Таких перлов было много. В новой русской истории особенно сказалась рука цензуры. По Иловайскому выходило, что Павел I и Александр II умерли естественной смертью. О «днях Александра прекрасного начала» не было никакого упоминания. Наш добрейший учитель истории, Михаил Иванович Владиславлев, может быть, в молодости, в бытность свою студентом, живо интересовался своим предметом, но ко времени, когда я у него учился, он покорился преподаваемой начальством линии и вяло рассказывал нам, что было написано у Иловайского. Вызывал он нас раз в четверть и, хотя мы ничего не знали, ставил нам пятерки. Зато мы никогда не огорчали его и жили с ним мирно. Даже его наружность, весьма не привлекательная, не подвергалась нашим насмешкам. Он был небольшого роста, на коротких тупых ножках, какой-то мясисто-пухлый, с головой, заросшей волосами, с большим носом, близорукий.

Другим физическим уродом был преподаватель латинского языка, Александр Николаевич Быков. Ростом еще меньше, чем Владиславлев, худенький, с рыжей бородкой и гладко зачесанными назад волосами, с огромным носом, украшенным очками, он вызывал представление о маленьком Мефистофеле. Ученики его считали «зверем», и он действительно был безжалостно строг, но, по моему мнению, справедлив. Мне он верил и вызывал редко, а так как я у него хорошо учился, то

он ставил мне хорошие отметки. Однажды, вероятно, для проверки он вызвал меня не в очередь, когда я урока не знал. Он молча поставил мне единицу и в течение месяца вызывал меня каждый день и каждый раз ставил пятерку. В конце месяца он зачеркнул единицу. И вдруг этот «зверь» совершенно переменялся: вся его строгость исчезла, он стал сентиментально ласков с учениками и всем за устные ответы и письменные работы начал ставить пятерки. Мы сначала недоумевали, но скоро начали понимать. Как-то, слушая ответ ученика, он закрыл лицо руками и со страданием сказал: «Подождите, я ничего не понимаю!...», — а когда пришел в себя, то быстро вышел из класса. Но когда однажды, придя на урок, он достал пачку рекламных карточек какой-то фирмы и, расхаживая между партами, стал нам эти карточки раздавать, мы поняли, что наш «зверь» Быков окончательно сошел с ума. Надо признать, что тут класс проявил много человечности, мы стали всячески беречь нашего больного учителя. Во время его уроков можно было слышать, как пролетала муха. На все его странности — а их было много — никто не реагировал. Все учили его уроки и все были достойны его пятерок. Такое положение длилось два месяца, и мы удивлялись, как это начальство ничего не замечает. Наконец, Александр Николаевич не пришел — его отвезли в сумасшедший дом.

Математики я никогда не любил, но то, что нам преподавали в гимназии, не трудно было усвоить. Кроме арифметики, мы проходили алгебру (до неопределенных уравнений) и тригонометрию. Преподавателем математики у нас был Николай Казимирович Квятковский, чистенький, аккуратный старичок. Он, безусловно, хорошо знал свой предмет и отлично нам его объяснял. Я всегда любовался, с каким мастерством он рисовал мелом на доске геометрические фигуры. Меня он за что-то очень любил, хотя я у него учился отвратительно. В то время в гимназиях существовали классные наставники, в обязанность которых входило воспитание учеников, что было совершенно неисполнимо. Работа этих «воспитателей» ограничивалась тем, что они еженедельно выписывали в «бальники», т. е. в книжки, которые ученики давали на подпись своим родителям, полученные ими за неделю отметки. В те же книжки заносились и успехи учеников по четвертям года. К этим клас-

сным наставникам ученики могли обращаться с жалобами на несправедливости, с различными просьбами и за разъяснениями. Нашим классным наставником был Н. К. Квятковский. Т. к. он любил поговорить, то мы нашли способ избегать ответов на уроках. Первую половину урочного времени он посвящал объяснениям урока, задаваемого на следующий раз, а вторую — вызову учеников. Когда никто не хотел отвечать, на меня, как на его любимца, возлагалась обязанность спрашивать какое-нибудь разъяснение по существу нашего положения как гимназистов высших классов и связанных с ним прав. Ответ занимал вторую половину урока.

Закон Божий преподавал нам отец Рождественский, которого мы прозвали Иудой Искаротом. Он был большого роста, имел рыжие волосы и был лукав. Я знал про него тайну, которую, однако, никогда не сообщил своим товарищам. В бытность свою священником в Елисаветинском институте он растратил церковные суммы и был за это уволен. Тетя Лина пожалела его и устроила во Вторую Гимназию преподавателем. В классе моего старшего брата с ним произошел забавный инцидент... Один из учеников, не знаю по какому поводу, сказал ему, что не верит в Бога. И он поставил ему единицу.

Только о двух преподавателях у меня сохранились теплые воспоминания. Один из них был Сергей Александрович Иванов, учивший меня дома, еще до моего поступления в гимназию, а затем уже в гимназии, латинскому языку. Другой был Сергей Николаевич Смирнов, учитель словесности в старших классах гимназии. Оба были людьми исключительными по уму, образованию и педагогическому таланту. Может быть, благодаря им и директору С. В. Гулевичу наша гимназия имела репутацию либеральной и считалась в округе «красной». Да они и были либералами, но никогда на своих уроках не занимались пропагандой. Их либерализм сказывался, главным образом, в обращении с нами. От них мы никогда не слышали обращения на «ты» и, подавно, грубости, криков или ругательств. Они уважали в нас человеческое достоинство, и мы платили им за это не только ответным глубоким уважением, но и любовью. Казенная линия преподавания не позволяла им раскрывать перед нами весь интерес и всю красоту предмета, но им вполне удавалось возбудить в нас интерес к нему и

оправдать слова Гейне. Русская литература в гимназии того времени останавливалась на Тургеневе. Достоевского и Толстого как будто никогда не существовало. Очевидно, даже и эти писатели считались начальством неблагонадежными. Само собой разумеется, что о Белинском говорить не разрешалось. С. Н. Смирнов все же находил способ обойти это препятствие. О Достоевском и Толстом он говорил нам как бы мимоходом, а Белинского цитировал, не называя его имени. Интересен был взгляд С. Н. Смирнова на ученические сочинения. Его целью было научить нас писать просто, ясно и правдиво. Всякую ходульность, пафос и неумелый вымысел он всячески старался искоренить. Для него выше всего стояли простота и художественная правда. Для того из нас, кто понимал его, писание сочинений было удовольствием и давалось легко. Помню, как в восьмом классе он задал нам сочинение на тему: «В какие игры я играл в детстве?» Я потратил на эту работу не более двух часов и описал свои детские игры так, как они действительно происходили. Я сделал это так просто, что боялся упрека в наивности, тем более, что товарищи хвастались передо мною своими фантастическими измышлениями на заданную тему. Когда С. Н. Смирнов раздавал нам уже просмотренные им тетради, то одну из них отложил в сторону, и, окончив раздачу, сказал: «А теперь я прочту вам сочинение, которое покажет вам, как надо было подойти к теме» — и прочел мое сочинение. Оказалось, что наивность, пугавшая меня, и была той художественной правдой, которую он ждал от нас.

Сергей Александрович Иванцов был сыном известного в Москве ученого протоиерея Иванцова — Платонова. Вторая фамилия была как бы ученой степенью, свидетельствовавшей о том, что данный студент Духовной Академии удостоился за свою работу особой премии митрополита Платона. Все сыновья этого протоиерея, из которых я знал двоих, Сергея и Николая, были талантливыми людьми. Особенно отличался Сергей. До сих пор не понимаю, почему он не пошел по научной карьере или не стал общественным деятелем. Умный, культурный, образованный и обаятельный, он занимал в Москве в прогрессивных кругах хорошее положение и пользовался в них известностью. Приятно в нем было и то, что он не серьез-

ничал и не был педантом. Напротив, в минуты досуга он любил выпить рюмку водки, поиграть в винт, поохотиться. Он был «человечен», и мы все любили его. Преподаватель, особенно в старших классах, он был превосходный. До сих пор помню, с каким интересом мы переводили с ним Овидия и Горация и как, благодаря ему, научились понимать красоту этих поэтов. Он был поклонником Овидия, а мне больше нравился Гораций, и мы иногда, даже во время урока, спорили с ним о достоинствах того и другого.

Отдавая своих сыновей в гимназию, родители, придерживавшиеся системы воспитания «в страхе Божиим», боялись вредного влияния на них товарищеской среды, особенно, если гимназия была по своему составу демократической. Это было большим заблуждением. Каков бы ни был состав учеников, товарищеская среда была лучшим воспитателем. Так, по крайней мере, было в России времен моего детства и юношества. Детям и юношам, как я уже сказал выше, говоря о моем воспитании, присуще чувство справедливости и честности, и в коллективе эти чувства как-то особенно экзальтируются. В глазах каждого ребенка и юноши товарищеский коллектив был непререкаемым арбитром чести и справедливости. Лишь в редких случаях он не оправдывал своего престижа. И чем демократичнее была среда, тем острее в ней проявлялись эти чувства и тем строже был ее суд. Последнее было естественно и логично, потому что мальчики, принадлежавшие к семьям, испытывавшим на себе социальные приниженность и несправедливость, болезненно относились к этим вопросам. Суд товарищей принимался беспрекословно еще и потому, что он был судом равных, а не начальства, и основывался не на каких-то предвзятых принципах, а на убеждениях и взглядах общих среде. К тому же этот суд был милостивый, и если виновный исправлялся, то его вина скоро забывалась, и он опять получал равновесие.

Восьмилетнее пребывание в гимназии, в товарищеской среде, было для меня очень ценным и полезным. Правда, мне повезло: ведущая головка класса состояла из очень хороших элементов. Я пришел в эту среду из чуждого ей, высшего круга общества, в котором мать имела очень влиятельные отношения. В понятии моих товарищей это было минусом для

меня, и мне надо было быть сугубо осторожным. К моему счастью, на этой почве у меня ни разу не было недоразумений, может быть, потому, что свое особое положение я никогда не использовал в свою пользу, а лишь в пользу всего класса. Я до сих пор с благодарностью вспоминаю воспитательное влияние моих товарищей. Они дали мне то, чего не могли дать мои гувернеры.

Спокойствие эпохи царствования императора Александра III сказалось и в настроении гимназистов. О политике у нас не только не говорили, но о ней у нас никто и не думал. Этим устранялась возможная причина разногласий. Не было у нас и антисемитизма, о нем тоже ни у кого не было и мысли. В нашем классе было два еврея: один — Шварцман, сын частного пристава, и другой — Гольман, мой милый сосед по парте. Просидев с ним семь лет на одной скамейке, я никогда не думал ни о его происхождении, ни о том, чем занимался его отец.

Багаж знаний, вынесенный мной из гимназии, не был тяжел. Мы действительно учились «чему-нибудь и как-нибудь», но лично я вынес из нее мой первый жизненный опыт и встречу с чуждой мне средой, что очень облегчило мне жизнь в эпоху великих потрясений и переоценок...



ХАМОВНИКИ

Мне шестнадцать лет, моему старшему брату на полтора года больше. Живем мы в Москве, на Гороховом поле и учимся во Второй Московской Гимназии — я в шестом классе, брат в седьмом. Все наши сверстники живут на другом конце города, либо вблизи Пречистенки, либо в Арбатских переулках. Добраться до них нелегко. Если мать не дает нам своего экипажа, надо плестись больше часа на «ваньке», т. е. либо мерзнуть в холодную московскую зиму, либо трястись на бренчащих дрожках по булыжной мостовой. Но желание провести несколько часов в среде своих приятелей позволяет нам легко преодолевать эти пустышные препятствия. Мы еще не танцуем на детских балах, или, как их называют, «невыезжающих», — это удовольствие ждет нас на следующий год, но мы уже знаем наших будущих дам, прелестных девушек немногим моложе нас. Однако особое удовольствие для нас составляют собрания в своей «мужской» компании, но это возможно лишь тогда, когда родители какого-нибудь из наших товарищей куда-нибудь уезжают.

Чудный день московской ранней весны, в садах и на площадях еще лежит снег, но дворники уже соскребли его с мостовой, и мы с братом вечером едем в дрожках к братьям Данилевским. Накануне они известили нас, что они одни в их небольшой усадьбе, в одном из Арбатских переулков, и что у них соберется вся наша компания. Когда мы добираемся до них, все уже в сборе. Тут и Петя Глебов, и Мика Лачинов, и Дмитрий Капнист, и Сеги Шувалов и многие другие. Но нас ждет новое знакомство. В первый раз мы встречаемся с братьями Толстыми — Андрюшей и Мишей. Первый гораздо старше нас — он уже юнкер Тверского кавалерийского училища,

а второй, наш сверстник, — лицеист Катковского лицея. Никакого ужина нет, но на столе стоят несколько бутылок вина, и скоро мы выпиваем на «брудершафт» с новыми знакомыми. Андриуша захватил с собой гитару, и мы поем, как можем, цыганские романсы и хоровые песни. Вечер проходит быстро и весело, и мы, скрепя сердце, едем домой.

Наступает май и с ним скучное время экзаменов, а затем лето, и мы, как всегда, уезжаем в деревню, в далекую Киевскую губернию, в Каменку. Никто из наших друзей не живет по соседству с нами: имения их родителей находятся либо под Москвой, либо в Средней России. Но вот и осень, и в августе надо опять приниматься за науку. Эта неприятность скрашивается тем, что мы опять увидим наших друзей, а в этом году нас ожидает еще большее удовольствие: мы начнем ездить на вечера и танцевать. На одном из этих вечеров Миша Толстой представляет нас своей матери, гр. Софии Андреевне. Она, хоть и не имеет дочери, подходящей нам по возрасту, все же иногда посещает наши вечера. Младшая ее дочь Саша еще совсем девочка.

Приходит зима и для нас вместе с ней новое удовольствие — катание на коньках на Патриарших прудах, где собирается вся наша компания. Как-то после катания Миша уговаривает нас поехать к нему в Хамовники, где его мать напоит нас чаем. Все с удовольствием соглашаются, и мы веселой гурьбой едем к «Толстым». Уже сидя в извозчичьих санках, мне вдруг приходит в голову, что вдруг, вот сейчас, через несколько минут, я увижу наяву Толстого. Я тут же отгоняю от себя эту мысль, как неосуществимую мечту. Я, конечно, уже два раза прочел «Войну и Мир» и «Анну Каренину» и даже, по секрету от матери, «Крейцерову Сонату», не говоря уже о «Казаках» и других рассказах. Много слышал я дома, когда взрослые забывали о моем присутствии, споров о «Крейцеровой Сонате» и об учении Толстого, и в моем воображении он сделался существом, живущим в каком-то ином мире, недостижимом для меня. Мне представляется, что существуют два мира, — один, в котором живут мои родители, их знакомые и мы, мальчики и другой мир — мир Толстого и подобных ему людей. Кажется, что из этого высшего мира он не может заметить нас — мы для него не существуем.

Но вот и Хамовнический переулок — огромное кирпичное здание пивоваренного завода и рядом с ним двухэтажный деревянный дом, отгороженный от улицы забором и садом за небольшой площадкой, на которую выходит подъезд. Мы входим в переднюю и проходим в небольшую комнату направо, из которой вход в гостиную. Я останавливаюсь на пороге и ищу глазами хозяйку, но вместо нее вижу в нескольких шагах от меня стоящего посреди гостиной и беседующего с каким-то незнакомым мне человеком, его — Толстого. Нечего и говорить, что я сразу узнаю его. Предо мной живой, «во плоти», Лев Николаевич, которого я столько раз видел на фотографиях. Невольно является мысль: что будет дальше? Оглянувшись и увидев в комнате за гостиной гр. Софию Андреевну, я хочу проскользнуть к ней вдоль стены, но ко мне подходит Миша и подводит меня к отцу. С лицом выражающим глубокое уважение он говорит: «Папа, позволь тебе представить Давыдова». Лев Николаевич оборачивается ко мне, подает мне руку и, не говоря ни слова, улыбается. В те несколько секунд, что Толстой взглянул на меня и подарил улыбкой, мне становится ясно, что он такой же человек, как все, что он не только не живет в каком-то ином мире, но признает нас, маленьких людей, и нашу будничную жизнь достойными своего внимания. Больше того, я понимаю, что этот гений нисколько не гнушается нами, обыкновенными людьми, и что все земное ему близко.

На вечере, в одном доме, гр. София Андреевна подходит ко мне и приглашает меня на танцы у них. Я с удовольствием принимаю это приглашение, и мы с братом в назначенный день едем в Хамовники. По дороге я все думаю о том, увижу ли я вновь Толстого. Я все еще не могу вполне привыкнуть к моему новому ощущению Толстого, и мне кажется, что его «опрощение» и крестьянский наряд не вяжутся со светским вечером и бальными платьями дам и девиц. Мне думается, что, допустив в своем доме такое собрание, он не захочет своим появлением на нем оправдать его. Когда мы входим в зал, танцы уже начались. Кроме наших обычных дам, мы видим несколько незнакомых нам выезжающих барышень и молодых женщин в бриллиантах и роскошных бальных платьях. От этого вечер нам кажется еще блистательнее. Миша под-

водит меня к маленькой полной девочке и говорит мне: «Это сестра моя, Саша». Оживление вечера захватывает меня, и я забываю, в чьем доме мне так весело. Случайно мой взгляд оборачивается к входным дверям, и я не могу прийти в себя от изумления. В дверях стоит в своей обычной одежде Лев Николаевич и с доброй улыбкой смотрит на кружащиеся пары...



ЮРЧИХА

В начале моих воспоминаний я сказал, что, когда мне было три года, моя бабушка Елизавета Сергеевна Давыдова, благодаря заступничеству своей сестры Зинаиды Сергеевны Свербеевой, убедила моего деда выделить моему отцу из состава Каменского имения экономию Юрчиху с половиной Большого леса. Это было прекрасное имение, могущее вполне обеспечить безбедное существование нашей семье, но в нем не было усадьбы, и в первые наши приезды в Чигиринский уезд мы принуждены были жить в Каменке у дяди Николая.

Почему-то дом в Юрчихе был построен значительно позже, когда мне было уже 7 или 8 лет. Помню, как я бегал по каменной кладке его фундамента и с любопытством смотрел, как садовники копали ямы для деревьев насаждаемого парка. С того времени, как дом был готов, мы стали каждое лето проводить в Юрчихе, а позже, уже студентом, я иногда жил в ней и зимой.

С Юрчихой у меня связано много личных воспоминаний поры моего детства, отрочества и юности. В ней началось у меня сознательное и критическое отношение к окружающему. Именно там я начал ощущать то основное противоречие, которое я унаследовал от своих родителей: встречу двух столь различных миров — Давыдовского и Ливенского, с их совершенно различной природой. Я очень скоро заметил — да моя мать и не скрывала этого — что все Каменское для нее было не только чуждо, но и во многих отношениях неприемлемо. В Москве, на, так сказать, нейтральной почве, противопоставление Давыдовского и Ливенского как-то менее ощущалось; здесь же Каменка и замок Блиден казались разделенными непроходимой пропастью. К красоте Каменской исто-

рии, декабристско-пушкинскому ее периоду и озарению ее гением Чайковского, моя мать оставалась глуха. Не вызывали в ней ни душевных, ни сердечных откликов ее обитатели, эти «ангелы и голубушки», как их называл Петр Ильич Чайковский. Даже к дяде Николаю ее отношение было скорее враждебным.

Сейчас это меня не удивляет. Я понимаю, что для женщины, воспитанной в духе истинного монархизма, заговор декабристов ничем не мог быть оправдан, и мой прадед, в ее глазах, был лишь государственным преступником, нарушившим данную им присягу. Думается мне, что и прабабушка Александра Ивановна навсегда оставалась для моей матери крепостной, т. е. женщиной не ее общества, к тому же имевшей «незаконных» детей. Но тогда, в отроческие и юношеские годы, я не мог безоговорочно разделять отношение моей матери к Каменке, ведь во мне текла и Давыдовская кровь, а где-то в подсознании уже шевелилось то мое личное ощущение, которое позднее, постепенно развиваясь, вылилось в любовь к красоте русской культуры и определило мое отношение к Каменке.

Непонятно мне было и отношение моего отца к Каменке. Он, казалось, затаил какую-то личную обиду к ней и почти что ненавидел ее. С его стороны я тоже никогда не видел никакого интереса к Каменке, к ее обитателям и к прелести их. Надо впрочем сказать, что очень скоро после нашего переселения в Юрчиху характер моего отца стал быстро меняться. Из слабовольного и мягкого человека он стал превращаться во властного и до того раздражительного, что нам, детям, он подчас казался страшным. Сначала я приписывал его превращение неладам с моей матерью, но потом выяснилось, что эти явления были первыми признаками той тяжелой душевной болезни, которая разразилась, когда мне было уже 14 лет, и кончилась его смертью в лечебнице за границей.

До отъезда моего отца жизнь в Юрчихе была невеселой. Соседями нашими были исключительно поляки, но отец унаследовал от моего деда и дяди Николая ненависть к ним, и они нас не посещали. Каменская же родня, чувствуя отсутствие расположения со стороны моей матери и нелюбовь моего отца к Каменке, редко к нам ездила. Изредка нас возили на поклон

к прабабушке, тетушкам и дяде Николаю. Молодое поколение Каменских Давыдовых мы видели редко, семья дяди Левы и тети Саши вызывала какое-то особое раздражение у моего отца, а моя мать считала ее общество вредным для нас в моральном отношении.

Когда отец принужден был уехать за границу и мать, взявши в свои руки управление имением, переехала на постоянное жительство в Юрчиху, жизненная атмосфера в ней несколько разрядилась. Сказалось это прежде всего в том, что в нашем доме стали иногда появляться случайные гости, до того времени далеко объезжавшие нашу усадьбу. Все же жизнь для нас, к тому времени ставшими юношами, продолжала оставаться однообразной. Заполняли ее охота в обществе нашего друга Ф. Ф. Черная, бывшего нашим первым гувернером и перешедшего на должность лестничного, прогулки верхом и семейные пикники в Большом лесу. Все это не могло нас долго удовлетворять, мы, так сказать, варились в собственном соку и скучали. Больше всех из нас страдал мой брат Петр, совершенно не выносивший одиночества и любивший общество. Благодаря ему и отчасти мне, не только жизнь в Юрчихинской усадьбе изменилась, но и закончилось долго длившееся отчуждение между Давыдовыми и польскими помещиками Чигиринского уезда.

Началось это совершенно случайно. Как-то, будучи уже на первом курсе университета, брат мой, оставшись на сентябрь в Юрчихе, получил от главного лесничего Раевских, Матисскина, приглашение на облаву. На этой облаве он познакомился с Эдуардом, студентом Технологического Института, сыном нашего соседа Росцишевского, владельца имения Коссары. Брат пригласил его к нам в Юрчиху, а мать моя, чуждая какой-либо вражды к полякам, радушно его приняла. С этого времени мы стали бывать в Коссарах и через Росцишевских перепознакомились с остальными польскими соседями. Молодое поколение Каменских Давыдовых очень скоро последовало нашему примеру, и в уезде установилась приятная и веселая жизнь. Только старая Каменская усадьба не приняла участия в происшедшей перемене, дядя Николай остался непреклонен, хотя ни разу не упрекнул нас в дружбе с «ляхами».

Поляки были приятными соседями. Они обладали всеми качествами, отличающими их нацию. Прекрасно воспитанные, с оттенком иногда слишком подчеркнутой западной светскости, любящие жизнь в обществе, чрезвычайно гостеприимные, сердечные, прекрасные товарищи и хорошие друзья, они вместе с тем были любителями всего того, что составляло прелесть старой помещичьей жизни. Главными развлечениями были: охота, лошади, собаки, веселые приятельские обеды и ужины, за которыми выпивалось немало бутылок старки, венгерского и прекрасных французских вин, выписываемых ими из-за границы. В первое время нашего объединения у них однако заставляла желать лучшего одна очень существенная часть — кухня, носившая узконациональный характер. При этом, благодаря невысокому искусству кухарок из местных Гапок и Олекс, блюда, подававшиеся в польских домах, отличались часто катастрофическим вкусом. Вскоре однако и этот недостаток был устранен. Посещая Юрчиху, где у нас был всегда первоклассный повар, поляки убедились, что и в деревне можно хорошо есть и, пригласив из Киева русских поваров, стали потчевать нас прекрасными обедами.

Мне очень нравилась в поляках их приверженность к старым обычаям и традициям, которые иногда сказывались в бытовых мелочах. Помню, как на устраиваемых поляками облавах, хозяин, стоя на опушке леса, поджидал гостей, держа в руках рюмку и бутылку старки, имея около себя казака (лакея) в кунтуше с широчайшим кожаным поясом, с кастрюлей горячего бигоса. Гость, троекратно облобызавшись с хозяином, должен был осушить рюмку старки и закусить бигосом, причем хозяин говорил ему: «нех око бендзе ясно». Помню, как, закусывая перед обедом, все пили водку из одной и той же рюмки, которая подносилась гостям по старшинству. Помню, наконец, старинную традицию, опасную для неопытного холостяка. В польских шляхетских семьях, при рождении дочери, в погребе замуровывалось несколько бутылок венгерского, которые распивались на ее свадьбе. Сказать девушке: «Я хотел бы выпить вашего вина», — было равносильно сделанному ей предложению.

Польские дамы и девушки не отставали в приятности от мужчин. У них были изысканные манеры, много *savoir-vivre*,

хорошее образование, интерес к литературе и музыке. Они часто ездили за границу, преимущественно во Францию и Италию, к последней они питали особую любовь, может быть, потому что одна из итальянских королев была полька — Комар, родственница Красинских. Молодые паны и паненки были очаровательны, обладали по большей части привлекательной наружностью, были веселы, кокетливы и с легкостью кружили головы мужчинам. Весело проходили деревенские балы в польских помещичьих домах. Под звуки еврейского оркестра, игравшего из-за недостатка места в зале, под ее окнами, носились мы всю ночь напролет, до 6-7 часов утра, в бесчисленных «мазурках», отплясываемых по-старинному с «каблуками», становлением на колени и т. д. Мазурки сменялись кадрилими с котильоном, и в последней фигуре девицы давали избранному ими кавалеру вместо ордена или украшения — рюмку венгерского.

Только два небольших облака затмевают мне приятное воспоминание о моих друзьях-поляках. Первое — это их страсть к родовитости и гордость ею, доходившие иногда до того, что люди, носившие очень хорошие шляхетские фамилии из «старинного герба», искажали их лишь для того, чтоб прослыть родственниками титулованных магнатов, а второе — неизживаемый у женщин шовинизм, выражавшийся в том, что даже с нами, первыми протянувшими им руку примирения, они никогда не говорили по-русски, а только по-французски. Помню, как одна польская дама, жена моего хорошего друга, вскоре после революции написала мне письмо совершенно грамотно, на русском языке. При встрече с ней я сказал ей, что не знал, что она так хорошо знает русский язык. «Да я ведь училась в Киевской гимназии», — ответила она мне, и мы оба рассмеялись. Мы, русские, никогда не придавали значения этой форме протеста польских дам и этим лишали его всякого смысла.

Одним из главных развлечений нашей компании были, так называемые нами, «поездки по уезду». Происходили эти поездки следующим образом. Кому-нибудь из нас вдруг приходила в голову мысль, что мы давно не навещали наших друзей. В небольшой чемодан складывались необходимые вещи, и мы отправлялись к ближайшему соседу, у которого

ночевали, и на следующий день уж вместе с ним, после обеда, отправлялись к следующему соседу, который тоже присоединялся к нам для посещения третьего. Такая круговая поездка длилась иногда неделю, и к последнему из посещенных соседей приезжал уже целый поезд экипажей, которые от него разъезжались по домам. Почему-то в этих поездках принимали участие только холостые мужчины, т. е. по большей части молодежь. Сопровождались они шумным весельем, музыкой, пением, иногда игрой в карты, а, главным образом, обедами и ужинами, обильно орошаемыми вином. Иногда, когда хотелось переменить атмосферу, вся компания предпринимала поездку в Киев. В лучшей гостинице «Континенталь» снимался ряд номеров, завтракали и обедали вместе, а по вечерам посещали известный Chateau de Fleurs, где оставались иногда до зари.

К нам в Юрчиху по традиции 11-го июля, в день именин моей матери, собиралась к раннему обеду вся Давыдовская молодежь и соседи-поляки. За стол, весьма обильный, несмотря на жару, садилось до 30-ти человек, и гости разъезжались лишь поздно вечером, после ужина. Помню, что, кроме других, из старшего поколения, приезжал поздравить мою мать старый пан Адам Росцишевский, владелец части имения Тимашевка. Приезжал он в прекрасной коляске, на паре кровных лошадей, с кучером, одетым по-польски и... с маленьким невзрачным еврейчиком на козлах, согласно старому польскому обычаю, по которому ясновельможный пан должен был всегда иметь при себе своего личного фактора для мелких поручений. Своему визиту моей матери пан Адам придавал торжественный характер. Одетый во фрак и белые перчатки, он подносил ей чудные розы из своего сада и увозил из Юрчихи корзину отборных персиков, которыми славился юрчихинский фруктовый сад.

Русскими нашими соседями была исключительно наша Давыдовская родня, среди которой братья Дмитрий и Юрий, дети дяди Льва и тети Саши (Чайковской), жившие в своем имении «Вербовка», и приезжавшие на летние месяцы в Каменку сыновья дяди Алексея, Лев и Григорий. В первое время, когда еще был жив дядя Лев и сыновья его не были женаты, в Вербовку приезжали их товарищи и, по старой привычке,

Модест Ильич Чайковский с своим воспитанником глухонемым Конради. Тогда в Вербовке становилось очень весело. Молодежь устраивала всякие развлечения. Помимо поездок по соседям и пикников и веселых обедов, я помню поездку в одном из Вербовских сараев сцены из оперы «Мазепа», в которой участвовали мои двоюродные дяди и аккомпанировал на пианино Модест Ильич. Помню я и настоящие скачки на большом поле Покровской экономии, около самой Каменки, с тотализатором и призами в виде различных вещей.

Наш юрчихинский дом не был ни красив, ни роскошен. Это было довольно большое одноэтажное здание, в виде буквы Н, с севера и востока окруженное парком, с подъездом на западной стороне и дворовыми постройками на южной. Как снаружи, так и внутри он отличался простотой, но был вместителен. Он был лучше Каменской усадьбы в том отношении, что это была настоящая деревня. Стоял он на возвышенности вдали от села и экономии. Вид с его террасы не был красив, но широк. С террасы, выходящей на север, перед которой на склоне раскинулся парк, видна была большая дорога, идущая из Каменки в местечко Александровка, и за ней Тясмин с его лугами. Далее, направо, чернел Грушевский лес, а налево виднелось село Коссары с помещичьей усадьбой Росцишевских и трубами их винокуренного завода. Прямо перед террасой, за Тясмином, раскидывалась широкая равнина, пересекаемая железной дорогой.

Климат Украины, столь благоприятный для сельского хозяйства, нельзя было назвать хорошим для жизни. Летом стояла невыносимая жара, а когда дули, так называемые, суховеи, то от поднимаемой ими черноземной пыли нельзя было укрыться, даже затворив окна; зимой же бывало очень холодно при редком снеге и опять же северо-восточные ветры пронизывали вас насквозь. Хороши были весенние и летние ночи, которые так красочно описывал Пушкин в «Полтаве». В такие ночи хорошо было ехать верхом, при луне, по благоухающей степи, когда, среди полной тишины, издалека слышится лай лисицы или крик птицы, пойманной ночным хищником...

За 25 лет, что я знал Каменку и Юрчиху, я мог наблюдать, как росли культура и благоденствие этого края. Помню,

как сначала, чтобы доехать из Киева в Каменку, мы тряслись 14 часов в неудобных маленьких вагонах и как, перед самой войной 14-го года, по той же нашей железнодорожной линии проходили уже курьерские поезда прямого сообщения на Кавказ, со спальными вагонами и вагонами-ресторанами. Помню, как с учреждением земства в селах появились превосходные школьные здания, как утопавшие до того в черноземной грязи дороги превращались в мощные плоскими гранитными камнями шоссе, по которым проезжали автомобили. Помню, как помещичьи усадьбы соединились телефонами.

В сельском хозяйстве как помещичьем, так и крестьянском за те же 25 лет прогресс шел быстро. Этому прежде всего способствовали природные условия края. Глубокий чернозем, наличие больших лесов, благоприятный климат, дававший возможность вести интенсивное десятипольное хозяйство с культурами от высоких сортов твердой пшеницы до сахарной свекловицы. Хозяйство в этих условиях было выгодно и интересно, и побуждало население применять к нему все более и более усовершенствованные методы и заводить параллельно с ним промышленные заведения. Особенно запомнилось мне усовершенствование борьбы с подлинным бедствием: жучками-долгоносиками, уничтожавшими свекловичные посадки. Раньше, стоило только показаться над землей молодой зелени свеклы, как на нее нападали сонмы жуков, и через несколько дней от посева не оставалось и следа. Борьба с этими паразитами велась самым примитивным образом. Свекловичное поле окапывалось небольшой канавой, через которую, как казалось, жуков не мог переползти, а на самое поле посылались десятки деревенских мальчиков с небольшими ведерками, которые они должны были наполнять пойманными ими паразитами. Средство это стоило дорого, и давало мало результатов. Уже задолго до 1914 года по свекловичным полям, вскоре после посева, развозили бочки с парижским жидким составом против паразитов, поливающим молодую зелень, и жуки исчезли навсегда. Благодаря хорошему подбору семян и лучшей подготовке земли, урожай пшеницы за то же время почти удвоился, а новые усовершенствованные машины способствовали быстрой уборке и молотье. Помню, как уже пред самой войной 1914-го года, у нас в Юрчихе молотили хлеб

двумя машинами, днем и ночью, при электрическом освещении, пользуясь током с нашей вальцово-мельницы. Таких мельниц у нас было две: одна в самой Юрчихе, а другая близ местечка Каменка.

Главными отраслями сельско-хозяйственной промышленности на Украине были сахароварение и винокурение. У дяди Николая в Каменке был сахарный завод, а у старшего моего брата, в Покровской экономии, уступленной ему моим дедом — винокуренный. Этот последний, которым, еще юношей, я, по поручению моей матери, управлял одно время, производил в начале 1900 годов не более 10 миллионов градусов спирта, а когда в 1912 году мой брат составил компанию с Эдуардом Росцишевским, они начали экспорт за границу и производство их заводов достигло 100 миллионов градусов. К этому времени они владели уже паточными и спиртовыми вагонами-цистернами, собственными железнодорожными ветками и запасными путями на ст. Каменка.

Параллельно с развитием помещичьего хозяйства росло и благосостояние крестьянства, особенно в годы между первой революцией и 1914 годом — период крупного развития русской экономики. За это время в селах Украины соломенные крыши крестьянских усадеб стали заменяться железными, вместо старинных рал появились стальные плуги, а вместо цепов — конные молотилки и, наконец, подражая помещикам, крестьяне стали выращивать свеклу. Такой прогресс объясняется еще и тем, что, за редкими исключениями, помещики, как русские, так и польские, подолгу жили в своих имениях и сами занимались хозяйством, не доверяя его наемным управляющим. И надо сказать, что хозяйство в помещичьих имениях, особенно в таких как Каменское и Смелянское было поставлено образцово. Что же касается украинских крестьян, то, несмотря на их малоземелье, среди них было мало бедноты. Причиной этому было и богатство почвы и то, что на богатой Украине крестьяне были домовитее и хозяйственнее, чем в более бедной Великороссии. Если украинцы и любили горилку, то все же среди них не замечалось повального пьянства и урожая, сознательно, они не пропивали. Только в праздничные дни можно было встретить единичных пьяных, но никогда не бывало, чтобы загуливала вся деревня. Кроме того для зим-

них заработков крестьянам незачем было уходить в города, обилие сахарных и винокуренных заводов края заменяло им отхожий промысел.

Наконец был и еще один фактор, способствующий развитию прогресса в крае. Это была черта еврейской оседлости. Еще со времен польского владычества, польские короли давали украинским евреям привилегии селиться в особых пунктах, называемых местечками. Русское правительство, ограничивавшее местожительство евреев, оставило в силе заведенный поляками порядок, согласно которому евреям разрешалось жить в местечках и городах в определенных краях империи, среди которых был и Юго-Западный край, т. е. Киевская, Подольская и Волынская губернии. Ограничение это не распространялось на право свободного передвижения в пределах данного края, так что, например, еврей, жительствующий в местечке Каменка, мог беспрепятственно разъезжать по краю, посещать города и временно проживать вне местечка. Только постоянное его местожительство должно было быть в определенном местечке или городе. Таким образом выходило, что так называемое еврейское гетто, на Украине фактически не существовало, а богатство края давало широкое поле деятельности еврейской активности и предприимчивости. Тем более, что в этом отношении законных ограничений, кроме права землевладения не существовало. Это не значит, что не было еврейской бедноты, напротив, я нигде не видел ее в таком размере, как в наших местечках, но происходила она от скудности их населения и невероятной еврейской плодовитости.

Один мой друг сказал мне как-то, что евреи суть фермент цивилизации и, по моему мнению, он был совершенно прав. По крайней мере у нас в Киевской губернии это было так. Конечно, не имея права заниматься сельским хозяйством, евреи захватили в свои руки всю торговлю и кредит. Принято ставить это им в укор и говорить, что они высасывали кровь из местного населения, но на это можно возразить, что несмотря на это воображаемое высасывание, население богатело, а если и страдало экономически от чего-либо, то вовсе не от еврейского засилия, а от малоземелия. Что же касается кредита, то, несмотря на упрек еврейству в ростовщичестве, надо сказать, что проценты, взимаемые ими по займам, не были уж

столь велики, а закон ограждал население от разорения тем, что не позволял крестьянам обязываться векселями. С другой стороны никто не препятствовал ни государству, ни русской частной инициативе лишить евреев их монополии. Создало же правительство за несколько лет до войны 1914 г., сельские кооперативные товарищества, в которых крестьяне могли приобретать по низким ценам все нужные им товары, открыло и ссудосберегательные кассы, предоставлявшие им дешевый кредит. Наконец, и мои двоюродные дяди догадались-же открыть в Каменке, под фирмой «Братья Давыдовы», магазин, в котором местные помещики и крестьяне могли приобретать все то, что раньше получали у каменского монополиста Гольдштейна. Обвиняли евреев и в том, что они захватили в свои руки всю хлебную торговлю. Но как было удобно помещикам не искать покупателей на месте и не сноситься с далекими Николаевскими хлебными конторами, а знать, что, как только хлеб будет смолочен, к ним явится какой-нибудь Янкель и предложит им цену, которая при проверке окажется лишь на одну или две копейки меньше установленной в Николаеве. Помню, как привлеченный слухами о еврейских заработках на хлебной торговле, в Каменку приехал русский купец и скупив по более высокой, чем предлагавшаяся евреями, цене большое количество хлеба отправил его в Николаев, где, желая сорвать сразу крупный заработок, стал выжидать подъема цен. Ждать пришлось долго, цены не поднялись и русский купец продал свой товар с убытком. Больше мы его не видели и он, вероятно, вернувшись домой, сваливал свою неудачу на евреев, обвинял их в засилии и тайном заговоре против христиан.

И все-таки жизнь местечковых евреев была нелегкая. Прежде всего далеко не всем удавалось участвовать в торговле и в кредите, многим приходилось зарабатывать свой хлеб ремеслом. Почти все слесаря, столяры, маляры и портные были у нас евреями. Заработки этих несчастных были скудные, и жизнь они владели самую печальную. Затем, над евреями всегда висела угроза погромов. Антисемитизм среди местного населения как помещичьего, так и крестьянского был очень распространен. При этом, если у первых он был на почве какого-то атавистического презрения к «жиду» и выражался в грубом, доходящем до побоев отношении, то у второго он

был традицией, унаследованной еще со времен польского владычества, когда казацьи восстания против польских панов сопровождались всегда еврейскими погромами, как это было, например, при Уманской резне. Помнится мне, как по большой дороге, проходящей внизу нашего сада, под вечер вдруг начнут проезжать еврейские балагулы, битком набитые евреями, едущими из Александровки в Каменку или обратно. Спросишь, бывало, в чем дело? И услышишь, что в Александровке пропала дівчина и нашли ее за околицей убитой, а в народе говорят, что убили ее евреи, чтобы достать христианской крови. Погромов, к счастью, за 25 лет, что я бывал в наших краях, ни в Александровке, ни в Каменке, не было ни одного, но их риск всегда был. А вдруг приставу, у которого не было никакой вооруженной силы, не удастся, несмотря на получаемое от кагала «пособие», предотвратить погром? В первый же день революции 1917 года, после того как исчезли приставы и урядники, местечки Каменка и Александровка были начисто разграблены и большинство евреев перебито. Так печально кончились для этих несчастных иллюзии, что революция принесет им равноправие и свободу...

В нашей семье антисемитами были мой отец и мой старший брат. Моя мать относилась к евреям безразлично, а позже, занимаясь юрчихинским хозяйством, признавала их полезность и вела с ними дела. Второй мой брат вел с ними какую-то странную дружбу, а я интересовался их нравами и обычаями и, в особенности, стремился понять и усвоить их невероятную деловую смекалку и совершенно особый прием мышления, составлявшие их силу. Для достижения своей цели я отбросил все те, по большей части эмоциональные реакции, которыми руководились антисемиты. Совершенно не думая о том, как и почему возник еврейский вопрос и каким способом он может быть разрешен, я принимал его наличие за факт, с которым необходимо считаться и подходить к которому надо не с целью уничтожения евреев или еще большего их угнетения, а с целью усвоения их деловых приемов. Результаты моих наблюдений вполне оправдали мою точку зрения. Во всех моих позднейших деловых начинаниях, когда мне приходилось встречаться с евреями, ни один из них меня не «имел», как говорили у нас на юге, и часто мне приходилось слышать от

них: «Откуда у вас такая еврейская голова?» Ни с кем из представителей других наций, включая сюда и русскую, я не сделал так легко и так просто столько выгодных дел, как с евреями, никто так не поддержал меня в трудные деловые минуты, как они. Конечно, впоследствии мне пришлось задуматься над еврейским вопросом, подходя к нему с другой, идейной и политической, стороны, но опять-таки и тут я не шел ни шаблонной дорогой их ненавистников, ни чисто гуманным путем прогрессивных людей. Первый был для меня морально неприемлемым, а второй представлялся мне, при всей своей правоте, недейственным и не могущим привести к разрешению этой больной проблемы нашей культуры. Но к этому вопросу я вернусь в другом месте моих воспоминаний.

Уже начиная с последних лет моего студенчества, жизнь увела меня далеко от Каменки и Юрчихи, и в редкие, короткие мои посещения их, я был в них скорее гостем, не принимавшим уже более тесного участия в том, что там происходило. Лишь во время первой мировой войны обстоятельства сложились так, что мне пришлось опять приезжать в Юрчиху по делам. Но тогда я уже прошел через жизненный опыт и отношение мое к окружающему стало иным.



СЫКВАНТУНСКАЯ СОПКА

РАССКАЗ ДОБРОВОЛЬЦА,
РЯДОВОГО ИЗ ВОЛЬНООПРЕДЕЛЯЮЩИХСЯ

«Да вознесет вас Господь в свое время».

(На медали участников Русско-Японской
войны 1904-1905 гг.).

Не в пример последним двум мировым войнам, в которых в каждом, даже не очень значительном сражении, участвовало с обеих сторон много тысяч человек с большим количеством артиллерии и танков, в Русско-Японскую войну 1904-1905 гг. даже бои между небольшими воинскими образованиями могли играть роковую роль в исходе кампании. К таким боям надо отнести бой в ночь с 20-го на 21-ое августа 1904 г. за отобрание у японцев взятой ими у нас накануне деревни Сыквантун и близлежащей к ней сопки, на правом крыле левого фланга Русской Армии, защищавшей позицию под Ляояном. От отобрания у японцев деревни Сыквантун и сопки того же наименования зависела судьба 1-ой японской армии, под командой ген. Куроки, переправившейся за два дня перед этим на правый берег реки Тайдзыхэ и стремившейся, обойдя левый фланг Русской Армии у Янтайских копей, либо обогнать ее в случае ее отступления на Мукден, либо отрезать ее сообщения.

Так как сражение в ночь с 20-го на 21-ое августа было успешно для русских и к этому времени в центре и

Все даты по старому стилю.

на правом фланге русской позиции все атаки японцев были отбиты с огромными для них потерями, было ясно, что развитие достигнутого на левом фланге успеха могло привести к полному поражению войск маршала Ойяма и выигрышу русскими генерального сражения. Для этого надо было только, чтобы 17-ый армейский корпус под командой генерала Бильдерлинга перешел 21-го августа в наступление и прежде всего занял наведенный японцами на реку Тайдзыхэ, в нескольких верстах от Сыквантунской сопки, мост, отлично видимый невооруженным глазом как с нее, так и с соседней высоты, 131-ой. Даже у командующего Русской Армией ген. Куропаткина, еще за несколько дней до этого принявшего решение об оставлении Ляоян, утром, после взятия Сыквантунской сопки, явилась мысль о наступлении на левом фланге, но запрошенный по этому поводу ген. Бильдерлинг отсоветовел наступление, сославшись на переутомление подчиненных ему войск, понесших накануне большие потери. Для этого времени и для численности этих войск потери были действительно велики, но утомлен был, вероятно, сам ген. Бильдерлинг, т. к. у солдат переутомление нисколько не сказывалось. Таким образом, благодаря нерешительности и апатии русского командования, был пропущен редкий в ходе Русско-Японской войны случай, если не выиграть всю кампанию, то, во всяком случае, взять в свои руки инициативу в ней. Мне, как участнику Сыквантунского сражения, в качестве рядового, в разгар его может быть не было видно и понятно все его стратегическое значение, о котором я узнал лишь впоследствии, но зато мне пришлось испытать на себе все его перипетии и быть свидетелем многого, чего нельзя прочесть в официальных реляциях.

19 августа 16 батальонов, 96 орудий и 4 эскадрона под начальством ген. Доброшинского располагались на Сыквантунской позиции, а 7 батальонов, 8 орудий и две сотни под командой ген. Экка были в резерве у деревень Тудагоу и Цовчинцзы. Самую Сыквантунскую сопку занимал Нежинский пехотный полк, а Чембарский полк отряда ген. Экка, к которому я принадлежал, переброшенный с правого фланга армии и прибывший лишь поздно вечером после долгого и уто-

мительного перехода, расположился биваком у деревни Тудагоу. Переход был особенно тяжок потому, что день был жаркий и солдаты, быстро опустошившие свои баклаги, не могли их пополнить по пути из колодцев в китайских деревнях: у каждого колодца стоял часовой, предупреждавший, что вода в колодце отравлена хунгузами. Это было последствием того, что русское командование не согласилось заплатить местному главарю хунгузов 2 миллиона рублей за помощь Русской Армии, и он получил эту сумму от японцев.

Утомленные и изнуренные жаждой солдаты с трудом передвигались по дороге и постоянно спрашивали своих офицеров, далеко ли до бивака, и каждый раз получали тот же ответ: «Недалеко, еще версты две...»

Дорога шла на восток по широкой долине, налево от которой тянулись невысокие холмы, а справа высились горы, за которыми протекала река Тайдзыхэ. Пейзаж был однообразный, к которому мы уже привыкли за время нашего перехода от ст. Янтай, места нашей высадки из вагонов, до деревни Шахэ северное, где наш Сибирский армейский корпус был остановлен 10-го августа по приказанию ген. Куропаткина. Все те же гаоляновые и чумизные поля посреди долины, — те же китайские деревушки вдоль дороги с фанзами, построенными в китайском стиле, — те же длиннокосые маньчжуры, говорящие между собой на гортанном языке, — те же съедобные черные собаки «Чао», с лаем выбегавшие из дворов при нашем прохождении. Все ждали вечера и его прохлады. И она наконец наступила. Но только от страшной маньчжурской грозы, сопровождавшейся невероятным ливнем, мгновенно промочившем нас до костей, глинистая дорога настолько размякла, что при каждом шаге на сапогах образовывались комья в пуд веса. Наступила такая темнота, что не было видно вблизи идущего солдата. Когда гроза прошла, то оказалось, что мы сбились с дороги и до отыскания ее пришлось сделать привал. Дневная жара сменилась ночным холодом, особенно резким после грозы, и мы, не успевшие обсохнуть, дрожали, как в лихорадке.

И в это самое время произошло нечто непонятное, что навсегда осталось для меня загадкой. Я сидел на возвышении близ дороги и разговаривал с нашим батальонным командиром,

когда вдруг из темноты к нам подъехал офицер верхом на серой лошади и спросил моего командира, принадлежим ли мы к Чембарскому полку. Получив от него утвердительный ответ, офицер сказал ему, что он прислан из штаба нашей дивизии с приказанием проводить нас к месту нашего бивака. Полк был поднят с привала, и мы, свернув с нашего прежнего пути, пошли направо за неизвестным офицером, который молча ехал вперед нас. Когда мы подходили к горам, отделявшим нашу долину от реки Тайдзыхэ, и дорога стала подниматься на перевал, сомнение, зародившееся во мне при первом взгляде на якобы за нами присланного штабом офицера, окрепло — и я, подойдя к нашему батальонному командиру, доложил ему об этом, указав, что ни у офицеров, ни у ординарцев нашего штаба нет ни одной серой лошади. Мой командир обратил внимание на мое сообщение и в свою очередь сказал об этом полковому командиру. Полк был немедленно остановлен, но, когда хватились неизвестного офицера, — его и след простыл. В это время из-за гор взошла луна и стало возможно определить место нашего нахождения. Оказалось, что ни в каком случае нельзя было переваливать через горы в долину реки Тайдзыхэ, где нас ждали японцы, а свернуть направо и продолжать путь у подножья этих гор до деревни Тудагоу.

У этой деревни — цели нашего перехода — мы надеялись, наконец, отдохнуть и главным образом подсушиться. Были разбиты палатки, и скоро, несмотря на доносившийся с близкого расстояния гул орудий и треск ружейной пальбы, все погрузилось в сон. Однако наш отдых продолжался недолго. Шум стрельбы вдруг прекратился и взамен его мы слышали грохот быстро проезжавшей мимо нас артиллерии. Вслед за этим на наш бивак прискакал на этот раз нам знакомый офицер, адъютант начальника нашей дивизии, и передал приказание о поднятии полка с бивака. Очень скоро появились разрозненные роты Нежинского полка, еще недавно занимавшие Сыквантускую сопку и в панике с нее бежавшие. Нам с трудом удалось их остановить. Как выяснилось впоследствии, 19-го августа из войск первой японской армии ген. Куроки, на правом берегу Тайдзыхэ находились только 12-ая дивизия и одна бригада ген. Окасаки из второй дивизии, которая составляла левый фланг их боевого порядка и имела задачей опери-

ровать против высоты 131-ой и деревни Сыквантун, и сопки, лежащей близ нее. Весь день шел жестокий бой, но днем бригада ген. Окасаки не могла и думать о взятии нашей позиции штыковым ударом, несмотря на подошедшее к ней подкрепление — бригады Мацунаги. Лишь под покровом темноты, в то самое время, когда мы в потемках искали дорогу, генералу Окасаки удалось подвести свои войска на расстояние штыкового удара. Взошедшая же луна, позволившая нам найти дорогу, была сигналом для начала японской атаки. Нежинцы, утомленные длившимся весь день боем, не выдержали удара и бежали с Сыквантунской сопки, а вслед за ними ушли из деревни Сыквантун и десять рот Новоингерманландского полка, занимавшие ее. Вся Сыквантунская позиция (высота 131-ая, сопка и деревня Сыквантун) оказались в руках неприятеля. Тогда-то командир 17-го армейского корпуса, ген. Бильдерлинг, приказал поднять наш полк с бивака и всему нашему отряду остановить бегущие части и затем отобрать потерянную позицию.

Исполнив первое задание, наш полк направился к Сыквантуню. На рассвете он достиг деревни Эрдогоу, расположенной у подножья высоты 131-ой, где был сделан привал и люди были накормлены. Неприятеля не было ни видно, ни слышно. На высившейся перед нами высоте 131-ой не было никого и стояло лишь одно горное орудие, изредка стрелявшее по направлению Тайдзыхэ. Когда солдаты опустошили свои манерки и походные кухни были отведены в тыл, полк был поднят с привала и ему было приказано занять северный склон высоты 131-ой. Тогда на этом склоне стали ложиться японские снаряды. Как сейчас вижу высокую худую фигуру ген. Экка, медленно наискось горы спускавшегося в сопровождении двух адъютантов с высоты 131-ой, на которую он поднимался для обозрения позиции. Несмотря на взрывающиеся вокруг него снаряды, он несколько не ускорял шага, и казалось, что он так погружен в мысли о предстоящем сражении, что не замечает снарядов.

Достигнув вершины высоты, мы залегли цепью у самого ее гребня. Японские снаряды все чаще и чаще стали разрываться впереди и позади нашей цепи и, наконец, стали в нее попадать. Появились первые раненые и убитые — мы приня-

ли боевое крещение. Лишь через час был подан сигнал о начале атаки. Мы поднялись на гребень высоты 131-ой, и перед нами открылась остроконечная гора, стоящая совершенно отдельно от хребта, идущего вдоль долины реки Тайдзыхэ. Мимо нее шла дорога от перевала, а правее был виден наведенный мост.

Это и была Сыквантунская сопка, которую нам предстояло занять с боя. Впереди нас уже наступал цепью Выборгский полк, раньше нас подошедший к месту сражения и занявший как высоту 131-ую, так и деревню Сыквантун.

**

Но прежде чем описывать само сражение, надо указать, что собой представляли полки, в нем участвовавшие, и в частности та часть Чембарского полка, к которой я принадлежал.

В состав отдельного отряда ген. Экка входили Выборгский и Чембарский полки. Принадлежали они к двум различным армейским корпусам и значительно отличались качествами своего личного состава и военной подготовки. Первый, шефом которого был германский император Вильгельм II-ой, входил в состав войск Санкт-Петербургского военного округа и в мирное время был расквартирован в Петербурге. Второй принадлежал к 73-ей пехотной дивизии 5-го Сибирского армейского корпуса, уже во время войны сформированного из резервных батальонов в восточных губерниях Европейской России. Это значило, что первый имел постоянный состав нижних чинов и офицеров, лишь доведенный до состава военного времени мобилизацией молодых призывных возрастов. В нем преобладали кадровые нижние чины, прошедшие несколько лет военного обучения и спаянные настоящей дисциплиной, общество же офицеров составляло сжившуюся семью, знавшую традиции полка и его боевое прошлое. Наконец, такие факты, как стоянка в столице и близость к высшему начальству и особенно шефство германского императора, играли не последнюю роль в его боевой подготовке. Второй полк — Чембарский, в первую роту которого я был определен рядовым из вольноопределяющихся, имел все недостатки вновь сформированного полка. У него не было боевого прошлого и не могло быть традиций,

общество офицеров состояло из лиц, только что впервые встретившихся, никакой настоящей спайки не имевших, к тому же среди них были люди, потерпевшие те или другие служебные неудачи. Хуже всего дело обстояло с нижними чинами, которые, за исключением незначительного числа кадровых солдат резервных батальонов, в своей массе были недавно взятыми от сохи крестьянами немолодого возраста, давно позабывшими военную дисциплину. Однако мне лично повезло как в отношении моего ближайшего начальства, так и товарищей солдат, составлявших 1-ое отделение моей роты. Солдаты были все как на подбор молодые, рослые, здоровые, прекрасно дисциплинированные и спаянные между собой настоящей русской душевной солидарностью. Все они были кадровыми солдатами резервного батальона. Старшим из моего ближайшего начальства был батальонный командир, фамилию которого я не запомнил, подполковник, участник Русско-Турецкой войны 1877 года; ротным командиром был уже немолодой капитан П. И. Боголюбов, из тех офицеров, которых солдаты и уважали, и любили, и называли «отцами». Наконец, полуротным был призванный из запаса прапорщик Бечко-Друзин, бывший в гражданском состоянии земским начальником, «по-штатски» смотревший на свои военные обязанности, но, благодаря своему добродушию, приобретший расположение своих подчиненных. Приятно отличался от всех офицеров нашего батальона наш батальонный врач, немец из прибалтийских губерний, окончивший Дерптский университет, очень культурный человек. Так как я хорошо говорил по-немецки и имел многочисленную родню в Курляндии, то между нами сразу установились дружеские отношения. Не могу не упомянуть о нашем ротном фельдфебеле Иване Кузьмиче, строгом, но добродушном, с которым мне удалось подружиться еще в Пензе, перед нашим отправлением.

Из сказанного видно, что нашему Чембарскому полку трудно было соперничать с Выборгским и все говорило о том, что, как бы доблестно наш полк ни проявил себя в предстоящем сражении, заслуга удачного его исхода будет приписана не ему, т. е. что все благодарности и награды достанутся не нам. Трудно было соперничать с шефским полком германского императора, нарочно пущенным в атаку впереди нас.



Описав части, участвовавшие в сражении, можно вернуться к рассказу о нем. Перевалив через гребень высоты 131-ой, нам надо было скатиться с нее по южному ее склону, жестоко обстреливаемому японской артиллерией. Мы не могли знать, откуда она стреляет, но мы видели, что Сыквантунская сопка сверху донизу окутана дымом от разрывов наших снарядов. Поражало, как аккуратно, как бы венком, разрывались наши снаряды над самой вершиной сопки. Сбежавши по склону высоты 131-ой и пересекши дорогу, ведущую к перевалу, мы углубились в нескошенный гаолян и, повернув налево в обход сопки, стали наступать перебежками, залегая в складках местности. Огонь японской артиллерии становился все сильнее и сильнее и приноравливался к нашему продвижению вперед. Все чаще и чаще наши солдаты не вставали для следующей перебежки и оставались лежать, некоторые безмолвно, а другие — со стоном корчась от боли. Это было естественно, и каждый из нас знал, что вот сейчас то же самое может случиться и с ним. Но меня лично поразило то, что по мере продвижения вперед, мы находили все больше и больше солдат Выборгского полка, застрелявших в складках местности, совершенно невредимых и просто не желавших больше подвергать себя опасности. Наше отделение наступало на крайнем правом фланге и, т. к. оно совершенно справедливо пользовалось полным доверием ротного командира, то ни он, ни наш прапорщик ни разу во время атаки не заглянули к нам. Нам самим приходилось решать, что делать с отстающими выборгцами. Сначала мы не обращали на них никакого внимания, но затем чувство справедливости заговорило в нас и мы стали понуждать отстающих нашими штыками и это убеждало их присоединиться к нам.

Казавшаяся с высоты 131-ой столь близкой, Сыквантунская сопка оказалась в действительности далекой. Мы наступали уже несколько часов и все еще не достигли ее подошвы. Начало темнеть, разрывавшиеся над нами шимозы стали светиться синим огнем. К ним прибавился огонь японских пулеметов и ружейная стрельба. К этому времени гаолян кончился и с ним не стало больше спасительных складок местности.

Приходилось наступать вдоль дороги по совершенно голому месту. Наконец, орудийная пальба прекратилась, но зато усилилась пулеметная и ружейная стрельба. Уже в темноте, обогнув сопку с левой ее стороны, мы стали подыматься на нее. Но не успели мы пройти и пятиста шагов, как сзади, из еле видневшейся деревни, по нам, неизвестно кем, был дан ружейный залп. Мы бросились вперед к подъему на сопку, но навстречу нам с криками бежали солдаты, неизвестно какой части, на бегу стреляя из винтовок и коля штыками встречаемых. Началась паника, и лишь немногие, не поддавшиеся ей, продолжали идти вперед. В темноте трудно было разобрать, что происходит и кто стреляет в кого. К счастью, порядок был восстановлен довольно скоро, благодаря самообладанию капельмейстера нашего полкового оркестра, маленького еврейчика из Златополя, Киевской губ., и его музыкантов. Кто-то из батальонных командиров приказал ему играть гимн, и как только звуки привычной солдатам музыки коснулись их слуха, они опомнились.

Наступление наше продолжалось уже очень долго, и утомление наше было очень велико. Особенно мучила жажда, а малый запас воды в солдатских баклагах был ими уже давно выпит. Инстинктивно я нагнулся над попавшимся мне под ноги трупом и стал обшаривать его в поисках баклаги. Нагнувшись ниже, я сквозь темноту узнал в убитом солдате японца, а в его баклаге обнаружил ром, который тут же с жадностью выпил. Подкрепившись, я продолжал подыматься на сопку и, пройдя несколько шагов, наткнулся на своих товарищей по отделению, стоявших и о чем-то беседовавших над лежавшим у их ног телом. На вопрос, в чем дело, они сказали, что лежащий человек есть наш прапорщик Бечко-Друзин, который, очевидно, ранен и без сознания, они же не знают, что с ним делать т. к. вблизи не видно санитаров с носилками. В это самое время к нам подошел наш ротный командир П. И. Боголюбов, обративший внимание на нашу остановку. Старший унтер-офицер доложил ему о происшествии. Не успел П. И. Боголюбов распорядиться, как я сказал ему: «Не извольте беспокоиться, Ваше Высокородие, я вынесу прапорщика из боя», — и тут же, подняв его с земли и взвалив на плечо, я начал спускаться с горы по направлению к деревне Эрдагоу, где, как я

знал, находился наш перевязочный пункт. Прапорщик был небольшого роста, но упитанный и коренастый и нести его было нелегко, принимая во внимание то, что человек, находящийся в беспамятстве, тяжелее своего веса, т. к. не держится за несущего его. Кроме того, дело осложнялось тем, что я не мог оставить винтовку и что вокруг меня продолжали посвистывать пули. Силы мои подходили к концу, но сознание, что в первом же бою я заслужил статутный солдатский Георгиевский крест, вернее говоря, Знак отличия Военного Ордена, как он тогда официально назывался, придавало мне энергию. По счастью, пронеся прапорщика около версты, я встретил санитаров с носилками, которым я с удовольствием передал свою ношу. Отдохнув немного на камне, я побрел обратно к сопке, но оттуда уже слышались крики «Ура», что означало, что сопка нами взята и что сражение закончилось. Подойдя ближе и присоединившись к своей роте, я узнал, что нам приказано вернуться к исходной точке нашего наступления, т. е. на высоту 131-ую, и занять ее. В это время было уже два часа ночи и мы, усталые, взбирались наверх. На гребне высоты нас ожидал приятный сюрприз. В то время как мы сражались, наши кашевары варили нам обед и посланные нашими офицерами солдаты принесли нам горячие щи с мясным «пайком».

Ночь была холодная, ясная. После утомительного дня тянуло ко сну, но в сердце зарождалась тревога. Вдалеке, направо от нас, видно было, как горело в Ляояне, а еще правее горели сигнальные столбы пограничной стражи вдоль соединительной ветки Янтай — янтайские копи. Мы не знали, что означали эти огни, но понимали, что ничего доброго они не предвещают.

Настало утро 21-го августа, тихое и спокойное. С поля вчерашнего сраженья, мимо нашего расположения, брели раненые, и наш батальонный врач перевязывал их раны. От нечего делать я помогал ему и обменивался с ним впечатлениями о пережитом накануне, как вдруг прозвучала команда готовиться к выступлению. Сначала мы думали, что будем наступать, но скоро оказалось, что Русская Армия оставляет Ляоянскую позицию и что нам предстоит отступление. С тяжелым сердцем шли мы по той самой долине, по которой еще

два дня тому назад шли полные ожидания неизвестного и надежд.

Когда, наконец, мы остановились для отдыха на довольно продолжительное время, мы узнали, что вся заслуга взятия Сыквантунской сопки была приписана Выборгскому полку, на который посыпались награды, хотя первой взойшла на сопку наша охотничья команда. Недаром, как я узнал позже, в начале нашей атаки, когда мы бегом опускались по южному склону высоты 131-ой, на Выборгцев смотрел с нее немецкий военный агент и сопровождавший его капитан генерального штаба П. А. Половцов. Надо было порадовать шефа полка — императора Вильгельма II-го. Я не помню, сколько солдатских крестов досталось Чембарскому полку, знаю только, что один из них достался мне «за спасение раненого офицера в бою под огнем неприятеля» и другой нашему капельмейстеру за исполнение гимна в той же обстановке.

Несколько дней спустя на привале у небольшой ж. д. станции, у которой стоял санитарный поезд имп. Александры Федоровны, я был послан офицерами с поручением раздобыть в поезде чаю и сахару. По мнению офицеров, мой внешний вид должен был обеспечить успех моей экспедиции. Действительно, глядя на меня, нельзя было усумниться, что я только что участвовал в сражении. Гимнастерка моя порвалась, на ее левом рукаве было большое кровавое пятно от убитого японца, напоившего меня ромом, погоны и фуражка были размыты дождем. В поезд грузили раненых, и я, не желая моим малым делом мешать персоналу поезда, ждал, стоя на платформе, по которой прогуливались разговаривая два генерала. Когда они во второй раз проходили мимо меня и я вторично встал во фронт, приложив руку к козырьку, один из них, подойдя ко мне, пожал мне руку и спросил, в каком бою я участвовал. Узнав от меня, что я был на Сыквантунской сопке, он сказал мне: «Всегда помните об этом — это большая честь для Вас».

НЕОСУЩЕСТВЛЕННЫЙ КОЛХОЗ

Жизнь иногда ставит человека в положение, когда ему поневоле приходится принять участие в делах, совершенно противоречащих тому, чему она его научила. Это особенно возможно в революционное время, когда трудно предвидеть, как и куда повернутся события под влиянием психологии толпы, действующей, как известно, вопреки законам логики. Иногда такие события бывают опасными для того, кто поставлен в необходимость с ними считаться, но зачастую такому человеку для выхода из трудного положения приходится принимать быстрые решения, могущие впоследствии, в спокойной обстановке, показаться противоречащими его убеждениям. Так было со мной давно, 34 года тому назад, и, хотя теперь то, в чем мне поневоле пришлось согласиться принять участие, стало одним из зол большевистской революции, я все же, парадоксально, получаю при воспоминании об этом моральное удовлетворение.



Весной 1915 года я жил в Петербурге и, продолжая состоять на службе в Кредитной Канцелярии, работал в Красном Кресте. От военной службы я был совершенно освобожден при всеобщей мобилизации 1914 года и мог потому свободно располагать своей деятельностью. В это время в Петроград приехала моя мать, управлявшая нашими имениями на юге России и постоянно, в связи с этим, жившая в Киевской губернии. Она сообщила мне, что дела наши вследствие трудностей военного времени и некоторых неудач пришли в упадок и что им даже грозит серьезная опасность. Ей, как женщине

уже немолодой и не пользующейся достаточным здоровьем, трудно было в непривычных для нее условиях одной нести ответственность за наше состояние; из двух же старших братьев один находился на фронте, а другой, по ее мнению, не обладал достаточной компетентностью в делах. Ввиду этого она предложила мне взять на себя управление всем нашим имуществом. Полный желанья помочь моей матери, я однако, зная ее властный характер, не сразу согласился с ее предложением, а спросил ее, что она будет делать в случае моего согласия. Оказалось, что она будет продолжать по-прежнему жить в нашем имении Юрчиха, т. е. там, где мне предстояло нести новую трудную для меня работу. Это значило, что никакой самостоятельностью я пользоваться не буду и что мне придется все время действовать под постоянным критическим наблюдением моей матери, что неминуемо должно было привести к осложнениям в наших отношениях и могло только ухудшить положение наших дел. Бросать для такой перспективы мое хорошо налаженное положение в Петрограде не только не стоило, но и было для меня очень рискованным. Служба в Министерстве Финансов, где мне зачастую давали ответственные поручения, знакомство с крупными деловыми людьми и с банковскими сферами и, наконец, привычка самому защищать свои интересы, дали мне не только опыт и знания, но и приучили меня к самостоятельности. Моя мать это знала, т. к. ей не раз приходилось в трудные минуты обращаться к моей протекции в банковских кругах и обращения эти всегда давали ей удовлетворение. Было еще немаловажное обстоятельство, препятствующее моему деловому сотрудничеству с моей матерью, носившее общий характер. Заключалось оно в подходе русских провинциальных помещиков к деловым вопросам, совершенно отличном от взгляда на них людей, постоянно живущих и работающих в столице. В то время как столичные люди привыкли смело смотреть на разные деловые мелочи, видя лишь самое главное в деле, провинциалы как-то всего боялись, принимали мелких дельцов за деловых людей, слушались их советов и считали их авторитетами.

Считая положение слишком ответственным, я не прибегнул в моем ответе матери к каким-либо дипломатическим приемам и прямо сообщил ей все, только что изложенные

мною, соображения, что было фактически неприятием ее предложенья. Не желая, однако, совершенно отказать ей в помощи, я предложил, как компромиссное решение, взять в управление то из наших имений, которое приносило ей больше всего хлопот, при том, однако, условии, что в случае ее согласия, она наперед откажется от всякого вмешательства в мое управленье, и что все прибыли и убытки я беру на себя. Моя мать как будто обрадовалась моему предложению и сразу сказала мне, что будет рада, если я возьму управление нашим Крымским имением Саблы, где дела идут из рук вон плохо и где ей приходится ежегодно доплачивать значительные суммы. Мы тут же пришли к полному согласию и было решено, что в начале сентября, ликвидировав свои дела в Петрограде, я перееду в Саблы.



Идя навстречу желанью моей матери, я отлично сознавал все плюсы и минусы предстоящей мне деятельности. К первым относилось то, что сами Саблы были прекрасным имением, расположенным на Крымском полуострове, в 14 верстах от Симферополя, в предгории Яйлы, на обоих берегах реки Алма, и заключало в себе 2 600 десятин земли. Хотя большая часть его была покрыта горным дубом, годным лишь для топлива, оно было очень интересно в хозяйственном отношении. В нем было около 90 десятин промышленного фруктового сада, 40 десятин огородной поливной земли, табачные плантации, породистое стадо коров и, хотя небольшое, но достаточное полеводство. Плюсом было и то, что Саблы были расположены близко к железнодорожной станции Симферополь, месту остановки прямых курьерских поездов, дающих возможность в удобных условиях переноситься за 36 часов в Петроград, за 24 часа в Москву и за 12 часов в Харьков. Наконец, в имении был хороший дом с парком, а шоссейные дороги, соединяющие Симферополь с Южным берегом, позволяли мне совершать поездки в Ялту и другие прибрежные города на автомобиле. Нечего говорить о прекрасном умеренном климате, позволявшем приятно жить в деревне круглый год.

Минусов было несколько, менее и более важных. К первым надо отнести тот факт, что имение, перешедшее к нам по

наследству отца, состояло в пожизненном владении моей бабушки, и вследствие этого, чтобы управлять им, моей матери приходилось его арендовать. Бабушка моя Елизавета Сергеевна Давыдова была дочерью декабриста кн. С. П. Трубецкого и жены его, известной Каташи Трубецкой, передавшей ей имение в приданое, когда она в Иркутске выходила замуж за моего деда П. В. Давыдова, сына декабриста. Прожили они вместе в имении почти безвыездно около 60 лет, и после смерти моего деда, случившейся в 1912 году, бабушка, достигшая 80-тилетнего возраста, продолжала жить в Саблах, лишь на зиму переезжая в Симферополь. Таким образом мне предстояло жить полгода самостоятельно, а как бы в гостях. Обстоятельство это само по себе меня не очень смущало и даже отчасти устраивало, освобождая меня в самое горячее рабочее время от домашних хозяйственных забот. Смущало меня только то, что до этого времени никто из потомства моей бабушки не мог с ней ужиться, так что будучи уже дряхлой, больной и слепой старухой, она вынуждена была жить одной в обществе двух, совершенно чуждых ей, сестер милосердия. Причиной этому было то, что, будучи почтенной и уважаемой женщиной, бабушка обладала тяжелым характером. Соглашаясь на мое предложение взять в свое управление Саблы, моя мать напомнила мне об этом обстоятельстве, причинившем ей много неприятностей в деловых с ней отношениях. Вторым минусом было то, что хозяйство в имении пришло в очень плохое состояние и что ничем иным нельзя было объяснить необходимость для моей матери вкладывать в него ежегодно значительные суммы.

Эти два минуса, хотя и неприятные, казались мне не столь уже важными, особенно первый. Гораздо сложнее представлялся мне третий минус. Соседи по имению, крестьяне деревни Саблы, пользовались у помещиков Крымского полуострова самой дурной репутацией. Их не называли иначе, как отчаянными ворами и разбойниками и очень беспокойным, в политическом отношении, элементом. Отношения между ними и управляющим моей матери были обостренные, и стычки носили постоянный характер. Еще в 1905 году, в эпоху крестьянских волнений, крестьяне деревни Саблы совершили нападение на дом управляющего и разгромили его. Управляющий

и его жена еле спаслись бегством. Помню, что совершив разгром, крестьяне не тронули ни усадьбы, ни остальных построек в экономии, ни какого-либо хозяйственного имущества. Разумеется, в тот же день в имение приезжал губернатор в сопровождении судебных властей и воинской части. Прокурор и судебный следователь произвели следствие, а административная власть расправилась по-своему, подвергнув телесному наказанию зачинщика нападения Петра Гутенко. Через несколько месяцев участники нападения были судимы выездной сессией Одесской Судебной Палаты с участием сословных представителей, особым судом, установленным для преступлений политического характера. Временно проживая тогда в Симферополе, но не имея никакого отношения к управлению имением, я, больше из любознательности, поехал вслед за властями на место происшествия. К счастью, я приехал уже после совершения экзекуции, но из разговоров с губернатором и прокурором я понял, что оба они смотрели на происшествие, как на обычное «крестьянское волнение». Так же впоследствии оценила нападение на дом управляющего и Судебная Палата, вынесшая соответствующий приговор. У меня же сложилось совершенно другое впечатление, позже оказавшееся правильным.

Живя после этого долгое время в Петрограде и состоя на службе в Министерстве Финансов, я был далек от крестьянского и аграрного вопросов, но все же, когда иногда приходилось о нем думать, у меня всегда была чувство, что все заинтересованные в нем группы как-то неправильно подходят к нему. К этим группам я относил и власти, и помещиков, и народническую радикальную интеллигенцию. Служа в Кредитной Канцелярии, одной из главных задач которой было поддержание международного курса рубля, я был склонен скорее оправдать правительственную политику в аграрной части «крестьянского» вопроса. Я знал, что одновременная разбивка крупных имений на мелкие крестьянские хозяйства является очень рискованным для курса рубля мероприятием, угрожавшим хлебному экспорту, главной основе русского торгового баланса. Мне казалось, что правительство должно найти какой-то другой путь для разрешения большого вопроса, имеющего столь большое политическое значение. Пожалуй, такой

путь и был найден в Столыпинских хуторах. Подход к вопросу народнической радикальной интеллигенции и особенно народнических революционных партий, при всей моей политической объективности, казался мне неосновательным и безответственным. Научившись на государственной службе реалистически относиться к государственным вопросам, я вполне признавал устарелость самодержавного строя и соответственно с этим полагал вполне логичной общественную борьбу против него, но никак не мог понять, как можно в преследовании цели политической революции вызывать социальную. При моем реалистическом отношении к вопросу, вера в какую-то особенную крестьянскую правду, в существование «социалистического крестьянина», казалась мне химерой. Но что больше всего меня поражало в подходе к крестьянскому вопросу народнических революционных партий, то это была их безответственность по отношению к экономическим судьбам России. Это тем более меня удивляло, что я знал их большой и чистый патриотизм. Не говоря уже о том, что партии эти были совершенно оторваны от народа и жили утопическими о нем представлениями, они никакого понятия не имели о русском расчетном балансе и о недостатках, подлежащих разделу, согласно лозунгу общества «Земля и Воля», земли. Для этих идеалистических патриотов все средства для свержения ненавистного им самодержавия были хороши.

Что касается третьей, прямо заинтересованной в аграрном вопросе группы, — помещиков, особенно дворян, владевших родовыми поместьями, то тут меня поражала какая-то застенчивость в подходе к этому вопросу. От этого подхода пахло застарелой сыростью и плесенью. Несмотря на явную невыгодность эксплуатации ими своих имений, дававших в лучшем случае 3% дохода, компенсируемой лишь ростом ценности земли, они держались за них либо из сентиментальных соображений, любви к старинным своим усадьбам, либо понимая, что, отойдя от земли, они как «сословие» потеряют окончательно свое доминирующее положение в государстве, фактически в значительной степени уже утраченное. Недооценивая угрозы грядущей революции, они слабыми руками цеплялись за землю. Но что меня лично еще с детских лет поражало в отношениях между помещиками и крестьянами, то это их

психологическая сторона. Как известно, если дети и юноши не способны оценивать и анализировать свои впечатления, то они переживают их гораздо сильнее, чем взрослые, и впечатления эти оставляют на всю жизнь глубокий след в их сознании и часто способствуют формированию их будущих убеждений. Ребенком и юношей я проводил летнее время в деревне, где поневоле наблюдал за отношениями между местными помещиками и крестьянами, в частности между моим отцом и нашими соседями — крестьянами деревни Юрчихи в Чигиринском уезде. В то время еще широко практиковался старый способ разрешать недоразумения с «мужиками» путем мордобоя, и, когда это происходило на моих глазах, мое моральное чувство настолько возмущалось, что я долгое время не мог прийти в себя от испытанного смущения и стыда за того, кто позволял себе бить фактически беззащитного человека. Но, кроме этого острого чувства, вызванного видом унижения человеческого достоинства слабейшего, на меня чрезвычайно сильно действовала глубокая фальшь в личных отношениях между помещиками и крестьянами, проявляемая с обеих сторон. Помню, как, когда к отцу приходили по какому-нибудь делу один или несколько крестьян, дворецкий докладывал ему об этом, и он «выходил» в буфетную или на двор, где его ожидали «просители». У отца, как впрочем и у других помещиков, в таких случаях совершенно изменялось выражение лица. Как-то автоматически, только что улыбавшееся лицо вдруг принимало строгое и надменное выражение, приличествующее высшему существу в его общении с низшими. Не говоря уже о том, что обращение помещика к крестьянам было всегда на «ты», в разговоре с ними всегда слышалась надменность и какой-то поучительный тон. Надо, однако, оговориться, что не все помещики принимали строгий тон в разговорах с крестьянами, некоторые, наоборот, уподобляясь Манилову, придавали своей речи слащаво-сентиментальный характер, в котором было еще больше фальши. Крестьяне не менее фальшиво отвечали помещикам. Они, как полагалось, «ломали шапки», а во времена моего детства целовали барскую «ручку» или «плечико». Лица их принимали какое-то жалостное, умоляющее выражение, полное самоуничижения. Если в мое время выражение: «Вы наши отцы, а мы Ваши де-

ти», — уже вышло из употребления, то крестьяне продолжали отвечать на поучительный тон помещика словами: «Что ж, Вы ученые, Вам лучше знать». Ясно было, что обе стороны старались обмануть друг друга, но если крестьяне прекрасно разгадывали мысли помещика, то последние никак не могли проникнуть за каменную стену крестьянской скрытности и разгадать их психологию. Такой характер отношений сказывался во всем. Когда помещик откликался на просьбу крестьян, то это носило характер благотворительности, когда же они чем-нибудь вызывали его неудовольствие, то на них низвергались громы и молнии его гнева. Все это было отвратительно и оставило во мне на всю жизнь тяжелое впечатление.

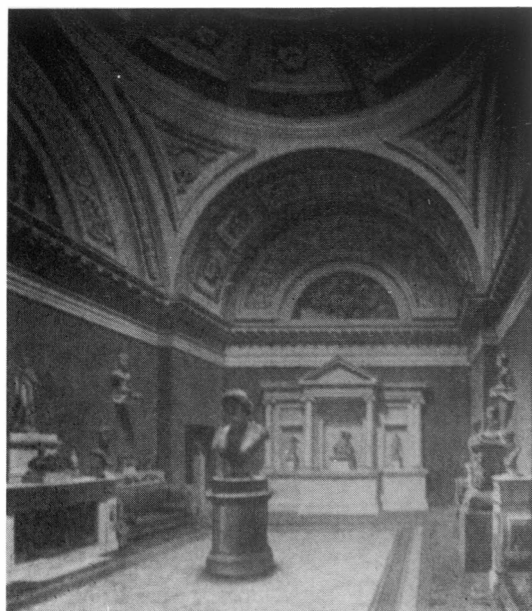
Как я уже сказал выше, пока я жил в Петрограде и мысли мои были сосредоточены на других интересах, вопрос об отношениях между помещиками и крестьянами носил для меня академический характер. С того же времени, как был решен вопрос об управлении мною Саблами, я стал стараться конкретизировать мои мысли о нем. Прежде всего я пришел к заключению, что фальшь в отношениях между помещиками и крестьянами была пережитком крепостного права. Недаром помещики, говоря о соседях-крестьянах, называли их «своими». Через пятьдесят лет после освобождения крестьян помещики продолжали смотреть на них, как на зависящих от них людей, по отношению к которым у них были с одной стороны моральные обязательства опеки, а с другой какие-то права. Крестьяне же справедливо полагали, что они фактически беззащитны перед помещиками, т. к. власть будет всегда на их стороне, сохраняли по отношению к ним рабскую психологию, выражавшуюся в хитрости, всегдашнем оружии слабого против сильного. С другой стороны я стал думать, что у крестьян нет уважения к помещикам, которое могло бы, в известной степени, оправдать их влияние на крестьян. Действительно, какое могло быть уважение к хозяевам, большую часть года живущим в городе и доверяющим управление имениями наемным управляющим? Кроме того, крестьяне видели, что помещики ведут свое хозяйство далеко не так, как они должны были бы это делать. Они знали о задолженности имений, происходящей главным образом от бесхозяйственности и от жизни сверх средств. У крестьян, по крайней мере у нас, на юге,



Граф Иван Степанович
ЛАВАЛЬ
1761 — 1846



Графиня Александра Григорьевна
ЛАВАЛЬ, урожд. КОЗИЦКАЯ
1772 — 1850



Гостиная в Доме
ЛАВАЛЬ



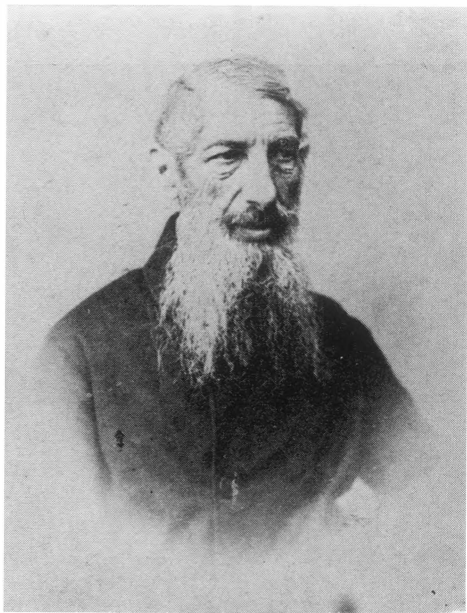
Князь Сергей Петрович
ТРУБЕЦКОЙ
1790 — 1860
ок. 1820

Княгиня
Екатерина Ивановна
«Каташа»
ТРУБЕЦКАЯ
урожд. Лаваль
1800 — 1854
ок. 1820





Каташа ТРУБЕЦКАЯ
в Сибири
ок. 1850



С. П. ТРУБЕЦКОЙ
в Сибири
ок. 1850

ИРКУТСК



Дочь автора на могиле
Е. И. ТРУБЕЦКОЙ



Вознесенский
Монастырь



САБЛЫ
Задняя часть дома
1913 г.



САБЛЫ
Аллея
1913 г.



САБЛЫ: фасад дома
1913 г.

©
Д.
Д.
О.
©



САБЛЫ
Фасад дома
1981 г.

©
Д.
Д.
О.
©



САБЛЫ
Аллея
1981 г.



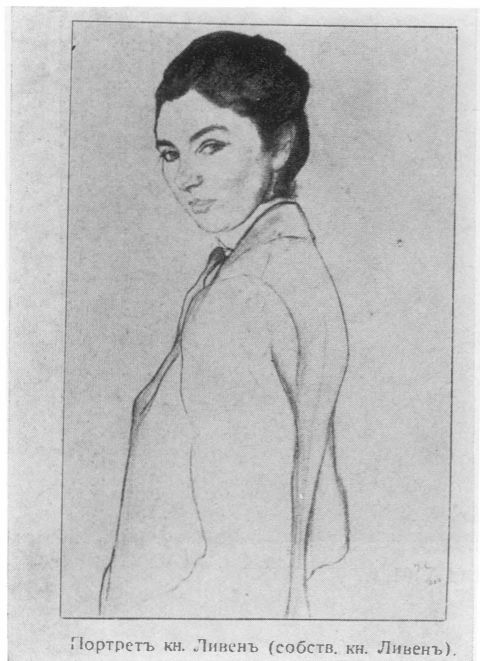
САБЛЫ: зима 1981 г.



О. А. ДАВЫДОВА
урожд. Ливен
Мать автора



В. П. ДАВЫДОВ
Отец автора
1852 — 1900



Княжна
Ольга Александровна
ЛИВЕН
1857 — 1923
(худ. В. А. Серсв)

©
o
o
o
o
o



Князь Карл Андреевич
ЛИВЕН
1767 — 1844

©
o
o
o
o
o



Светлейшая Княгиня
Д. Х. ЛИВЕН
урожд. Бенкендорф

©
o
o
o
o
o

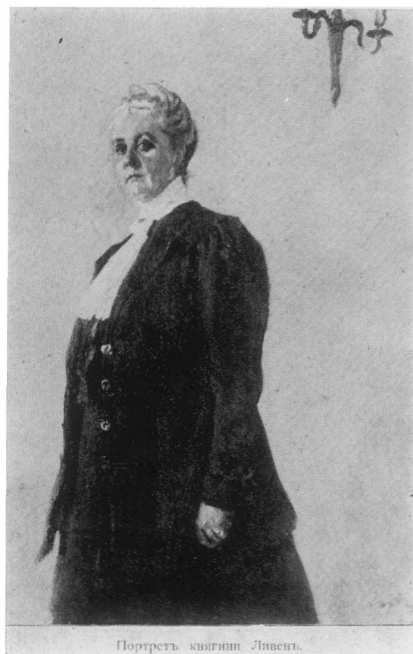


Светлейший Князь
Александр Карлович ЛИВЕН
Дед автора

©
o
o
o
o
o



Е. Н. ЛИВЕН
урожд. Панкратьева
Бабушка автора



Портрет княгини Ливен.

Светлейшая Княжна
Елена Александровна ЛИВЕН
(худ. В. А. Серов)

© Collection O. D. D.



Светлейшая Княжна
Е. А. ЛИВЕН

©
O.
D.
D.



Светлейшая Княжна Е. А. ЛИВЕН
в кругу близких

была очень сильная хозяйственная психология, и помещики, не обладающие ею, никак не могли пользоваться их уважением.

С этими мыслями я покинул Петроград с намерением проверить на практике свои заключения. Смущала меня особая репутация крестьян деревни Саблы и опасения, что если она окажется справедливой, то я натолкнусь на непреодолимое препятствие в установлении правильных с ними отношений. Я старался отделаться от предвзятого навязанного мне чужого мнения. Мне почему-то казалось, что мнение это есть результат тех же закостенелых провинциальных, ни на чем не основанных, взглядов. Не принимая заранее окончательных решений, я все же внутренне для себя твердо постановил, что, как бы там ни было, я постараюсь с одной стороны добиться уважения к себе крестьян путем примера простой и трудовой жизни и хорошего ведения хозяйства, а с другой избежать всякой фальши в наших отношениях, установив в них полное социальное равенство. Я не думал тогда, что проверка моих убеждений неожиданно приведет к хорошим результатам и даст мне глубокое моральное удовлетворение в самое трудное для всякого «барина» время — революции.

**
*

Приехав в начале сентября в Саблы, я хотел сразу же совершенно отдаться моим новым занятиям и в первую очередь преодолеть минусы, о которых было сказано. Кроме того, мне предстояло вступить в исполнение моих обязанностей помещника уполномоченного Красного Креста, должность, которую я принял, не желая во время войны порывать связь с этим учреждением. Судьбе однако было угодно помешать мне в осуществлении моего намерения и затем создать обстановку, значительно осложняющую мою работу. Сначала, через несколько дней после моего приезда, внезапно умер мой начальник по Красному Кресту — уполномоченный — и мне пришлось вступить в исполнение его обязанностей, что продолжалось несколько месяцев, когда я был переведен уполномоченным по Севастопольскому градоначальству. Затем вскоре я получил от матери телеграмму из Киевской губернии, тре-

бывавшую моего немедленного приезда в связи с опасным осложнением в наших делах. Последствием этого было то, что в течение 8 месяцев мне пришлось постоянно ездить в Чигиринский уезд и Киев. За это время я проехал 25 раз станцию Синельниково. Таким образом я мог только урывками заниматься Саблами.

Первый минус моего нового положения — отношения с бабушкой — удалось наладить легко и скоро. Вместо властной и придиричливой женщины, я нашел больную и слепую старуху, одной ногой стоявшую в могиле и смотрящую на всех глазами ухаживающих за ней сестер милосердия. Ласка и внимание сделали свое дело, и через очень короткое время бабушка не чаяла во мне души. Гораздо сложнее обстояло с хозяйством, т. е. с тем, что с одной стороны должно было обеспечить мое существование, а с другой помочь мне разрешить столь интересующий меня и столь важный для меня вопрос о моих отношениях с соседями-крестьянами. При первом же знакомстве с саблыньским хозяйством я убедился, что оно ведется по принципу «блефа», т. е. напоказ. Все внимание управления было направлено на показную сторону хозяйства — фруктовые сады, — все же остальное, как хлебопашество, табаководство, огородничество, содержание живого и мертвого инвентаря, было совершенно заброшено. Урожай пшеницы, овса и ячменя не превышал 25-30-ти пудов с десятины, а рабочие лошади были в таком состоянии, что, по жалобе «Общества Покровительства Животных», имение было оштрафовано полицией. Ознакомившись с положением и расспросив управляющего о причинах неурядиц, я убедился, что вся вина лежит на нем.

Управляющий был балтийский немец, окончивший земледельческую школу в Германии и прослуживший в нашей семье более двадцати лет. Когда-то, работая в одном из наших киевских имений под близким наблюдением моей матери, он недурно исполнял свои обязанности, но, оказавшись вдали от хозяйственного глаза, он почувствовал себя самостоятельным, решил удовлетворить свое честолюбие и стремился создать себе положение среди общественности и помещиков. Будучи к тому же лентяем, он мало думал о хозяйстве. Он был, проще говоря, глупым и упрямым немцем,

втайне презиравшим все русское и особенно русских крестьян, которые отвечали ему ненавистью. Это и был тот самый управляющий, с которым в 1905 году саблыньские крестьяне хотели расправиться и чью квартиру они разгромили. На мой вопрос о непорядках в хозяйстве, он с видом какого-то превосходства отвечал мне, что он ведет «крымское хозяйство». Меня поражало, что моя мать не догадалась, что «саблыньское волнение» 1905 года было просто сведением счетов с ненавистным управляющим и что этим объяснялось, почему крестьяне пощадили экономию и усадьбу. Не мог понять я и того, что моя мать, несмотря на постоянную убыточность имения, продолжала доверять г-ну Зихману (так звали его) управление имением. Мое впечатление от происшествия 1905 года теперь вполне подтвердилось, и я с удовольствием немедленно расстался с Зихманом, если бы дело в Киевской губернии не занимало всего моего внимания. Только через восемь месяцев, когда я благополучно закончил это дело, мне удалось привести в исполнение мое намерение. Тем не менее, в те короткие промежутки времени, когда мне удавалось оставаться в Саблах, я, несмотря на оппозицию Зихмана, провел несколько наиболее срочных реформ в хозяйстве, давших впоследствии хорошие результаты.

Оставалось разрешить третий и, может быть, для меня главный минус — вопрос о моих отношениях с саблыньскими крестьянами. Мне казалось, что в этом вопросе я не должен проявлять поспешности и сначала стал проверять, как бы мимоходом, у низших служащих экономии, соответствует ли действительности «разбойная» репутация саблыньских крестьян. Ту же проверку я сделал и у местных властей. Оказалось, что никакой особой преступности среди крестьян не замечалось; они были такими же «разбойниками», как и крестьяне других сел и деревень Крымского полуострова, т. е. вернее никакими. В политическом отношении село Саблы ничем не выделялось и единственный «неблагонадежный элемент» Петро Гутенко, тот самый, который подвергся телесному наказанию в 1905 году, отличился только тем, что во время мобилизации прикинулся немым и целый год прекрасно играл свою роль. Ко времени моего приезда в Саблы к нему вернулся дар речи и он успешно занялся беспатентной торгов-

лей вином. Так рассеялся миф, возникший совершенно необоснованно в воображении соседей-помещиков.

Ненавидя Зихмана и встречая у него только надменность и резкость, саблыньские крестьяне в короткие промежутки моего пребывания в Саблах стали обращаться по своим делам прямо ко мне. Это дало мне возможность положить начало моей собственной манере разговоров с ними. Прежде всего я стал обращаться к ним на «вы», затем я не «выходил» к ним, а звал их в особую комнату, прозванную мною «деловым» кабинетом, в которой я принимал управляющего и вообще всех, кто имел ко мне дело. Никакого «ломания шапок» не могло быть уже потому, что крестьяне, входя в дом, естественно обнажали головы. На первых порах они, по моему приглашению, садясь на стул у моего письменного стола, очень смущались и начинали говорить в том же фальшивом тоне, о котором я говорил выше. Пришлось объяснить им, что если у них есть ко мне дело, то пусть говорят о нем просто, и что если это дело для меня является подходящим, то нет причин, чтобы я на него не пошел. Я разъяснил им, что времена крепостного права давно прошли, что я смотрю на них как на свободных, самостоятельных хозяев и что потому никакой заботы о них и благотворительности быть не может, отношения же между нами должны быть основаны на полном равенстве. Постепенно моя политика стала иметь успех, и фальшь, столь мне противная, совершенно исчезла из наших отношений. Произведенное же мною через 8 месяцев увольнение Зихмана и замена его молодым человеком, служившим раньше бухгалтером в имении нашего соседа в Киевской губернии и, кстати сказать, принадлежащим к партии социалистов-революционеров, произвело на них большое впечатление. Они увидели в этом акте не уступку им, а правильное понимание мной вреда пребывания на своем посту неспособного и ленивого управляющего.

Освободившись от Зихмана, я в сотрудничестве с моим новым молодым управляющим, ревностно принялся за улучшение ведения хозяйства в Саблах, в которых я проводил теперь все свое время, лишь на два дня еженедельно выезжая по делам службы в Красном Кресте в Севастополь. Работа

у нас прямо кипела в новой и легкой атмосфере. Уже очень скоро начали сказываться ее благоприятные результаты. Параллельно налаживались мои отношения с крестьянами. Они как-то незаметно, без лишних слов с обеих сторон, приобрели характер взаимного доверия и уважения. Я узнал, что крестьяне прозвали меня ласкательным, в их понимании, прозвищем «Давыдчук» и оценили мои хозяйственные мероприятия. Стал заходить ко мне и «неблагонадежный элемент», Петро Гутенко, который, получивши одинаковый с другими крестьянами прием, начал предлагать мне деловые комбинации, столь предосудительного характера, что о моем участии в них не могло быть и речи. Последнее обстоятельство нисколько не вызвало у него злобы ко мне, т. к. будучи далеко неглупым человеком, он хорошо понимал причину моего отказа.

Так прошло еще семь месяцев и наступил конец февраля (ст. ст.) 1917 года. В городе стали ходить слухи, что в Петрограде «что-то» произошло. В чем состояло это «что-то», никто не знал, но все догадывались, что оно имело чрезвычайный характер. Прежде всего перестали доходить до нас какие-либо известия из столицы и Москвы. Тамошние газеты и частная корреспонденция больше не доставлялись, а местная пресса не могла передавать даже слухи, т. к. оставшиеся на местах власти строго ее контролировали. Наконец, не помню точно в какой день, местная прогрессивная газета особым изданием сообщила об отречении государя. Помню, что эту газету привез мне из города один из служащих имения, ездивший за почтой. Как я ни был подготовлен к полученному мною известию, я все же был потрясен его огромностью. Помимо вполне понятного впечатления от исторического события, я не мог не оценить всю перемену, которую оно внесет в мою жизнь, и новые трудные задачи, подлежащие моему разрешению. Час или два я неподвижно просидел в своем кабинете, размышляя о создавшемся положении. Первые мои мысли были обращены к моей матери, живущей одной с дочерью моего старшего брата и ее гувернанткой в нашем Киевском имении в 300 верстах от Киева, в соседстве с крестьянами деревни Юрчиха, относившимися к ней далеко недружелюбно. Сознание невозможности помочь ей перенесло мои мысли на собственное мое положение. Передо мной встал вопрос, что мне делать? Покинуть ли усадьбу и уехать либо в Симферополь, либо в Севастополь

к месту моих служебных обязанностей, или же оставаться в Саблах? Для решения этого вопроса у меня не хватало одной уверенности: будут ли, в связи с происшедшей революцией, крестьяне немедленно убивать помещиков, громить усадьбы и грабить экономии или выжидать событий, сознавая, что их давнишние вожелания не могут теперь не осуществиться новым законным путем? Поразмыслив над этим вопросом, я решил остаться в Саблах и продолжать свою хозяйственную деятельность. Мне казалось, что бежать в такую минуту из имения было бы трусостью и полным отрицанием всего того, чего я добился в моих отношениях с крестьянами. Кроме того, понимая, что в России совершилось нечто, в корне изменившее всю ее структуру, и что это произошло в тяжелое для нее время войны, я считал, что даже самый незначительный человек, с его ограниченной сферой деятельности, обязан исполнить свой долг. Одним словом, войти в революцию и, препятствуя по мере сил и возможностей ее эксцессам, стараться, хотя бы на своем маленьком участке, сохранить ее экономическую силу. В связи с этим, я из двух лежащих на мне обязанностей — служебных в Севастополе и личных в Саблах — выбрал вторую, несмотря на отчаянные телеграммы, посылаемые мне моим помощником по Красному Кресту.

Мое предположение, что в Крыму крестьяне пока не тронут имений, вполне оправдалось. Лишь немногие помещики переехали в город, остальные продолжали жить в своих усадьбах, встречая лишь незначительные затруднения от соседей-крестьян. Так было и в Саблах. На следующий день по получении мною известия о революции, я поехал в город за известиями и вечером благополучно вернулся домой. Еще через день, рано утром, когда я только что проснулся и еще лежал в постели, мне доложили, что ко мне пришел полицейский стражник, живший в усадьбе и содержавшийся за счет бабушки, к которому я никакого отношения не имел. Допущенный в мою спальню, он сообщил мне, что к нему только что приходил Петро Гутенко и отнял у него винтовку, которую он отдал ему беспрепятственно, и что усадьба окружена крестьянами, решившими не выпускать меня из имения и расправиться со мной по дороге. Я ответил ему, что он поступил благоразумно, отдав винтовку, и что я ему совету в целях избежания опас-

ности, сняв полицейский мундир, явиться в воинское присутствие и заявить о своем желании вступить в армию. О мне же я просил его не беспокоиться, т. к. никакого страха я не испытываю и думаю, что ничего мне не угрожает, доказательством чему служит то, что Петро Гутенко, его посетивший, не зашел ко мне. В тот же день я опять был в городе и, так же спокойно поздно вернулся домой.

Так началась моя жизнь в деревне в революционное время. Продолжалась она до 10-го января 1918 года, когда мне пришлось при драматических условиях покинуть Саблы. За это время мне удалось наладить в новых условиях работу Красног Креста в Севастополе и принять участие в политической работе Кадетской партии, членом губернского комитета которой я был избран. Пришлось даже создать партийную газету, в которой я помещал свои статьи, и, наконец, организовать народный университет, на который я дал средства и в котором я читал лекции по финансовому праву. Эта новая деятельность меня очень увлекала и сблизила меня с широкими общественными кругами.

В деревне я продолжал вести хозяйство и производить улучшения, как будто ничего не произошло. Помимо того, что, как я указал выше, я считал для себя обязательным поддерживать, хоть в малом масштабе, экономику государства, мне не хотелось терять у крестьян репутацию хорошего хозяина и тем самым их уважение. Отношения наши продолжали носить вполне дружеский характер, и члены сельского совета часто приходили говорить со мной о событиях развивающейся и «углубляющейся» революции. В этих разговорах я старался удерживать их от проявления нетерпения и уговаривал их питать доверие к Временному Правительству и ожидать решения Учредительного Собрания, которое не может не удовлетворить их желаний. Говорил я им о необходимости всячески поддерживать порядок в тылу, чтобы продолжать войну с немцами, которые, в случае крушения фронта, неминуемо дойдут до Крыма и станут вводить свои порядки, ничего общего с только что завоеванными свободами не имеющие. Крестьяне меня слушали и, как будто, со мной соглашались. Иногда, однако, видимо под влиянием менее спокойных элементов, они задавали мне провокационные вопросы, касавшие

еся отношений между ними и имением. Вопросы эти были по большей части пустые, и на них было легко отвечать. Были вопросы и комического характера. Так, однажды крестьяне спросили меня, чья деревенская церковь, только что построенная бабушкой, помещичья или крестьянская? К моему удивлению, они вполне удовлетворились моим ответом, что, разумеется, церковь Божья.

Некоторую тревогу внушили мне начавшие появляться в деревне дезертиры из армии. Вели они себя шумно, много пили, по вечерам пели и кричали, но вооруженному нападению с их стороны подверглись лишь рыбы в Алме, которых они глушили привезенными с фронта ручными гранатами.

Наступила весна, а за ней и лето. Работы в садах и в поле шли своим чередом, спокойно и беспрепятственно. Наконец, пришло время выборов гласных волостного земства, учрежденного указом Временного Правительства. Идея этого земства, проектированного еще при старом режиме и носившего тогда название «всесловного», мне всегда нравилась, и я мечтал в нем участвовать. Мне казалось, что совместная работа интеллигентных сил с крестьянами, на сравнительно небольшой территории волости, будет очень полезна как в культурном, так и в хозяйственном отношении. Я верил, что крестьяне, составлявшие большинство избирателей, найдут в помещичьей среде достойных и честных людей. В обстановке же революции волостное земство могло заменить волостные советы, ставшие местом безответственной и вредной демагогии, и привлечь крестьян к серьезной и продуктивной работе. Мелкая земская единица представлялась мне низшей ступенью государственной деятельности, могущей приучить их искать удовлетворения личных интересов в общей пользе. Сознание, что в новых условиях мечта моя осуществиться не может, т. к. крестьяне вряд ли выберут в гласные помещика, меня огорчала. Каково же было мое удивление и какую я испытал гордость, когда вечером того дня, когда в деревне Саблы, составлявшей отдельный избирательный участок, было созвано сельское собрание, чтобы наметить кандидатов в гласные, ко мне явилась депутация от крестьян, показавшая мне составленный список пяти кандидатов, на третьем месте которого стояла моя фамилия. Я не скрыл от крестьян моего уди-

вленья и спросил их, почему их выбор остановился на мне. В своем ответе они указали мне, что в новом земстве им нужны образованные люди, хорошие хозяева, доказавшие свое к ним хорошее отношение, и что таким человеком, по их мнению, являюсь я. Кроме того, они вполне доверяли мне, зная, что я «денег не украду» и что при моем участии земство построит нужные им дороги, школы и больницы. Хотя я знал, что принятому относительно меня крестьянами решению не суждено осуществиться, т. к. Симферопольский городской совет наложит «вето» на мою кандидатуру, все же я испытал большое моральное удовлетворение. Мое убеждение о возможности установления доверия между крестьянами и помещиками и совместной общественной работе получило свое первое конкретное подтверждение. Как и следовало ожидать, на другой день приехал в Саблы член городского совета и пригласил крестьян снять мою кандидатуру.

Следующая моя официальная встреча с сельским советом произошла уже в сентябре, когда один из его членов принес мне приглашение на собрание волостного совета, созванное для заслушания циркуляра министра земледелия Чернова об обеспечении озимых посевов. Принесший мне повестку крестьянин сам отправлялся на собрание в качестве делегата сельского совета, и я пригласил его ехать со мной в моем экипаже. Когда мы прибыли на собрание, мы увидели, что президиум, уже заседавший за своим столом, состоял частью из крестьян и частью из сельской полуинтеллигенции, зал же был наполнен представителями сельских советов. Первый ряд стульев был отведен помещикам, которых оказалось кроме меня не более трех. По открытии собрания председатель огласил циркуляр министра, смысл которого заключался в том, что если кто-нибудь из помещиков, предвидя близкую аграрную реформу, не засеет озимых полей, то не использованная ими земля должна быть передана безвозмездно крестьянам для посева. Сейчас же по окончании чтения циркуляра слово взял один из присутствовавших агитаторов, произнесший горячую речь о том, что наконец помещичьи земли передаются даром в собственность крестьянам. После него я в свою очередь попросил слово и указал, что предшествующий оратор, очевидно, не понял циркуляра и попросил председателя вновь его огласить.

К моему удивлению, мое выступление не вызвало протеста и председатель исполнил мою просьбу. Затем начался опрос помещиков, сколько у каждого из них земли для озимых посевов и собираются ли они их засеять. Когда очередь дошла до меня, я заявил, что для меня вопрос этот является запоздалым, т. к. мои озимые посевы я закончил две недели назад и, что в целях выполнения мероприятия правительства, я прошу предоставить в мое пользование земли крестьян деревни Саблы в составе 800 десятин, из которых только 69 ими засеиваются. Впечатление от моего заявления было сильное. На мгновение в среде президиума и в зале воцарилось молчание, после которого председатель спросил саблынского делегата, так ли это, что тот откровенно подтвердил. Дело было в том, что мои соседи-крестьяне занимались извозным промыслом и вовсе не использовали своей земли под посевы. Конечно, мое требование даже не обсуждалось, чему я был очень рад, т. к. для засева крестьянской земли у меня не было семян, достать которые при введенной Временным Правительством хлебной монополии было невозможно.

Настроение в Крыму становилось все более и более тревожным, а после совершившегося большевистского переворота, в Севастополе водворилась советская власть, Крымский же полуостров однако этой власти еще не признал и в нем распоряжался самозванный татарский комитет, опиравшийся на расквартированный в Симферополе Крымский Татарский полк. Хотя жизнь стала, благодаря нервному напряжению, очень тяжелой и поневоле приходилось задумываться над тем, что будет дальше, я продолжал жить в Саблах, где дом был полон моими знакомыми и друзьями — беженцами из Петрограда. Бабушка со своими сестрами милосердия, в это тревожное время, жила в своей городской квартире.

В середине декабря для меня стало ясно, что крестьяне деревни Саблы, кроме особо состоятельных, стали большевиками. Председателем сельского совета был избран Петро Гутенко, не скрывавший своих политических убеждений, и весь состав совета последовал за ним. Большевизм проник к этому времени и в Экономию и даже в среду усадебной прислуги. Положение становилось для меня и для моих гостей опасным, но эксцессов со стороны крестьян пока не было. Новые

настроения сказались лишь в том, что крестьяне пытались воспрепятствовать вывозу из имения продаваемых продуктов, но и это, после мирного моего с ними разговора, прекратилось.

Наступило 1-ое января 1918 года. Накануне мы, жители усадьбы, желая друг от друга скрыть свое тревожное настроение, встретили новый год и пожелали друг другу тех благ, которые, как каждый из нас знал, не могли осуществиться. На другой день, в полдень, мне принесли записку от Петра Гутенко с приглашением прибыть на сельский сход. После некоторых колебаний я решился рискнуть и отправился на сход. Не желая быть одним в могущей создаться опасной обстановке, я взял с собой моего шофера, верного и преданного мне человека. Оба мы были вооружены револьверами, и я попросил шофера остаться у ворот сельского правления, дабы в случае необходимости прикрыть мое отступление. Жизнь свою я решил продать дорого. Когда мы подъехали к правлению, двор его был полон народа, среди которого не было заметно особого возбуждения. Встретил меня Петро Гутенко, пригласивший меня в помещение совета. Тут он сообщил мне, что Саблыньское сельское общество постановило социализировать имение Саблы и соседний с ним хутор графа Мордвинова и что он предлагает мне выйти с ним к сходу, чтобы совместно с ним установить подробности этого акта. Я ответил ему вопросом: почему крестьяне отказались от мысли просто разделить между собой эти имения, а хотят оставить их в общем своем владении на социалистических началах? На это Петро Гутенко мне возразил, что они прекрасно понимают, что такое культурное имение потеряет свою ценность при разделе. После этого мы оба вышли к сходу и остановились на крыльце правления.

Окинув быстрым взглядом собравшихся на дворе крестьян, я заметил направо от меня солдата небольшого роста опрятно одетого, державшего в руках свертки пропагандных афиш, на которых можно было прочесть отрывки фраз явно большевистского содержания. Теперь я знал, откуда придет, если не опасность для моей жизни, то во всяком случае словесное нападение. К последнему я был готов, решив заранее покончить трудное дело мирным, семейным путем, не допуская вмешательства чуждого элемента в лице присланного

из города агитатора. Выйдя на крыльцо, Петро Гутенко сказал собравшимся, что он сообщил мне о принятом ими решении и, повернувшись ко мне, спросил меня, согласен ли я с ним. Я ответил ему, что при создавшейся в России обстановке ни о каком праве не может быть и речи, а есть только сила, которая на стороне крестьян, а потому в моем согласии нет никакой необходимости. Указал я ему еще на то, что если уж говорить о праве, то я лично такового в вопросе о социализации имения не имею, т. к. я являюсь лишь управляющим моей матери, арендующей его у моей бабушки, договор с которой кончился накануне. «Ввиду всего этого, — заявил я, — пользуясь завоеванной всеми свободой, я через несколько дней уеду из имения, увозя с собой мои личные вещи, не имеющие сельскохозяйственного значения». Очевидно, недовольный мирным характером хода переговоров агитатор несколько раз старался их прервать провокационными возгласами, но каждый раз был остановлен Петром Гутенко. Когда я закончил свое слово, последний ответил мне, что бабушка достаточно пользовалась имением и в отсутствии моей матери я должен дать свое согласие на социализацию имения, которое необходимо крестьянам для сохранения дружеского характера наших отношений. «Кроме того», — сказал он, — «мы вовсе не желаем расставаться с Вами. Хотя мы понимаем, что вы свободны делать, что Вам угодно, но мы просим Вас остаться с нами, т. к. Вы нам очень нужны при организации социалистического хозяйства и его дальнейшей эксплуатации». Такое заявление Петра Гутенко переполнило чашу терпения агитатора, и он с пеной у рта стал кричать, что то, что происходит, есть насмешка над революцией и что никакой сговор с помещиком, кровопийцей и эксплуататором недопустим. Тут уж не один Петро Гутенко остановил его — из толпы послышались крики, что Давыдчук никогда ничьей крови не пил и что он нужен им, как хороший хозяин и честный, известный им человек. Когда порядок был восстановлен, я спросил Гутенко, каково, в случае моего согласия, будет мое положение в управлении социалистического хозяйства и на какие средства я буду жить. «Вы будете, — ответил мне Петро Гутенко, — членом совета создающегося хозяйства и его председателем. Вы будете управлять этим хозяйством, жить в Вашей усадьбе и пользоваться по-

прежнему продуктами экономии. Что же касается денежного вознаграждения, то его Вы можете назначить сами». Я не сразу ответил на слова Петра Гутенко.

Нечего и говорить, что желание крестьян привлечь меня — помещика и барина — к сотрудничеству с ними в обстановке восторжествовавшей революции не могло не поразить меня глубоко. Это было доказательством того, что все мои размышления об отношениях между крестьянами и помещиками были верны. Я одержал победу, доставившую мне большое моральное удовлетворение, но от этого до участия в создании сельскохозяйственной коммуны было очень далеко. Никогда не быв социалистом, а тем более коммунистом, я не мог решиться на участие в большевистском начинании. Для меня было ясно, что социализация нашего имения было делом заседавших в Симферополе большевиков, желавших сохранить культурное имение как будущий совхоз. Это было обманом, имеющим целью предупредить разграбление хозяйства крестьянами и раздел между ними земли. Присутствие на сходе агитатора это подтверждало. Не предусмотрели большевики одного — моей роли в этом деле. По странному стечению обстоятельств, мой интерес совпал с большевистским, с той только разницей, что не веря, как все тогда, в долговечность советской власти, я видел в социализации Саблов при моем участии единственную возможность сохранить их ценность для моей семьи.

Все эти мысли быстро промелькнули в моей голове, и я согласился на предложение крестьян. После этого я счел долгом объяснить крестьянам, что они, конечно, не знают, что собой представляет социалистическое хозяйство или, как я его называл, сельскохозяйственная коммуна. Я указал им на то, что в такой коммуне нет места для частной собственности, а потому отныне вся их земля, наравне с нашей и Мордвиновской, станет коммунальной. Та же участь постигнет и их инвентарь как живой, так и мертвый. Все члены коммуны обязаны будут без вознаграждения работать по очереди определенное число дней в году. «Впрочем», — добавил я, — «я напишу проект устава коммуны, который будет утвержден советом».

Как новый член сельского совета, я тут же был приглашен на его заседание, на котором обсуждались детали при-

нятого на сходе решения. Между прочим мое годовое жалование было определено в 18 тысяч рублей и меня просили пригласить на жительство в Саблы мою мать. На прощание Петром Гутенко сказал мне: «Я знал, что Вы согласитесь остаться с нами, недаром Ваши предки были сосланы за правду в Сибирь». Упоминание Петром Гутенко о моих предках-декабристах покорило меня, для меня это было их профанацией.

В тот же день я принялся за составление устава «Саблынской Сельскохозяйственной Коммуны» и скоро почти закончил его, когда сельский совет уведомил меня, что осуществление проекта отложено до конца месяца.

10-го января Крымский полуостров был занят севастопольскими матросами и рабочими, расстреливавшими на месте всех без разбора помещиков, не успевших покинуть свои усадьбы. Мне и моим удалось уехать из Саблов в последнюю минуту, когда вооруженный народ был уже в моем парке.

В Крыму установилась советская власть, скоро объявившая Саблы совхозом и доверившая управление ими моему управляющему. По дошедшим до меня сведениям, Саблы и по настоящее время остаются в государственном управлении, в котором крестьяне никакого участия не имеют.



ВСТРЕЧА

Над Севастопольской бухтой стояло солнечное свежее утро 26-го ноября 1918 года, когда в нее медленно входила эскадра из более чем ста кораблей. Это был соединенный флот победоносных союзников, только что подписавших перемирие с немцами. В первый раз после четырехлетней войны, в которой Россия пролила столько крови рядом с победителями, корабли их входили в русскую военную гавань. Но ни одного салютного выстрела не было сделано с них. Салютовать было некому и нечему. России не было, и флаг ее нигде не развевался: ни над крепостью, ни над остатками когда-то русского флота. Над русскими кораблями реяли «жовто-блакитные» украинские флаги, а береговые батареи давно были разоружены немцами, занимавшими крепость. Это не был визит России, а военная демонстрация силы перед немцами и их союзниками украинцами. Командовавший пришедшей эскадрой адмирал не съехал на берег, чтобы, по международному обычаю, посетить командира русского флота и последний не поехал к нему. Вместо этого на небольшой пристани, рядом с Графской, стояли в ожидании минуты, когда флагманский дредноут «Суперб» бросит якорь, две небольшие группы: — одна состоявшая из двух военных, командира небольшого отряда Добровольческой Армии, расквартированного в Крыму, и его начальника штаба, другая — из 10-ти человек, членов Крымского Краевого правительства и пишущего эти строки, исполнявшего обязанности «начальника протокола».

Крымское Краевое правительство было образовано 16-го ноября 1918 г., т. е. за десять дней до описываемого утра, чтобы заместить ушедшего в отставку после заключения союзниками перемирия с немцами самостийно-татарского ген.

Сулькевича, поддерживаемого ими. Сначала, еще при немцах, до своего прихода к власти, оно имело целью предотвратить отделение Крыма от России и ввести в нем демократическую форму правления. Затем, когда немцы стали готовиться к уходу, перед ними встала другая задача — заполнить пустое место и установить хоть какую-нибудь власть в крае. Положение его было тяжелое. С уходом немцев в Крыму не оставалось никакой вооруженной силы, даже полиции для поддержания порядка и оказания сопротивления местным большевикам, могущим поднять восстание. На просьбу о помощи нового правительства, ген. Деникин ответил, что никакой значительной воинской части он в настоящее время уделить не в состоянии и что может лишь прислать незначительный отряд для «психологического эффекта». Оставалась одна надежда на союзников, и главным образом с этой целью правительство встречало союзный флот.

Мало было надежд на успех этого предприятия. Хотя правительство опиралось на демократические силы края, представленные губернским земским собранием, избранным уже после февральской революции, в которое входили представители всех главных политических партий, мало кто за пределами Крыма знал об его существовании. Правда, кроме местных общественных деятелей, в него входили такие величины, как С. С. Крым (председатель, кадет, бывший член Государственного Совета по выборам от Таврического Земства), М. М. Винавер (министр внешних сношений, кадет, бывший член Государственной Думы) и В. Д. Набоков (министр юстиции, тоже кадет и член Государственной Думы). Но если эти имена много значили для края и даже для России, какое они могли произвести впечатление на английского адмирала, имевшего о ней смутное представление. Пушущий эти строки еще за несколько дней до прихода эскадры, по просьбе С. С. Крыма, поехал в Севастополь, чтобы разузнать там, хотя бы через немцев или украинского командующего флотом, о намерениях союзников. Никаких сведений ни с той, ни с другой стороны получить ему не удалось, и миссия его могла бы закончиться неудачей, если бы как-то утром он не увидел входящий на рейд английский миноносец. Сошедшие с него офицеры отправились прямо в гостиницу Кист к жившему там немецкому адмиралу,

чтобы, как выяснилось впоследствии, сговориться с ним об условиях капитуляции. Офицеров этих удалось остановить при выходе, и «начальник протокола» поспешил сообщить им о существовании Крымского правительства, на что последовал их вопрос: «Большевистское?» Удалось в кратких словах объяснить им, какое правительство правит Крымом, и просить их сообщить об этом их командованию в Константинополе. На это они возразили, что 26-го ноября в Севастополь прибудет, под командой адмирала Колторпа, союзная эскадра и тогда все выяснится. Так как это было то, в чем состояло поручение, то оставалось только послать телеграмму правительству и ждать дальнейших распоряжений. Таковые не замедлили: С. С. Крым просил приготовить все для достойной встречи.

Для «начальника протокола» поручение это было нелегким. Он понимал, какие трудности таились в организации встречи представителей русской общечественности, оказавшихся в первый для них раз на ролях власти, с представителями союзного командования, к тому же еще морского и английского. С одной стороны было отрицание всякой торжественности и этикета, с другой — строгое и традиционное отношение к ним. То, что казалось для русских политических деятелей смешной и ненужной «китайщиной», было для английских моряков своего рода священнодействием. Всякое нарушение этого этикета, даже в мелочах, могло не только уронить в глазах иностранцев престиж Крымского правительства, но и скомпрометировать успех его предприятия. Все это осложнялось еще тем, что Крымское правительство в Севастополе было чужим, никем не признаваемым, а для украинского морского командования даже враждебным. Не пользовалось оно симпатиями и со стороны Добровольческой Армии, хотя и признававшей его, но считавшей его ненужным.

Самым легким было приготовить для прибывающих членов правительства помещение и встретить их на вокзале. Гораздо труднее было устроить их переправу с пристани на флагманский корабль. Никким образом нельзя было допустить, чтобы Крымское правительство отправилось на этот корабль на ялике с одним гребцом без кормового флага. В этих условиях ему пришлось бы пристать к левому борту и не получить официального приема, как группа частных лиц.

Особенно важен был вопрос о флаге. Подойти к кораблю под «жовто-блакитным» флагом значило-бы быть вовсе неприкрытым: англичане не признавали «самостийной» Украины. Нельзя было поднять и бело-сине-красный флаг: англичане знали его как флаг коммерческого русского флота и поставили бы пристать к левому борту. Оставался один флаг, к которому, как это знал «начальник протокола», английские моряки отнесутся с полным уважением, а именно: Андреевский. Но тут возникали два сомнения: одно — сохранились ли после революции во флоте такие флаги, и другое, рискнут ли члены правительства идти под ним. Спрашивать указания у С. С. Крыма было бесполезно и поздно, ведь он назначил пишущего эти строки «начальником протокола» именно потому, что сам не разбирался в этих вопросах и полагал, что тот, по своей дореволюционной деятельности с ними вполне был знаком.

Прежде всего надо было во что бы то ни стало достать паровой военно-морской катер. С этой целью «начальник протокола» отправился к командующему «украинским флотом» адмиралу Черниловскому-Соколу, которого он хорошо знал, и не стеснясь попросил его дать Крымскому правительству катер с командой для визита английскому адмиралу. Адмирал, выслушав его, сказал, что он никак этого сделать не может, но, входя в его затруднительное положение, предоставит катер лично ему; соответствующее распоряжение будет дано им командорам катеров. На следующее утро «начальник протокола», еще задолго до прибытия союзной эскадры, отправился на пристань, у которой были отшвартованы катера и, выбрав один из них, спросил командора, есть ли у него Андреевский флаг? Получив утвердительный ответ, он, дав на чай, попросил командора поднять этот флаг, как только катер с ним и приведенными им лицами отчалит от берега. Заручившись согласием командора и увидев, что союзная эскадра входит в бухту, «начальник протокола» отправился за членами правительства и, приведя на пристань, усадил на катер. Когда катер отошел на некоторое расстояние от пристани, он дал знак командору и андреевский флаг тихо взвился на корме. Впечатление произведенное этим на членов правительства было неодинаковое. Входившие в его состав социалисты, при-

няв равнодушное выражение лица, молча отвернулись; С. С. Крым, М. М. Винавер и Н. Н. Богданов снисходительно улыбнулись, только В. Д. Набоков, сидевший до тех пор с озабоченным лицом, просветленный поднялся со своего места и молча пожал руку «начальнику протокола». Катер подошел к правому борту, и наверху, у самого трапа, уже стояли для официальной встречи два мичмана с подозрными трубами в руках. Когда С. С. Крым, шедший впереди, собирался вступить на борт корабля, «начальник протокола» успел крикнуть ему: «Соломон Самойлович, шляпу!» Мичманы отдали честь, и члены правительства проследовали к каюте адмирала.

Дежуривший у дверей каюты флагманский офицер спросил у С. С. Крыма, о ком ему надо доложить, и затем ввел в нее членов правительства. У письменного стола в глубине каюты стоял небольшого роста, полный человек в адмиральской форме — это был адмирал Колторп. Выслушав приветствие С. С. Крыма, он подал ему руку и попросил познакомить с остальными членами правительства, после чего С. С. Крым пригласил его на завтрак на берегу. С любезной улыбкой адмирал ответил, что он, к сожалению, не может принять приглашения, т. к. единственной властью на Юге России, признанной его правительством, является власть ген. Деникина. Наступила минута неловкого молчания, и затем М. М. Винавер, переглянувшись с С. С. Крымом, прочел написанную им по-французски речь, предназначавшуюся для завтрака. Адмирал выслушал речь и, не отвечая на нее, собирался уже проститься, когда произошло нечто, не предусмотренное протоколом.

Чувство унижения и стыда охватило всех, но особенно В. Д. Набокова. На его лице было написано страдание. Под конец речи М. М. Винавера он отделился от группы членов правительства и стал сосредоточенно смотреть в иллюминатор. Вдруг он повернулся и быстро подошел к адмиралу. На прекрасном английском языке он стал говорить ему о том, как во время войны он с группой членов Государственной Думы посетил Англию и был принят вместе с другими на кораблях королевского флота. Он называл корабли, которые ему удалось посетить и фамилии командиров, его принимавших. Адмирал оживился и с видимым удовольствием стал припоминать под-

робности этой встречи. Беседа могла бы затянуться надолго, если бы вдруг не открылась дверь в каюту и вестовой не возгласил бы: «Lunch, Sir!» Аудиенция была кончена и флагманский офицер проводил правительство до трапа, у которого стояли те же мичмана, опять отдавшие ему честь.



ПРАВНУК ДЕКАБРИСТОВ

Мне не дано было лично знать моих двух прадедов-декабристов, Василия Львовича Давыдова и Сергея Петровича Трубецкого. Я родился уже после их смерти. Но я провел свое детство и юность в Каменке, имении Давыдовых, где в двадцатых годах прошлого столетия была Управа Южного Тайного Общества, председателем которой был мой прадед. В Каменке жила еще его вдова, моя прабабка, и дети ее, рожденные в Сибири, в ссылке, куда она добровольно поехала за мужем. Жил там и сын ее, мой дед, с женой, дочерью декабриста Трубецкого.

Много уже было написано о декабристах и о Каменке, но нигде не найти того, что рассказывали мне эти живые свидетели. Ведь для них участники заговора были либо близкими знакомыми, друзьями, либо родными. Они знали не только их думы, но и их чувства. Они могли в своих рассказах передать то, чем горели их сердца и что было предметом их стремлений. Рассказы их были так живы и ярки, что сейчас, когда я говорю об этом далеком прошлом, мне кажется, что я сам был в Каменке, когда там собирались члены Тайных Обществ, среди которых были Волконский, Муравьев-Апостол, Якушкин, Поджио, Юшневский и другие, и Пестель читал написанную им «Русскую Правду», то есть проект конституции. Всех их хорошо знала и помнила моя прабабушка.

Вспоминая сейчас о ней и о ее детях, моих дядях и тетках, я вновь переживаю те теплые чувства, которые они оставили во мне на всю мою жизнь. Такой высокой нравственной чистоты, незлобивости и любви к ближнему, как у них, мне никогда больше не пришлось встретить ни у кого. Сохранившийся же навсегда в семьях Давыдовых и Трубецких культ

памяти декабристов рано убедил меня в том, что эти моральные качества отличали всю их среду. Из того же, что я слышал от прабабушки, я понял, что декабристов вдохновляла на подвиг глубокая любовь к ближним, к человеку, и стремление к его благу. Благо это они не представляли себе вне полной свободы его личности. К этому убеждению они пришли путем знакомства с тем, что тогда происходило в Европе, за пределами нашей страны. То было время, когда там, после векового порабощения народа, всходило солнце свободы. Декабристы принадлежали к самому образованному кругу тогдашнего общества и могли читать все, что писалось тогда на Западе о свободе и о новом государственном строе, способном эту свободу обеспечить. Будучи горячими патриотами и любя свой народ, они желали для него и для своего отечества тех благ, которыми уже пользовались западные народы. Отечественная война 1812 года и изгнание из нашей страны Наполеона, совершенное нашим народом, еще более укрепили их убеждения. Принимая участие в этой войне и деля с солдатами все ее невзгоды, они оценили высокие душевные качества русского народа и осознали, чего он достоин. Последовавшие за этой войной заграничные походы нашей армии, в которых тоже участвовали будущие декабристы, дали им возможность воочию узнать, какими благами пользовались и как жили люди в странах, где была осуществлена личная свобода человека. Это породило в них чувство гражданского долга. Долг этот они видели в том, что они обязаны добиться для своей страны и для своего народа, проявившего столько доблести, возможности пользования теми же благами.

Они ждали, что по окончании войн, в награду за все им совершенное, народ получит от царя освобождение от рабского гнета и права гражданства. Случилось другое. Царь, боясь за свое самодержавие, еще усилил этот гнет. Он отдал страну во власть своему временщику Аракчееву, который стал настоящим ее диктатором. С содроганием вспоминала прабабушка о том, как правил нашей страной этот бездушный и жестокий человек. У него была одна цель: во что бы то ни стало и всяческими средствами сохранить незыблемым самодержавный строй. Ему мало было ужасов крепостного права, он добавил к нему кошмар военных поселений. Если крепостной

крестьянин, будучи рабом помещика, все же пользовался в своем обиходе некоторой свободой, то военный поселянин был ее совершенно лишен. Но не только крестьяне испытывали на себе гнет тирании, ей были подвержены все классы общества. Все население должно было действовать и мыслить согласно воле правительства. Правительство следило за всем и вмешивалось во все проявления общественной жизни.

Такое положение не могло не вызвать возмущения у свободомыслящих людей, какими были будущие декабристы. Убедившись в том, что явными средствами нельзя добиться облегчения участи народа, они вступили на путь заговора.

Так родились Тайные Общества.

Моя бабушка, Елизавета Сергеевна Давыдова, была дочерью декабриста Сергея Петровича Трубецкого и жены его Екатерины Ивановны, первой из жен декабристов, поехавших за мужьями в ссылку. Я хорошо знал ее, она умерла в тысяча девятьсот девятнадцатом году. Родилась она в Сибири и, по окончании института в Иркутске, вышла там замуж за моего деда Давыдова, сына декабриста. Первоначальное образование она получила от отца. Он говорил ей о том, что привело его к участию в заговоре, об активной его роли в образовании и деятельности Тайных Обществ и, главным образом, о том, к чему стремились декабристы. Бабушка твердо помнила заветы отца и свято чтит его память. О многом, что она слышала от него, она рассказывала мне.

Мой прадед говорил ей, как он был возмущен, вернувшись в тысяча восемьсот восемнадцатом году из Парижа, где он жил среди свободного народа, царящими на родине порядками, всеобщим бесправием, рабством и явным неуважением к человеку. Своими мыслями он делился с товарищами, офицерами Семеновского полка. Беседы эти привели их к мысли о создании Тайного Общества, целью которого было уничтожение всех этих отрицательных явлений. Мысль эта после ряда видоизменений и привела позже к образованию двух Тайных Обществ — Северного в Петербурге и Южного в Тульчине.

В основе мировоззрения членов Тайных Обществ лежали два чувства: любовь к человеку и любовь к свободе. Оба проекта Конституции, выработанные этими Обществами, —

проект Никиты Муравьева и «Русская Правда» Пестеля, — всецело выражают эти чувства. «Личная свобода, — писал Пестель, — есть первое и важнейшее право каждого гражданина и священнейшая обязанность каждого правительства». Мой прадед, говоря дочери об этом утверждении Пестеля, объяснял ей, в чем, по мнению декабристов, — в каких главных правах человека и гражданина — должна была заключаться личная свобода.

Разумеется, в то время прежде всего это означало освобождение крестьян от крепостной зависимости. Затем всякий свободный гражданин должен был беспрепятственно пользоваться правом свободно выражать как устно, так и письменно свои мнения и свои мысли, то есть обладать свободой мнений и слова. В проектах Конституции указывалось, что: «За мнения и правила, в сочинении изложенные, отвечает каждый писатель на основании правил об обучении и проповедовании против закона и чистой нравственности и судится общим судебным порядком». Далее, свободный человек никоим образом не мог быть стеснен в своей вере и в своей религии, то есть должен был обладать свободой совести. В проектах Конституции было сказано, что «Свобода религии предоставляется полная по совести и чувствам своим, лишь бы только не были нарушаемы законы природы и нравственности». Наряду с этим все граждане могли свободно выбирать род своих занятий, передвигаться внутри страны и выезжать за ее пределы. В основе всех этих прав должно было быть совершенное равенство всех людей перед законом. Соответственно с этим должны были быть уничтожены все сословные и другие привилегии. Наконец, право собственности объявлялось священным и неприкосновенным.

Однако одного получения гражданами всех этих прав было мало. Надо было оградить эти права от возможных покушений на них, сделать так, чтобы никто не мог нарушить их ни силой, ни обманом. Только демократический государственный строй, или, как тогда говорили, народоправство, могло служить защитой против таких покушений. Пестель говорил: «Суверенная власть принадлежит народу; Русский народ свободен и независим; источник верховной власти есть народ, которому принадлежит исключительное право делать основные постановления для самого себя. Власть свою народ осуществ-

вляет через свободно выбранных им представителей». Во избежание же возможного произвола со стороны представителей власти, личность гражданина объявлялась неприкосновенной. Для охраны неприкосновенности личности устанавливались особые законы, нарушители коих карались судом. Так, согласно проектам Конституций, никто не мог быть лишен свободы иначе как законным образом и законным порядком. В дом гражданина никто не мог войти без его согласия, а взят под стражу он мог быть только на основании письменного предписания власти с указанием причин. И, наконец, никто не мог быть судим иным порядком, как обыкновенным судом присяжных, и в том именно месте, которое законом определено и назначено; никаких чрезвычайных судов и комиссий не должно было быть.

Вот какими законами хотели декабристы обеспечить счастье и благоденствие своего народа и своего отечества.

Прабабушка моя, Александра Ивановна Давыдова, вдова декабриста, родилась в тысяча восемьсот первом году и скончалась, девяносто двух лет от роду, в тысяча восемьсот девяносто третьем году. Свою молодость, до восемьсот двадцать пятого года, она провела в Каменке и хорошо помнила, как все то, что происходило там перед восстанием декабристов, так и то, о чем в то время говорили и думали в русском обществе. Она любила делиться своими воспоминаниями со своими внуками и правнуками. Помню ее, маленькую старушку со сморщенным лицом, сидящую в глубоком кресле около круглого стола, за которым когда-то учился мой прадед. Сохранив до конца своих дней светлый ум и изумительную память, она говорила нам, детям и юношам, о тех вопросах, которые волновали людей, живших в начале прошлого столетия, и привлекали особое внимание членов Тайных Обществ. Среди этих вопросов первым, по ее словам, был вопрос об освобождении крестьян от крепостной зависимости. Как ее муж, так и его товарищи по Тайному Обществу страстно любили свободу. Естественно, что для них крепостное рабство являлось недопустимым явлением, подлежащим, в случае осуществления их замыслов, упразднению в первую очередь. Еще задолго до восемьсот двадцать пятого года они всячески старались при-

влечь внимание общества к этому вопросу и вызвать в нем сочувствие к своей идее. Попытки их в этом направлении не были безуспешны. Освобождение крестьян стало, наконец, вопросом столь назревшим, что в сущности его сомневалась лишь небольшая часть тогдашнего общества. Мера эта была только что осуществлена как в Европе, так и в соседней Польше и даже в принадлежащих тогда России Прибалтийских губерниях. Декабристы и сторонники освобождения приводили в пользу его прежде всего соображения нравственного характера. Они указывали на недопустимость существования права собственности на людей, как на скотов. Они считали возмутительным право помещиков распоряжаться своими крестьянами, как вещами, продавать их оптом и в розницу, разрушать и развращать их семьи, грабить их и истязать. С хозяйственной точки зрения, они находили, что крепостное право является невыгодным, так как рабский труд менее производительен, чем платный, свободный.

Несмотря на возражения влиятельных в правительстве и в его окружении лиц, веяния в пользу освобождения все увеличивались. Особенно усилились они после Отечественной войны тысяча восемьсот двенадцатого года, в которой крестьяне как сражавшиеся в армии, так и бывшие партизанами или просто защищавшие свои избы, проявили высшую степень патриотизма. Именно крестьяне были действительными победителями, изгнавшими Наполеона и его полчища из России. Крестьяне не послушались соблазнительных обещаний свободы Наполеона и умирали за свою страну, несмотря на свое рабское состояние и угнетение правительством и помещиками. Они умирали не за царя, а за отечество. Тогдашнее правительство этого не поняло и, боясь за свою власть, после войны еще более усилило свой гнет. Даже разговоры об освобождении крестьян стали считаться государственным преступлением. Понятно, что для членов Тайных Обществ освобождение крестьян стало основной целью их устремлений. В этом основном вопросе не было разногласия как между Северным и Южным Обществами, так и между отдельными их членами. Мнения декабристов расходились только в вопросе о наделении крестьян землей, вопросе, тесно связанном с их освобождением. Объяснялось это тем, что самое освобождение могло быть проведено быстро, без особых осложнений в хозяйствен-

ной жизни страны, тогда как раздел земли между крестьянами требовал довольно продолжительного времени и значительно менял эту жизнь. Некоторые полагали, что по нравственным соображениям нельзя откладывать разрешение столь насущного вопроса, как освобождение крестьян. Ссылаясь на пример Англии, Польши и Прибалтийских губерний, они предлагали крестьянам немедленно в собственность лишь их усадебные участки, скот и сельскохозяйственные орудия. Другие, и их было большинство, находили, что такое решение было бы несправедливо, так как крестьяне, платившие большую часть государственных налогов, должны были обладать собственным доходным имуществом. Они настаивали на том, чтобы при освобождении крестьяне получили в полную собственность часть помещичьей земли. Были и такие, как Пестель, которые говорили, что земля должна принадлежать государству и лишь предоставляться в пользование крестьянам на общинном начале. Что касается мнения самих крестьян, то они твердо стояли на том, что земля должна быть передана им в полную собственность. Примером этому может служить случай с декабристом Якушкиным, который, желая немедленно прекратить рабское состояние своих крестьян, предложил им свободу без земельных наделов. Крестьяне отказались от свободы без земли. В конце концов, мысль об освобождении крестьян с наделением их землей в полную собственность была принята большинством декабристов и включена в проект Конституции Никиты Муравьева.

Настроения крепостных крестьян тогдашнего времени ярко были выражены в песне, написанной Рылеевым и распевавшейся солдатами:

«Ах, тошно мне,
И в родной стороне
Все в неволе,
В тяжкой доле
Видно век вековать.
Долго ль русский народ
Будет рухлядью господ
И людьми,
Как скотами,
Долго ль будут торговать?»

До ссылки моего прадеда, декабриста Давыдова, в Сибирь, его жена, моя прабабка, Александра Ивановна, жила с мужем

в Каменке, Киевской губернии. Уехала она за мужем в ссылку в тысяча восемьсот двадцать седьмом году двадцати шести лет от роду и могла поэтому не только со слов мужа, но и самостоятельно составить себе мнение о порядках, царивших в нашей стране во время ее молодости. Вернулась она в Россию уже по воцарении императора Александра II-го накануне реформ, значительно улучшивших условия жизни нашего народа. Муж ее, мой прадед, не дожил до амнистии и скончался в Красноярске, в Сибири. Сама она дожила до девяноста двухлетнего возраста, и мне посчастливилось хорошо ее знать и слышать от нее о виденном и пережитом ею за ее долгую жизнь.

По ее словам, заговор декабристов, принявший форму двух Тайных Обществ — Северного и Южного — явился предвестником полного преобразования политической и социальной жизни нашей страны. Заговор окончился неудачей, но идеи декабристов не умерли.

Судя по рассказам моей прабабушки, порядок в нашей стране, царивший во время ее молодости, носил все признаки диктатуры или полицейского государства. Люди не пользовались никакими свободами: ни политическими, ни бытовыми. Государство взяло на себя руководство всеми видами человеческой деятельности; оно вмешивалось в религиозную жизнь своих подданных, в их частное хозяйство, определяло их образ жизни, направляло их мнения и контролировало выражение этих мнений как устное, так и печатное. Иными словами, все человеческие идеи поглощались идеей государственности. Человеческая личность не имела для власти никакой цены, она была лишь предметом, которым власть пользовалась для своих целей. Декабристы хотели заменить этот полицейский строй правовым строем, при котором идея государственности ограничивалась бы законом в пользу свободы самоценной личности и ее прав. Человек вместе со свободой приобретает права, охраняемые законом. Стремясь установить в нашей стране такой порядок, декабристы вырабатывали меры могущие их обеспечить. В этих целях они составляли проекты конституций, в которых устанавливались формы народоправства, меры охраны прав человека и гражданина и неприкосновенности личности и, наконец, то, в чем наиболее ярко выражается идея правового государства.

Судопроизводство в нашей стране, как уголовное, так и гражданское, в то время вполне отражало царивший в ней полицейский строй. Оно было построено на следственном начале, при котором обвиняемый был предметом исследования, подлежащим самым суровым опытам во имя государственного интереса. Он подвергался длительному подследственному задержанию, пыткам и всяческого рода истязаниям, имевшим целью добиться от него признания. Судопроизводство облечено было тайной, и подсудимый даже не присутствовал на нем. Суд выносил свои решения на основании докладов, составленных в его канцелярии. Он не обладал независимостью и всецело зависел от административной власти и действовал ей в угоду. В связи с этим власть могла сменять судей, не соблюдавших ее интересов. Такое положение, с одной стороны, делало из суда политическое орудие власти, а с другой — порождало подкупность и лицеприятие. Таковым был суд на нашей родине до судебной реформы тысяча восемьсот шестьдесят третьего года. Недаром сказал про него поэт: «В судах Россия черна неправдой черной».

Декабристы понимали, что самый совершенный суд при существовании полицейского строя, то есть царского самодержавия, единоличной, сословной или партийной диктатуры, останется мертвой буквой, видимостью и обманом. Декабристы ставили судебную реформу в тесную связь с задуманными ими общими государственными преобразованиями. Новый суд должен был отражать новый правовой порядок.

В основу своих судебных проектов декабристы клали одну главную мысль — состязательный процесс. Этот процесс должен был устанавливать факт виновности подсудимого путем его уличения. Обвиняемый из предмета исследования должен был стать стороной в споре с обвинением, стремившимся его уличить. Ему должно было быть предоставлено право защиты, из которых главными были свидетельские показания. Тайна судебного процесса должна была быть совершенно упразднена. Подсудимый обязан был лично присутствовать на суде, который должен был происходить открыто, в присутствии публики, и в котором все производство производилось устно, что позволяло всем составить себе убеждение в виновности или правоте подсудимого. Самое ре-

шение о виновности должно было выноситься не судьями, назначенными правительством, а присяжными заседателями по совести и внутреннему убеждению, то есть свободно и вне какого-либо внешнего давления. Этим обеспечивались гласность, скорость, правда и милость суда. Но для того, чтобы эти формы судопроизводства действительно обеспечивали судебную правду, необходимо было сделать так, чтобы сами судьи были независимы от власти, то-есть, чтобы она не могла влиять на их решения. Для этого, по проектам декабристов, должно было быть установлено строгое разграничение между властями судебной и административной и связанная с этим несменяемость судей. Защита интересов обвиняемого в уголовном процессе и тяжущихся сторон в гражданском должна была осуществляться адвокатами или, как их называли позже, присяжными поверенными, свободными в отправлении своей профессиональной деятельности.

Прабабушка моя дожила до частичного осуществления идей декабристов и присутствовала при освобождении крестьян и введении Судебных Уставов Александра II в тысяча восемьсот шестьдесят третьем году. К счастью для нее, она не дожила до дня, когда в пожаре октябрьского переворота сгорели уставы тысяча восемьсот шестьдесят третьего года, как сгорела надпись на фронтоне Петроградского Окружного Суда: «ПРАВДА И МИЛОСТЬ ДА ЦАРСТВУЮТ В СУДАХ РОССИИ».

Мысли декабристов о замене существовавшего в нашей стране в начале прошлого столетия самодержавного полицейского строя правовым выразились в составленных ими проектах конституций. Таких проектов было несколько, но главных было два: Никиты Муравьева, члена «Северного Тайного Общества», и «Русская Правда» Пестеля, члена «Южного Общества». В составлении первого принял близкое участие мой прадед Трубецкой, Пестелю же помогал в его работе другой мой прадед, Давыдов. Об этих проектах я слышал как от дочери Трубецкого, моей бабушки Елизаветы Сергеевны, так и от моей прабабушки Александры Ивановны Давыдовой. Обе они говорили мне о затруднениях, которые авторы проектов встретили на пути осуществления своей задачи. Как и

остальные члены Тайных Обществ, они стремились к наиболее быстрому введению правого порядка в нашей стране, то есть дарованию нашему народу полной свободы и народоправства. Однако при этом они хотели избежать насильственной смены режима, то есть революции, влекущей за собой кровопролитие, междоусобицу и большие разрушения, а с другой стороны — находили необходимым обеспечить за новым строем наибольшую устойчивость и оберечь его от покушений со стороны лиц, сословий или партий, могущих захватить власть и тем свести все реформы к одной видимости. Избегать революции можно было только путем сохранения в нашей стране императорской власти, ограниченной конституцией, что казалось возможным ввиду имевшейся у императора Александра I склонности к либерализму. Тем не менее большинство членов Тайных Обществ не соглашались на такое решение вопроса и предпочитали ввести в нашей стране республиканский строй, единственную форму правления, дающую самому народу всю полноту власти. Пестель, стоя за это решение вопроса, говорил, что государственное управление, где во главе стоит одно лицо, поведет к деспотизму, несмотря ни на какие ограничения. Он основывал свое мнение на исторических примерах и был настолько прав в своем убеждении, что оказался даже пророком. Мы видим сейчас, что в государствах, именующихся демократиями, в которых на бумаге существуют конституции, в действительности царит деспотическая единоличная власть или партийная диктатура разного рода «вождей», то есть худшая форма полицейского строя. В конце концов, мнение Пестеля владело среди членов Тайных Обществ.

Свободомыслие декабристов, образовавшееся у них еще в молодости, на родной почве, особенно развилось и окрепло в бытность их на Западе, во время заграничных походов наших армий в тысяча восемьсот тринадцатом и восемьсот четырнадцатом годах. Там они воочию увидели, что может дать народу истинное народоправство. Они могли сравнить отсталость нашей страны в культурном и хозяйственном отношении с прогрессом и высоким уровнем жизни свободных народов и еще более убедились в необходимости скорой перемены формы правления на своей родине.

Оба проекта конституций — Никиты Муравьева и Пестеля — в значительной своей части составлены по примеру западных. Никита Муравьев в своем проекте говорит: «Суверенная власть принадлежит народу; источник верховной власти есть народ, которому принадлежит исключительно право делать основные положения для самого себя. Право издания конституционных законов принадлежит Народному Собору». «Цель государства», — говорит Пестель, — «состоит в благоденствии всего общества и каждого члена его в отдельности. Правительство существует для блага народа и не имеет другого основания своему бытию и образованию, как только благо народное». По проектам конституции, законодательная власть должна была принадлежать Парламенту, или, как он назван был в них историческим именем, — Народному Вечу, избираемому всенародным голосованием. Вече не могло менять основных законов государства. Крепостное право и сословия упразднились, и все граждане делались равными перед законом. Устанавливалось точное разделение властей: законодательной, исполнительной и судебной. Суд становился независимым от исполнительной власти; вводились суд присяжных и несменяемость судей. Все граждане имели право исповедовать любую религию по своей совести и право свободно выражать, устно и печатно, свои мнения.

Легко представить себе, какое благоденствие царило бы в нашей стране и как легко дышалось бы в ней сейчас, если бы сто двадцать пять лет назад мечты декабристов, о которых с таким благоговением говорили мне мои старушки, сбылись. Увы, они погибли в далеких рудниках Сибири, и нам, потомкам этих чистых и самоотверженных людей, дано лишь поведать с чужбины о том, как они любили свободу и свой народ. Но бывает, что история повторяется. Теперь, как и тогда, в нашу страну вторгся враг и, как тогда, он был изгнан нашим народом. Опять наши армии очутились в свободных странах Запада и увидели, как свободно и в каком довольстве живут в них народы. Может быть, из среды этих армий выйдут новые декабристы...



ДЕКАБРИСТЫ И КРЕСТЬЯНСКИЙ ВОПРОС

Русское общественное мнение, казалось бы, уже давно признало моральную и идеологическую высоту мировоззрения и действий декабристов и нет надобности их оправдывать или защищать от упреков. Однако одна сторона их деятельности до сих пор иногда подвергается осуждению, как в литературе, так и в общественном мнении. Повелось это с начала этого столетия, когда при охватившей русское общество революционной лихорадке, даже давние исторические события оценивались с чисто политической точки зрения и преобладавших тогда политических взглядов, считавшихся непреложными истинами, действительными для всех времен. С тех пор была поставлена под сомнение чистота политических убеждений декабристов по отношению к крестьянскому вопросу. Было высказано сожаление о том, что в этом вопросе декабристы оказались непоследовательными и даже неискренними, под влиянием своих классовых и материальных интересов. Им было поставлено в вину, что, ратуя за освобождение крестьян, они сами этого не сделали, а когда в редких случаях решались отпустить своих крепостных на волю, то не хотели наделить их землей и тем принести в жертву своим убеждениям свои материальные интересы. Мало того, создалось мнение, что декабристы, кроме Пестеля, в своих предположениях о крестьянской реформе стояли вообще за освобождение без земельного надела. Выходит так, что они желали лишь уничтожить зависимость крестьян от господина, оставляя землю помещикам. В лучшем случае историки, как это делает В. И. Семевский, призывали не произносить над декабристами суда, не принимая во внимание степень культурного развития общества того времени.

Такие суждения, несмотря на их доброжелательный оттенок, представляют собой все же несправедливый приговор, смягченный лишь признанием, что подсудимые заслуживают снисхождения. Между тем, если внимательно изучить историю крестьянского вопроса, начиная с царствования Екатерины II до эмансипации 1861 года, приходится признать, что приговор общественного мнения над декабристами был вынесен весьма не основательно и что они заслуживают не только снисхождение, но и полное оправдание.

Прежде всего такое изучение показывает, что во времена декабристов и в предшествовавшую им эпоху вопрос этот распадался на два: вопрос об освобождении крестьян от власти господина, т. е. рабства, и наделение освобожденных земель. Подход к первому из них был чисто морально-гуманный, второй же — рассматривался либо в плане государственном, либо с точки зрения твердо установленного тогда принципа о неприкосновенности частной собственности. Лишь позднее эти вопросы слились в один и приобрели политический характер. Неприятие этого обстоятельства во внимание может привести к совершенно парадоксальным заключениям, хотя бы, например, к тому, что русская императорская власть держалась в крестьянском вопросе более передовых взглядов, чем «революционеры»-декабристы. Наконец, внимательное изучение вопроса обнаруживает, что утверждение о нежелании декабристов (кроме Пестеля) наделить крестьян землей является просто неверным.

Мысль об освобождении крестьян от крепостной зависимости созрела у русского общества постепенно. Ей долгое время предшествовало лишь сострадательное отношение к тяжелым сторонам их положения и желание облегчить их участь. Уже Петр I, обратив внимание на тягости крестьянского существования, издал указ о взятии в опеку имений помещиков-тиранов и высказал пожелание о невмешательстве владельцев в браки крестьян. После Петра I и до конца царствования Елизаветы, вопрос о крестьянах заглох, а указ Петра остался мертвой буквой. Для того, чтобы интерес к ним зародился в русском обществе, надо было, чтобы у него, впервые в русской истории, проснулось самосознание и появилось

стремление к образованию идеалистического миросозерцания. Произошло это в последние годы царствования Елизаветы. Особые условия образования этого миросозерцания и его характерные черты оказали столь значительное влияние на отношение русского общества к крестьянскому вопросу, что на них следует остановиться подробнее.

Именно в последние годы царствования имп. Елизаветы в наиболее культурных слоях русского общества замечается реакция на реализм Петровской эпохи и зарождение неясных идеалистических исканий. Проявляется стремление к оправданию и укреплению прежнего религиозно-нравственного идеализма на новых началах просвещенного разума, пришедшего на смену церковному авторитету. Начавшие тогда выходить первые русские журналы свидетельствуют о нравоучительных тенденциях русской молодежи. Так в журнале «Полезное Увеселение», издававшемся молодыми студентами Московского Университета, мы видим попытки к выработке известного общественного миросозерцания. «Мир есть тлен и суета», — пишут юные сотрудники, — «нетленна лишь добродетель, которая заключается в любви к ближнему, к другу; любовь есть единственный способ борьбы с пороком, а цель жизни — истребление зла в мире и в обществе посредством подвигов любви». Такие тенденции не могли найти удовлетворения в безыскусственном религиозном идеализме Московской Руси. Приходилось искать примирение идеализма с новыми влияниями просветительной эпохи, нашедшей отклик в реформированной России. Примирение это было найдено в увлечении религиозно-нравственным содержанием первых степеней масонства, тенденции которого близко подходили к тому, что писали в своем журнале молодые студенты.

Принято думать, что русское масонство, получившее свое начало при Елизавете Петровне и в особенности развившееся при Екатерине и в начале царствования Александра I, носило политический характер, подобный тому, который оно имело во Франции до и во время революции. Отсюда пошло мнение, что масонство всегда играло значительную роль в политике и что будто-бы наибольшего своего расцвета оно достигало только тогда, когда совершенно отдавалось этой роли. Такое мнение, отчасти верное по отношению к французскому ма-

сонству, совершенно не соответствует понятию об английском, скандинавском и немецком масонстве. Последние никогда не ставили себе политических целей и тем паче не были ячейками заговора. Если их высшие градусы открывали посвященным некоторые истины, то три низшие служили нравственной подготовкой таковым. В Россию первое масонство пришло из Англии, затем оно стало скандинавским и, наконец, подверглось немецкому влиянию. Этим надолго определилось его направление. Л. Н. Толстой, никогда не бывший масоном, но посвятивший много времени изучению масонства в архивах Румянцевского Музея, замечательно верно изобразил сущность русского масонства в словах Баздеева (Поздеева, известного масона начала 19-го столетия), обращенных к Пьеру Безухову. Единственное чего не отметил Л. Н. Толстой и что представляется важным при рассмотрении вопроса о влиянии масонства на образование русского мирозерцания — это то, что для того чтобы стать масоном человек должен быть не только добрых нравов, но и свободным. Это правило восходит к далеким временам, и оно существовало задолго до появления французского просветительства и теории естественного права. Масонское понятие о свободе значительно шире политического; подразумевая, конечно, в первую очередь независимость от воли другого человека, масонская свобода есть, в то же время, свобода от всяких догматов, религиозных, политических и др. Вот почему она может быть достоянием только человека «добрых нравов».

Масонство, типа образовавшегося в России в 18-ом веке, не будучи политическим и не представляя собой заговора, не нуждалось для своего проявления в каких-либо внешних действиях, его значение было во влиянии, которое оно оказывало на окружающую среду. Влияние это было прежде всего моральное и гуманное, дополненное масонским пониманием свободы. Значение этого влияния на образование русского мирозерцания до сих пор далеко не оценено по достоинству. Оно придало этому мировоззрению на долгое время совершенно особую окраску, создав русский национальный морализм, характерный для всех проявлений русской мысли. Особенно благоприятной стороной исходящих от масонства идей было то, что, не имея прямого политического

характера, они воспринимались широкими кругами общества, начиная с императоров и кончая представителями средних классов. Уже при Елизавете Петровне самые культурные русские люди были масонами. К ним принадлежали А. П. Сумароков, кн. Щербатов, Болтин, Федор Мамонов, П. С. Сви-стунов, гр. Н. Н. Головин, графы З. и И. Чернышшевы, Роман Воронцов (отец кн. Дашковой), кн. Голицыны и Трубецкие. При Екатерине II в ряды масонства вступили и другие пред-ставители высшего общества, как например. Лопухин, штал-мейстер Нарышкин, кн. Александр Трубецкой и кн. П. П. Репнин. Масоном был имп. Павел I и в его окружении гр. Н. И. Панин и его брат Петр, кн. Н. В. Репнин и кн. Ал. Бор. Куракин. Масонами, или мартинистами, были П. А. Ча-адаев, А. М. Кутузов и Н. И. Новиков. Наконец, при Алексан-дре I, в эпоху возрождения русского масонства, к нему прим-кнули многие из тех, кто впоследствии стали декабристами. Среди них были и П. И. Пестель, и кн. С. П. Трубецкой.

Морализм складывающегося миросозерцания русского общества прежде всего столкнулся с крестьянским вопросом и predetermined характер отношения к нему. В этом вопро-се особенно оскорбляло новую этико-религиозную психоло-гию общества рабское состояние крестьян, вещное право на них помещиков и полное бесправие крестьян по отношению к последним. Вот почему с тех пор, как вопрос этот обращает на себя внимание общества и власти, он ставится сначала не как вопрос о даровании крестьянам полной свободы, т. е. о раскрепощении не только от власти помещиков, но и от зем-ли, на коей они работают, а лишь об облегчении их рабского состояния. Во времена Екатерины II, под влиянием просвети-тельства и развивающегося гуманизма, вопрос об облег-чении участи крестьян приобретает широкий и реальный характер. Именно в это время впервые проявляется стремле-ние прекратить «скотское» положение крестьян и обращается внимание на позорное явление торговли людьми оптом и в розницу. Уже в 1763 году гр. П. И. Панин подает совет запре-тить торговлю рекрутами и позволять продажу крестьян только целыми семьями, а также определить нормальные размеры их повинностей. Сама Екатерина в своем «Наказе»

высказывает мысль о даровании крестьянам права собственности на движимое имущество и о разборе их жалоб на помещиков странствующими судьями. Там же она высказывается за необходимость «предписать помещикам законом, чтобы они с большим рассмотрением располагали свои поборы» и, наконец, напоминает об указанном выше законе Петра I и его пожелании. Радищев в «Путешествии из Петербурга в Москву», в главе «Медное», яркими красками и с возмущением описывает продажу с молотка в розницу крестьянской семьи. Далее он говорит о том, что грядущая опасность народного возмущения может быть устранена только облегчением участи крестьян, находящихся в рабстве. В своем проекте Радищев, в числе других мер, ставит в первую очередь разделение сельского рабства и рабства домашнего (дворовых). «Сие последнее», — говорит он, — «уничтожается прежде всего». Лишь после перечисления всех предлагаемых им мер, он говорит: «засим следует совершенное уничтожение рабства».

Даже Павел I не забыл о крестьянах и повелел ограничить барщину тремя днями в неделю. Если Екатерина II и Павел I, хоть и безуспешно, все же думали о судьбе крестьян, то, разумеется, Александр I в первую, либеральную половину своего царствования, не мог не обратить особого внимания на этот вопрос. 5-го июня 1801 года генерал-прокурор Беклешов внес, по повелению государя, в Государственный Совет записку, в которой указывалось, что «доныне с людьми как вещественной собственностью поступается и ими торг и продажа даже публично производится» и предлагалось запретить продажу крестьян без земли. Предложение это не встретило сочувствия в Государственном Совете и не возымело силы. Единственным достижением Александра I в первую половину его царствования был закон 20-го февраля 1803 года о «состоянии вольных хлебопашцев», в силу которого помещикам разрешалось отпускать своих крестьян на волю целыми обществами с обязательным их наделением земельными участками. Особое значение этого закона было в том, что освобождение без земли стало невозможным. Но даже в 1818 году Александр I возвращается к своей мысли об улучшении участи крестьян и поручает Аракчееву составить соответствующий законопроект. Надо признать, что Аракчеев

хорошо справились с порученной ему задачей в том отношении, что понял главную мысль государя об упразднении личной зависимости крестьян от помещиков и, вместе с тем, придал своему проекту практическую осуществимость. Предложение его сводилось к тому, чтобы, ежегодно, из государственных средств, поступало в казну пять миллионов рублей на выкуп у помещиков их крепостных, с наделом по две десятины на ретизскую душу. И этот проект из-за народных волнений за границей не получил осуществления. Сперанский в своих трудах по общим реформам, посвятил крестьянскому вопросу две работы: записку 1802 года и законопроект 1809 года. Обе эти работы имеют целью уничтожение «гражданского рабства». В записке предлагается разделить эту реформу на две эпохи: в первой должны быть определены повинности крестьян в пользу помещиков и учреждена «некоторая расправа» (суд) для разбора дел между крепостными и их господином; крестьяне должны были из «личной крепости» помещика перейти в «крепость земле» и стать только «приписанными». Подушная подать должна была быть переложена на землю и в купчих крепостях на имения должно было обозначаться не число душ, а количество земли. Одновременно должно было быть запрещено обращение крестьян в дворовые. Во второй эпохе, «которая не могла быть близкой», предполагалось возвратить крестьянам древнее право перехода от одного помещика к другому и тем самым «совершить уже и конечное их искупление». В законопроекте 1809 года Сперанский высказывается за принятие действительных мер к уничтожению гражданского рабства. Между прочим предлагается «лишить помещиков права наказывать крепостных без суда и отдавать в солдаты по закону», а не по воле господина и, вообще, управление населенными имениями не иначе, как по закону». Как видно, Сперанский в своих предположениях тоже руководствовался морально-правовыми побуждениями.

В 1824 году, за год до своей смерти, Александр I сказал Л. Ф. Лубановскому: «Славы России довольно: больше не нужно; ошибется, кто больше пожелает, но когда подумаешь, как мало еще сделано внутри государства, то эта мысль ложится мне на сердце как десятипудовая гиря. От этого

устаю». Эти слова показывают, что он болел морально крестьянским вопросом. Болел им и Николай I, после неудачных попыток к его разрешению ограничившийся «партизанской войной» с ним и подготовлением его для наследника — Александра II.

Декабристы были детьми своего времени. Мысли и чувства их созвучны эпохе. Устав «Союза Спасения» весь проникнут морализмом. Сущность этого Союза заключается в борьбе со всяческим злом и неправдой в русской жизни, среди которых первым декабристы считали крепостное право. Из показаний Пестеля видно, что недолгое время освобождение крестьян было единственной целью общества, но не было понимания того, как именно следует осуществить эту реформу. И. Д. Якушкин в своих записках говорит, что в 1816 году, желая освободить своих крестьян, он «в это время не очень понимал ни как это можно устроить, ни того, что из этого выйдет, однако, имея полное убеждение, что крепостное состояние — мерзость, был проникнут чувством прямой обязанности освободить людей» от него «зависящих». Зная о либеральных настроениях Александра I и об его намерениях, имеющих те же цели, что и они, зная также о проектах Беклешова и Сперанского, члены «Союза Спасения» думали, что им удастся путем распространения идеи освобождения и ее пользы «пригласить большую часть дворянства подать просьбу о том государю». Устав «Союза Благоденствия», имевший своим основанием устав немецкого Jugend Bund, хотя и не включал в себе параграфов, по которым члены его обязывались бы освободить от «подданических отношений» своих крестьян и посредством полюбовного соглашения относительно работ обратить их условное владение землей в свободную собственность, по возможности совершенно достаточную для пропитания трудолюбивого семейства, принуждал однако участников Союза «истреблять продажу крепостных в рекруты и вообще отклоняться от продажи их по одиночке». Лишь убедившись в том, что им не удастся склонить дворянство к ходатайству перед властью об уничтожении крепостного права, члены «Союза Благоденствия» решаются на самостоятельные выступления перед ней. В тот самый 1818 год, когда Александр I поручает

Аракчееву составление проекта освобождения, А. Н. Муравьев подает государю записку, заключающую в себе горячий протест против крепостного права, как явления противного христианской морали, но не указывающую практических мер для его уничтожения. Ввиду ли этого недостатка записки или из убеждения, что инициатива освобождения может исходить только от верховной власти, А. Н. Муравьев удостоивается весьма нелестного отзыва императора с указанием, что он вмешивается не в свое дело. Подтверждением тому, что Александр I не хотел отдавать инициативу освобождения своим подданным, служит то, что в следующем 1819 году петербургский военный губернатор гр. Милорадович по повелению государя поручает Н. И. Тургеневу составить такую же записку. Выполняя это поручение, Н. И. Тургенев делает много полезных предложений для ограничения крепостного права, которые принимаются весьма благосклонно, но не имеют никаких последствий. Наконец в 1820 году тем же Н. И. Тургеневым делается попытка устройства общества с целью «изыскания способов улучшения состояния крестьян и к постепенному освобождению от рабства как их, так и дворовых людей, принадлежащих помещикам, вступающим в это общество». набросок Н. И. Тургенева о целях общества и предлагаемых им мерах свидетельствует о большом шаге вперед, сделанным декабристами на пути разрешения крестьянского вопроса. Теперь они уже не ограничиваются стремлением к прекращению «скотского» состояния крепостных, но ищут правового и экономического их устройства. Тургенев предлагал даровать помещикам и крестьянам право заключать арендные договоры на землю — «добровольные условия на долгое время, даже *Erbpacht* (наследственная аренда) с тем, чтобы крестьяне могли отказаться от контракта, а помещикам это не дозволялось». Н. И. Тургенев полагал, что плату за аренду будет возможно вносить «натурой», т. е. днями работы, число которых должно быть установлено законом. Одновременно надо было дать право «перехода» от одного помещика к другому. По предложению И. Д. Якушкина, дома и огороды крестьян должны были перейти безвозмездно в их собственность, а отказ от своих пажитей (пахатной и луговой земли) давал

им право жить в своих домах, не будучи ничем обязанными помещикам. Что касается дворовых, то их предлагалось отпустить на волю немедленно, испросив у правительства «некоторые установления, по коим вольноотпущенные составляли особый класс, чтобы свобода не обратилась в притеснение». Опять-таки, вероятно, по соображениям об исключительном праве верховной власти на инициативу в крестьянском вопросе, Александр I признал учреждение общества ненужным, но выразил желание, чтобы каждый, подписавший заявление о нем, поработал отдельно и представил свой проект в министерство внутренних дел. Проект основания общества был последней попыткой добиться достижения цели при существующем государственном строе. Оставался один путь — добившись политической свободы, уничтожить и крепостное право.

Вступление декабристов на путь революции совпадает с прекращением в 1821 году деятельности «Союза Благоденствия» и образования двух Тайных Обществ — Северного и Южного, из которых каждое пойдет по собственному пути до декабрьского восстания, когда члены их встретятся перед Следственной Комиссией и разделят общую участь. И в том и в другом обществе начинается составление проектов конституций, включающих в себя постановления по крестьянскому вопросу. В этих проектах моральный элемент, оставаясь основой планов освобождения, уступает первое место правовым и экономическим соображениям. Главным вопросом становится наделение освобожденных крестьян землей. Член «Северного Общества» Н. М. Муравьев в своих двух проектах, составленных при сотрудничестве других членов общества, пишет: «крепостное состояние и рабство отменяются», но освобождение совершается без земли; «земли помещиков остаются за ними». Во втором проекте под влиянием И. Д. Якушкина и Тургенева добавлено, что «дома крестьян с огородами, земледельческими орудиями и принадлежащим крестьянам скотом признаются их собственностью (безвозмездно)». Проект об освобождении крестьян без наделения их землей не был одобрен всеми членами общества; так И. И. Пущин написал на полях проекта: «еже-

ли огороды, то земля». Наконец Н. И. Муравьев делает еще шаг вперед и в изложении проекта конституции, сделанном по требованию Следственной Комиссии, добавляет, что крестьяне получают при освобождении для «оседлости» 2 десятины земли на каждый двор *) и право приобретать землю в потомственное владение. Однако, по свидетельству Завалишина, большинство членов «Северного Общества» стояло за освобождение крестьян с землей, с выкупом ее не ими, а казной.

Что касается проекта «Южного Общества», то он составлен не всеми членами Общества, но исключительно его руководителем П. И. Пестелем. Не осталось никаких следов сотрудничества других членов при составлении этого проекта. «Русская Правда» передает взгляды П. И. Пестеля, создавшиеся под влиянием французских мыслителей и политиков и не имеют того специфического русского морализма, о котором упоминалось выше. К сожалению, часть «Русской Правды», касающаяся освобождения крестьян, осталась незаконченной и не вполне разработанной, а потому отдельные сохранившиеся записки, относящиеся к этому вопросу, содержат неясности и противоречия в подробностях. Недостатком их является чрезвычайная сложность предполагаемых планов. Ввиду этого приходится ограничиться пояснением главных мыслей П. И. Пестеля и только поверхностно коснуться сложной структуры их осуществления.

Прежде всего надо указать на общее положение П. И. Пестеля, утверждающего за «каждым гражданином право на известный земельный участок для его обработки». Государство обязано предоставить гражданам не только политические и гражданские, но и материальные права в размере, необходимом для пропитания каждого. Право пользования участком земельным из государственного фонда составляет часть политических прав граждан. Отсюда явствует, что П. И. Пестель не допускает возможности освобождения крестьян без земли. В дальнейших его заметках это положение

*) Двор — крестьянский дом со всеми хозяйственными постройками, отдельное крестьянское хозяйство.

вполне подтверждается. В своих рассуждениях он исходит из двух друг другу противоречащих теорий. Первая говорит о том, что «человек находится на земле, только на земле может жить и только от земли же может получить пропитание», «Земля есть общая собственность всего рода человеческого, а не частных лиц, и потому не может быть разделена между несколькими только людьми за исключением прочих». Вторая теория утверждает, что труд есть источник собственности и принимает в расчет также и значение капитала для земледелия: землевладелец согласится вложить свой капитал в обработку земли только в том случае, если будет иметь полную уверенность в прочном обладании земельной собственностью. Полагая, что обе теории являются крайностями, П. И. Пестель видит возможность их примирения, исходя из основных положений «Русской Правды», которыми он советует руководствоваться. По его мнению, «Земля есть собственность всего рода человеческого, и никто не должен от сего обладания ни прямым, ни косвенным образом быть исключен». Понятие о частной собственности возникает вместе с образованием государства. Охранение собственности является священной обязанностью правительства, но признание последнего положения отнюдь не должно вести к нарушению законов природы и законов божественных, ибо «они поставлены от Бога и природы и суть неизменны, между тем как политические постановления людей часто меняются». Основываясь на этом, П. И. Пестель находит средний выход. Сначала дать людям необходимое для жизни, а на втором месте следует поставить «приобретение изобилия; на первое имеет право всякий человек, на второе — только тот, который успеет сделать приобретение». Найдя таким образом средний выход, П. И. Пестель полагает, что государство должно обеспечить каждому гражданину землю в размере, необходимом для его существования — следовательно, в государстве должны быть общественные земли, но может быть и частная земельная собственность. Однако общие интересы должны стоять на первом месте, и частные собственники должны поступаться своим правом в том случае, если оно нарушает законы естественные, по которым необходимо каждому человеку предоставить участие во владении землей.

Как известно, П. И. Пестель в основу государственного устройства России полагал волость. Эта же волость служит основой земельного преобразования. По его предположению, в каждой волости земли делятся на две равные части: на общественные волостные земли и частную поземельную собственность или казенную в волостях, составленных из селений государственных крестьян. Волостная земля принадлежит всему волостному обществу и составляет его неприкосновенную собственность. Остальная часть принадлежит частным лицам или казне. Последние земли предназначаются «к доставлению изобилия». Волостная земля дает пропитание тем, кто не имеет других средств жизни. На вопрос о том, как составляется волостной земельный фонд, можно найти лишь приблизительный ответ в «Русской Правде», где говорится о различных разделах крестьян, и в одной заметке, находящейся среди неразработанной ее части. Однако основным тезисом П. И. Пестеля является то, что освобождение крестьян не должно лишить помещиков их доходов от поместий. Это значит, что при широкой экспроприации помещичьих земель государством для составления волостных земельных фондов от него потребовалась бы значительная затрата денежных средств. Как бы то ни было, но совершенно ясно, что, по мысли П. И. Пестеля, освобождение крестьян должно было произойти с наделением их землей и что крестьяне должны были слиться с остальным составом российского гражданства.

Приведенное выше, как говорится на судебном языке, «изложение дела» показывает, какая эволюция произошла в мыслях декабристов по крестьянскому вопросу, за пять лет, протекших со дня образования «Союза Спасения» в 1816 году, до создания Северного и Южного Обществ в 1821 году. За эти пять лет из прекраснодушных молодых людей, мечтавших склонить либерального императора и дворянство путем уговора к облегчению участи крестьян и упразднить их рабское состояние мерами, в коих они сами себе ясно не отдавали отчета, декабристы становятся революционерами, замысливающими свержение существующего строя и царевубийство. В составленных ими проектах конституций уже

говорится о правовом и экономическом устройении крестьян, а не только о даровании им человеческих условий жизни. Возможность такой быстрой эволюции тем более удивительна, что в окружавшем их обществе они не могли найти в ту пору широкого сочувствия. Как всегда, после всяких больших потрясений, усталое общество искало покоя, а потрясений было более чем достаточно. Одиннадцать лет Россия вела ожесточенную борьбу с Наполеоном и испытала на себе все ужасы 1812 года. Не могли не влиять на общество и примеры недавней по тому времени французской революции, утопившей Францию в крови и закончившейся моральным разложением французского общества, от которого ее спасла диктатура Наполеона ценой нового уже общеевропейского кровопролития и грабежа. Кроме того, всем еще были памятны ужасы Пугачевского бунта, о котором Пушкин, правда значительно позже, устами Гринева, сказал: «Не приведи Бог видеть русский бунт — бессмысленный и беспощадный». Не только лично заинтересованное дворянство было против освобождения крестьян, против него были и некоторые просвещенные представители общества, как Н. М. Карамзин, Державин и др. Так, в своей знаменитой записке «О старой и новой России», в которой особо почетное место занимает крестьянский вопрос, Карамзин высказывает убеждение, что «крестьяне холопского происхождения, следовательно, составляют собственность их господ, хотя вообще трудно разобрать происхождение крепостного класса. Во всяком случае крестьяне никогда не имели прав на землю. Освобождение крестьян опасно и в финансовом отношении: без помощи помещиков трудно собрать подушную подать». Карамзин ставит вопрос: «Что значит освобождение у нас крестьян?» По его мнению, оно означает: «Дать им волю жить где угодно, отнять у господ всю власть над ними, подчинить их одной власти правительства». Эта мысль страшило Карамзина по своим последствиям. Он боится, что, уйдя из-под полицейского надзора помещиков, крестьяне станут пьянствовать и развратничать. Конечно, такие крепостнические высказывания не могли влиять на взгляды декабристов, но и среди самых передовых и либеральных представителей общества слышались голоса против освобождения. Так, в собраниях неофициального кружка ближайших дру-

зей Александра I в 1801-1803 гг. против освободительных предложений кн. Чарторыйского, Кочубея и гр. Строганова высказались Новосильцев и Мордвинов. Как это ни может показаться невероятным, но против эмансипации был и республиканец Лагарп, бывший воспитатель Александра I.

Только приняв во внимание все вышесказанное, можно без предвзятого мнения сделать заключение об эволюции взглядов декабристов, плывших против течения как в своих политических предположениях, так и в вопросе об упразднении крепостного права. При таких условиях, вряд ли будет справедливо упрекать их в консерватизме.

Как было сказано в начале этой статьи, конкретное обвинение, обращенное к декабристам, заключается в том, что они сами не освободили своих крестьян, а ежели стремились это сделать, то не хотели поступиться своим правом на землю. Первое обвинение отпадает уже потому, что по молодости лет большинство декабристов лично не владело населенными имениями и дворовыми и фактически никаких крестьян освободить не могло. Исключения составляют Якушкин, Лунин и Трубецкой, желавшие освободить своих крестьян (Лунин по завещанию) с безвозмездным предоставлением им в полную собственность лишь их дворов, скотины и сельскохозяйственных орудий. Следовательно, остается только второе обвинение в недостатке прогрессивности и искренности. Но тут возникает вопрос, насколько в наше время можно утверждать, что свобода невозможна без собственности и насколько такое утверждение может считаться прогрессивным? Или, наоборот, можно ли сейчас говорить о том, что дарование людям свободы без предоставления им собственности является показателем консерватизма? Отвечая на эти вопросы утвердительно, надо признать, что Александр I, запретивший указом 1807 года освобождение крестьян без земли, поступил прогрессивно, хотя разрешил это остзейским помещикам. В том же порядке рассуждения надо причислить к прогрессивным предложениям и проект Аракчеева 1818 года. Однако ни то, ни другое не заслуживают одобрения ни историков, ни общественного мнения, столь строго обличающих декабристов. Но и это обвинение отпадает само собой, т. к. и Северное и Южное Об-

щества в своих конституционных проектах пришли к решению о наделении крестьян землей. Казалось бы, что мы стоим перед неразрешимым противоречием. В действительности его нет, т. к. вопрос ставится в неверной плоскости. Дело не в прогрессивности или консерватизме, а в государственной целесообразности и возможности. Само собой разумеется, что в начале прошлого столетия русская власть не желала обезземеления крестьян вовсе не из-за прогрессивных настроений, а просто из соображений полицейских и финансовых. Ей нужна была оседлость крестьян, плативших ей подушную подать. Упраздняя власть помещиков, отвечавших за ее поступление, она была принуждена привязать крестьян к земле и тем самым дать им имущественную возможность ее уплачивать. Как ни серьезно относились декабристы к своим проектам, у них на первом плане стояло другое соображение — какими угодно путями добиться крестьянской свободы. Идя на безвозмездное прекращение своих прав на крестьян, они не считали себя обязанными безвозмездно же отказаться от своих прав на землю. Как мы видим, даже Пестель, которого историки и общественное мнение выделяют из общей массы декабристов, стоит за то, что предоставленная крестьянам помещичья земля должна быть выкуплена государством. Именно в этом заключалась главная трудность. Правительство не могло это сделать при тогдашнем положении государственных финансов. Иллюстрацией этому служит разговор И. Д. Якушкина с Левашевым при допросе. Когда Якушкин указал, что правительство может выкупить крестьян у помещиков, Левашев воскликнул: «Это невозможно! Вы сами знаете, как русское правительство скудно деньгами!» Сказанное Левашевым было верно. Вследствие Наполеоновских войн и отсутствия правильного финансового управления, все бюджеты России были дефицитны, и к концу управления министерством Гурьевым в 1823 году государственный долг дошел до огромной по тому времени суммы в 1.343,5 милл. рублей, крепостные же люди составляли 45% населения, около 22,5 милл. душ.

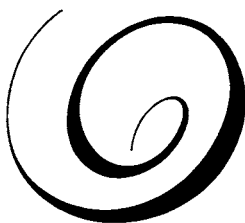
Переходя к рассуждению о том, были ли декабристы искренними и последовательными, не высказываясь сразу

за наделение крестьян землей, надо прежде всего отметить, что в их время таковое не считалось признаком прогрессивного мышления. Лучше всего это видно из того, что Якушкин пишет в своих воспоминаниях, написанных в пятидесятых годах 19-го столетия: «Благомыслящие люди, или, как называли их, либералы того времени, более всего желали уничтожения крепостного состояния и, при европейском своем воззрении на этот предмет, были уверены, что человек, никому лично не принадлежащий, уже свободен, хотя и не имеет никакой собственности. Ужасное положение пролетариев в Европе тогда еще не развилось в таком огромном размере, как теперь, и потому впоследствии возникшие вопросы по этому предмету тогда не тревожили даже самых образованных и благонамеренных людей». Говоря о своем разговоре с директором департамента Джунковским по вопросу о предполагаемом им освобождении своих крестьян без земли, И. Д. Якушкин пишет, что «Джунковский бывал заграницей, имел воззрения человека европейского, и потому освобождение крестьян, которым не предоставлялось земли, нисколько его не возмущало». Если в течение всего 19-го века и начала 20-го и особенно в настоящее время все европейское ставилось и ставится в пример всему русскому как более передовое, то тем паче это должно было иметь место тогда, когда жили и действовали декабристы. Можно только поставить вопрос, почему тогда в Европе освобождение крестьян без земли не считалось зазорным? Ответом на это служит то, что вопрос о свободе человека, как было уже сказано, не ставился там в зависимость от владения им собственностью и что последняя почиталась священной. Декабристы, как известно, в своих предположениях руководились примерами Запада, поэтому очень важно установить, чему они могли научиться от него в отношении освобождения крестьян с землей. Разумеется, самой передовой страной в это время считалась Франция, недавно совершившая самую глубокую революцию. И вот оказывается, что Национальное Собрание в декрете от 4-го августа 1789 года, совершенно упразднив феодальный режим, сделало однако при этом разграничение между двумя его категориями: правами, вытекающими из власти одного лица над другим, и

такими правами, которые связаны были с владением землей. Первые права отменялись безвозмездно, вторые же подлежали выкупу. Придать однако этому выкупу коллективный и обязательный характер Национальное Собрание не решилось ввиду затруднительного положения французских финансов. Закончено дело освобождения было лишь в 1793 году, когда декретом от 17-го июня были отменены без вознаграждения все феодальные и чиновные права и предписано было сжечь все долговые обязательства. Это однако не означало, что крестьяне получили в собственность конфискованные у помещиков земли, ставшие национальными имуществами. Эти земли продавались разжившимся на революции спекулянтам для пополнения оскудевшей казны. Что касается Англии, то в ней освобождение крестьян фактически произошло гораздо раньше, еще в средние века, путем обезземеления их. Процесс этот был долгий и сложный, но главную роль в нем сыграли чума и развитие овцеводства. Только в Пруссии, после разгрома ее Наполеоном, указом 9-го октября 1807 года крепостное право было отменено, но лишь по закону 1816 года помещики потеряли право верховной собственности на землю крестьян, на барщину и повинности. В герцогстве Варшавском конституцией, данной Наполеоном 22-го июля 1807 года, крепостное право было упразднено, но в ней ничего не говорилось о поземельных отношениях; декретом же 21-го декабря того же года они были определены не в пользу крестьян. Такое решение вопроса имело место, несмотря на письмо Косцюшко к Фуше от 22-го января 1807 года, в котором он ставил одним из условий своего приезда в Польшу для содействия Наполеону освобождение крестьян с предоставлением им в собственность земли, находившейся тогда в их владении.

Сказанного достаточно, чтобы совершенно оправдать декабристов от возводимых на них обвинений. Они могут выйти из суда истории не осужденными, с признанием за ними смягчающих вину обстоятельств, а с незапятнанными именами чистых и честных людей, пожертвовавших всем для блага своего народа. Единственное, в чем можно упрекнуть их, — это недостаток государственного реализма, но этот упрек может быть обращен и к их обвинителям. Для устой-

чивости какого угодно государственного строя в России необходима прочная его основа в лице наиболее многочисленного ее класса — крестьян. Но прочность этой основы возможна только при владении крестьянами землей на правах полной собственности. Сейчас эта мысль может звучать «консервативной», но какое это имеет значение пред лицом того, к чему пришла Россия? Правы были крестьяне И. Д. Якушкина, когда они, отказываясь от свободы без земли, сказали ему: «Ну, батюшка, оставайся все по-старому: мы ваши, а земля наша».



ДЕКАБРИСТ-ЕВРЕЙ

По своей малочисленности в России конца 18 и начала 19 века евреи не могли сыграть какую-либо роль в охватившем в то время часть ее общества освободительном движении. К тому же движение это зародилось и развивалось в дворянско-военной среде, куда они не имели доступа и которая, несмотря на свои либеральные воззрения, все же относилась к ним с известным предубеждением. В это время, по свидетельству Шабада, в России числилось всего 152.364 евреев, платящих подати и подлежащих повинности, а в Петербурге, как о том Екатерина II писала Дидро, было лишь от трех до четырех евреев, проживавших почему-то у ее духовника. И, тем не менее, судьбе было угодно, чтобы в числе лиц, привлеченных к ответственности по делу о «неустройстве», 14 декабря 1825 года, оказался, как член одного тайного общества, еврей-титулярный советник, чиновник канцелярии Санкт-Петербургского Военного Генерал-Губернатора гр. Милорадовича Григорий Абрамович Перетц. Участие его в декабризме тем более знаменательно, что сам он лично нисколько не испытал каких-либо притеснений со стороны власти и происходил от богатых родителей, совмещавших глубокие богословские познания и интересы с большими деловыми способностями.

Дед Г. А. Перетца, со стороны матери, Иошида Цейтлин — (1742-1822), проживавший во времена Потемкина в Шклове, тогдашнем главном умственном центре еврейства, был ученым раввином и меценатом и, вместе с тем, талантливым финансистом и купцом. Потемкин, нуждавшийся для выполнения своих широких политических и военных планов в людях, могущих материально ему содействовать, оценил

деловые способности Иошиды Цейтлина и последний вскоре стал, как бы, его министром финансов и снабжения. Разбогатея на этом поприще, Цейтлин после смерти Потемкина оставил свою коммерческую деятельность и окончательно поселился в своем великолепном имении Устье, Чериковского уезда, Могилевской губ., где совершенно отдался изучению еврейского богословия. Еще при жизни Потемкина, он, желая выдать замуж свою дочь Файгеле, стал искать для нее жениха. Выбор его пал на сына всеми почитаемого Левертского раввина Израиля Перетца — Абрама, умного молодого человека, обещавшего по своим познаниям стать знаменитым раввином. Абрам Перетц женился на Файгеле в 1790 году, но не оправдал надежд своего тестя в отношении своей духовной карьеры. Он предпочел заняться коммерческими делами и стал ездить в Петербург по делам своего тестя и Потемкина. Скоро Перетц окончательно там поселился и стал жить вместе с двумя другими евреями, пользовавшимися покровительством Потемкина, — Иегудой бен Ноах и реб Натаном Ноте, у того самого духовника Екатерины II, о котором она писала Дидро. Поселившись в столице, Абрам Перетц завел свои собственные дела и занялся откупом. Это занятие принесло ему огромное по тому времени состояние и большое положение в обществе. Греч говорил про него: «Откупщик Перетц — жид, но человек добрый и истинно благородный». В это время Перетц близко сошелся с М. М. Сперанским, на которого оказывал влияние в его преобразовательной деятельности. За эту близость последний подвергался нападкам, от которых его защищал другой выдающийся русский человек Е. Ф. Канкрин, тоже сумевший оценить качества А. Перетца.

Жена А. Перетца Файгеле, вместе с родившимся у них сыном Гиршем, не последовала за мужем в Петербург и продолжала жить с отцом в его имении. Молодой Гирш воспитывался там в атмосфере богатства и учености. Первоначальное образование он получил в духе, подбовавшем внуку Иошиды Цейтлина, — еврейский язык и закон Божий ему преподавал Симеон Леви, русский язык и арифметику — Сенявин, а геометрию и алгебру — Мендель. Становер — пионер европейского просвещения среди русских евреев. В

1803 году Абрам Перетц потребовал, чтобы его сын переселился к нему в Петербург. Переезд этот совершился в том же году, несмотря на сопротивление деда и матери, которая не захотела покинуть деревню и осталась в Устье. Мальчик Гирш поселился у отца, который к этому времени жил уже в собственном великолепном доме, ничем по роскоши не уступающем дедовской усадьбе. Но общество, которое он встретил в этом доме, было совершенно иным. Петербург не был белорусским местечком, и в нем жили другие люди, далекие от правоверных еврейских интересов. В доме Абрама Перетца царила берлинская культура, хотя он не переставал благодетельствовать евреям. Так у него жил бывший учитель Л. Невахович — первый еврейский писатель на русском языке, написавший в 1803 году «Вопль дочери Иудейской». В этом доме Гирш получил очень широкое образование от лучших преподавателей того времени. Особенно его интересовали история, география, статистика и политическая экономия. В 1810-11 годах в доме педагогического музея он слушал лекции по политической экономии у Бодуанского. Что же касается его раннего политического мировоззрения, то оно сложилось под влиянием его первого наставника швейцарца из Лозанни, Лорана, масона и вольнодумца. По странному совпадению у еврейского мальчика Гирша и у наследника русского престола Александра оказался одинаковый источник свободомыслия.

Отходя все более от традиций своих предков и возвращаясь в Высоком Петербургском чиновничьем кругу, Абрам Перетц не избегал распространенного в этом кругу соблазна честолубия. Влияние богатства ему уже казалось недостаточным, и если не для себя, то хотя бы для своего сына, он хотел положения в высших административных сферах. Единственным путем к этому было определение его на государственную службу, и чем раньше, тем лучше. В те времена это было возможно даже для мальчиков самого юного возраста. Гирш начал свою служебную карьеру 11-ти лет и в 1823 году был уже титулярным советником. Действительную службу он начал в Канцелярии Государственного Казначея, из которой потом перешел в Экспедицию Государственных Доходов. В 1810 году он был откомандирован в канцелярию д. т. с. кн., Алексея Борисовича

Куракина, который послал его в Новороссийский край где в это время свирепствовала эпидемия чумы, с поручением наблюдать за исправностью карантинного кордона. В мае того же года Гирш Перетц стал Григорием Абрамовичем, так как его отец со всем семейством принял лютеранство. От своей должности Григорий Абрамович был откомандирован. При оставлении им двух последних своих должностей он удостоился прекрасных аттестаций. В это же время его отец потерял на поставках в 1812 году в армию большую часть своего состояния.

О деятельности и местопребывании Г. А. Перетца со времени окончания его работы в Новороссийском крае до 1818 или 1819 года ничего не известно. В один из этих годов он поступил на службу в Канцелярию С. Петербургского Военного Генерал-Губернатора гр. Милорадовича, где познакомился с полк. Федором Глинкой. Это знакомство положило начало участию Г. А. Перетца в освободительном движении. Ф. Глинка был видным членом «Союза Благоденствия» и принадлежал к правому его крылу. Он не разделял республиканских взглядов большинства членов Союза и стоял за ограниченную монархию. Всякая мысль о революции ему была чужда; он не верил в ее возможность в России и придерживался мнения, что добиться установления конституционного образа правления можно и должно путем дворцового переворота, подобного тем, которые так часто происходили в России в 18 столетии. Возможность осуществления своих замыслов он видел в возведении на престол пользующейся симпатиями общества императрицы Елизаветы Алексеевны, жены имп. Александра I, с ограничением ее власти.

Разошедшись по этому вопросу с своими товарищами по Союзу на совещании 1820 года Глинка решил создать новое тайное общество, программа которого должна была соответствовать его взглядам. Общество это должно было действовать совершенно независимо от «Союза Благоденствия» и формально возглавляться новым лицом, в Союз не входящим, не носить особого названия и не иметь писаного устава. Основание этого нового общества было положено самим Глинкой и двумя его товарищами по Союзу — С. М. Семеновым и Н. Кутузовым. Первым принятым в него членом был Г. А. Перетц, который

стал считаться его главой и организатором. Постепенно общество стало даже называться Обществом Перетца. «Цель Общества», — как о том показал на допросе Следственной Комиссии Г. А. Перетц, — «заключалась в монархическом представительном правлении; средствами его были: умножение членов, оглашение несправедливости и ошибок правительства и распространение политических сведений». При вступлении в Общество от кандидатов бралось честное слово об исполнении целей общества, иногда сопровождавшееся словами: «обещаю всем, что для меня дорого и священо». По предложению Г. А. Перетца было введено, как тайный опознавательный знак, еврейское слово «хейрут», означавшее «свобода».

Первым поручением, возложенным на Г. А. Перетца Глинкой, была вербовка новых членов, причем было указано, что кандидаты должны быть преимущественно военные. В силу этого он в 1820 году принял Искрицкого, Сенявина, Данченко, Дребуша и Устимовича. Интересно отметить, что Г. А. Перетц в своих разговорах с намеченными кандидатами не только знакомил их с действующими на Западе конституциями, но добавлял, что представительный образ правления соответствует законам Моисея. (Очевидно он имел в виду гл. 17 Второзакония и Первую Книгу пр. Самуила, главным образом гл. 8-ую). На вопрос Следственной Комиссии Г. А. Перетц ответил: «Я внушал ему (Искрицкому), как действительно тогда думал, что для России выгоднее образ правления монархический и что по обширности империи и другим местным обстоятельствам власть монарха должна быть соразмерно обширной». На вопрос Комиссии о том, под чьим влиянием обрел он свободный образ мыслей, Г. А. Перетц отвечал: «Вернувшись в 1817 году в Петербург, я ничего не делал и читал Монтескье, Руссо, Бентама и Вольнея». Влияло на него и разлитое в обществе недовольство. Утвердил его в этих мыслях полк. Глинка. На вопрос о том, что побудило его вступить в общество и с какими намерениями он присоединился к нему, Г. А. Перетц ответил: «Несправедливость и ошибки правительства, намерение мое клонилось единственно к общему благу».

Деятельность Общества была весьма скромной. Собраний не было, члены его ограничивались беседами при случайных встречах, во время которых обсуждались новые кандидату-

ры, подкреплялись и утверждались принятые решения, критиковались действия власти и между прочим говорилось о невыгодности займов 1811 и 1812 г.г., при коих за рубль ассигнациями даны были облигации в 50 коп. серебром.

Г. А. Перетц в праве был предполагать, что Общество, к которому он принадлежал, весьма многочисленно и что помимо него, вербовкой занимаются «главы Общества»: Глинка, Семенов и Кутузов. В действительности, дело обстояло иначе, никто из «глав» за время существования Общества никакого участия в вербовке не принял и оно никогда не имело более 9 членов. Глинка, в это время, организовал новое общество «Елизавета» и вербовал членов в него. После Московского съезда Союза Благоденствия, на котором Глинка был делегатом от Петербурга, когда постановили закрыть Союз, он вообще перестал участвовать в освободительном движении. В то же время распалось и «Общество Перетца». В 1822 г. Дребуш и Данченко умерли, Устимович уехал в Грузию, а Кутузов отошел еще задолго до этого. Сам Г. А. Перетц заявил Следственной Комиссии: «Не помню, когда именно я стал удаляться, но сие было еще с 1821 года, ибо я женился в 1822 году». После отхода от Общества Г. А. Перетц продолжал служить в канцелярии гр. Милорадовича и одновременно вместе с ст. сов. Бороздиным арендовал старовство Езерское, Витебской губ. принадлежавшее герц. Александру Вюртенбургскому.

В дни междуцарствия Г. А. Перетц проявил большое беспокойство. Он посещал Глинку и говорил ему, что «от революции лучшего ждать нельзя». Наконец, накануне восстания, 12 или 13 декабря он обратился к ст. сов. Василию Петровичу Гурьеву с просьбой довести до сведения гр. Милорадовича, что в случае восшествия на престол Николая Павловича можно опасаться возмущения. «Все более привязаны к Константину Павловичу, нежели к Николаю Павловичу», — говорил он. Гурьев велел ему передать: «Ежели ему очень хочется, то и исполню, но чтобы он не пенял на меня, ежели его посадят в крепость». Не надо думать, что Г. А. Перетц хотел сделать доклад. Не будучи членом «Северного Общества», он об его планах ничего не мог знать. Им руководило чувство приверженности к общему благу и спокойствию. Гр. Милорадович ответил Гурьеву: «Пожалуй, мы его посадим в крепость, но что скажут

жена и дети?» При этом он проявил уверенность, что все сойдет благополучно, за что на другой день поплатился жизнью на Сенатской площади.

Утром 14 декабря Г. А. Перетц, мучимый любопытством, пошел к Сенявину, но, узнав, что он в карауле во дворце, отправился туда, но и здесь его не застал. Позже, осведомившись о «происшествии», между 2 и 4 часами пополудни, стоял в толпе у Сенатской площади. Вечером пошел туда же. После 14 декабря Г. А. Перетц опасался ареста, т. к. арестовывали лиц, имевших отношение к «зловредным обществам». В эти дни Г. А. Перетц составил и подал 30 декабря 1825 г. царю записку о неотлагательных реформах. О ней в своих показаниях он говорит: «Сие сделано мною единственно по внутреннему убеждению моему в пользу изложенных в оной мыслей о них». В другом месте этих показаний он говорит: «Могу только сказать, что целью моей было не скрытые виды какого-либо тайного общества, но явная польза обществу явного дражайшего отечества». В сопроводительном письме царю Г. А. Перетц писал: «Зная драгоценность времени обладателя полсвета, изъясняюсь весьма кратко».

Николай I прочитал поданную ему через статс-секретаря Кикина записку и наложил на нее резолюцию: «Препроводить в комиссию о злоумышленных обществах».

Перед этим в конце декабря Г. А. Перетц хотел уехать в Лондон, но встреча с Искрицким и его обещание не выдавать его успокоило его, и он решил остаться в Петербурге, хотя сам Искрицкий опасался своего ареста. Опасения эти оправдались. 26 января Рылеев показал Следственной Комиссии, что «Гвардейского Генерального Штаба поручик Искрицкий к Тайному Обществу принадлежал», а Оболенский указал, что он принял Искрицкого за несколько дней до 14 декабря в «Северное Общество». Узнав о показаниях Рылеева и Оболенского, Искрицкий был морально потрясен и, не владея собой, нарушил данное им обещание, сказав, что он был принят Перетцом в его Общество. На показаниях Искрицкого Николай написал: «Спросить, какой Перетц, — отец или сын и как зовут?». Немедленного ареста Г. А. Перетца не последовало, а 11 и 15 февраля Следственная Комиссия запросила виднейших декабристов, не состоял ли он членом Тайного Общества. На этот

вопрос последовал не только единодушный отрицательный ответ, но и заявление о незнакомстве с ним.

Г. А. Перетц был арестован 18 февраля 1826 г. и немедленно представлен имп. Николаю I. К сожалению, содержание разговора «обладателя полсвета» с внуком Левертского раввина до нас не дошло. Мы знаем только, что на допросе у Левашова он показал все, что было ему известно, кроме приема Устиновича. После допроса царем Г. А. Перетц был заключен в крепость, где 22 февраля получил подробный опросный лист, который вернул с повторением первого показания. В дальнейшем судьба Г. А. Перетца решалась показаниями его, Глинка и Семенова. Последние два отрицали свою принадлежность к какому-либо тайному обществу и прием в него Г. А. Перетца. Арестованный 30 декабря Глинка был представлен царю и так умело отвечал ему, что тот погладил его по голове и сказал: «Ты чист... чист...». Отпущенный на свободу, он все же 15 февраля негласно спрошен Следственной Комиссией, был ли Г. А. Перетц членом «Союза Благоденствия», на что он ответил отрицательно. Все же на основании показаний Г. А. Перетца, Глинка был опять арестован 11 марта, и на допросе ему был опять поставлен вопрос о принадлежности Г. А. Перетца к «Союзу Благоденствия». Стараясь замести след, Глинка, не отрицая своих разговоров с последним, показал, что он «впрашивался» в масоны, но что он отказал ему считая его неподходящим. Взамен масонства Глинка будто бы предложил Г. А. Перетцу «вступить в прекрасное общество, членами которого состоят управляющие люди, все благородные и цель благородная». На вопрос, какое это общество, Глинка ответил: «Ланкастрское». С своей стороны Г. А. Перетц будто бы говорил Глинке о необходимости учреждения «общества к освобождению евреев, рассеянных по России и даже в Европе, и поселении их в определенном месте в России, например, в Крыму». 11 марта, измученный ожиданием, Г. А. Перетц подал прошение Левашову, напоминая ему обещание спасения в случае неутаения им правды. Вместо благоприятного ответа на это прошение Г. А. Перетцу 14 марта были вручены новые письменные вопросы, как следствие продолжающихся отрицаний Глинкой, Семеновым и Кутузовым его показаний. В своем ответе Г. А. Перетц повторил все, сказанное им раньше. Продолжающееся разно-

гласие в показаниях принудило Следственную Комиссию дать Г. А. Перетцу очную ставку с Глинкой и Семеновым, тоже не давшую результата. Неопределенность положения породила в Г. А. Перетце вполне обоснованный страх пытки, и он подал в Комиссию донесение, в котором просил ее в случае, если таковая будет применена, то пусть это будет сделано не только по отношению к нему, но и к Глинке, и Семенову. Вероятно, Комиссия уже убедилась в том, что правда на стороне Г. А. Перетца, и употребила с успехом, если не пытку, то меру физического побуждения в виде кандалов по отношению к Семенову. Эта мера сломила силу воли последнего, и он не только сознался, но на очной ставке изобличил и Глинку.

Г. А. Перетц не предстал перед Верховным Судом. 15 июня 1826 года по докладу Следственной Комиссии последовало Высочайшее повеление: «Продержать еще два месяца в крепости, отослать на жительство в Пермь, где местной полиции иметь за ним бдительный тайный надзор и ежемесячно доносить о поведении».

Г. А. Перетц отделался по сравнению с декабристами очень легким наказанием. В глазах Николая I-го вина его была значительно меньше. Он не замышлял цареубийства, не думал о насильственном перевороте. В написанном уставе «его» общества было только стремление ввести в России представительный образ правления с сохранением сильной исполнительной власти. Замечательно то, что как в этом уставе, так и в записке, поданной Николаю 30 декабря, нигде не упоминается об отмене крепостного права. Характерно для внука и сына финансистов и купцов, что в записке большое место отводится вопросам, касающимся их специальности, наряду с правовыми, и призывом к милосердию. Это отводит Г. А. Перетцу особое место среди лиц, причастных к «неустройству» 14 декабря 1825 года. Может быть, он не вполне заслуживает названия «декабрист», но во всяком случае он является первым русским евреем, пострадавшим за свободу.



ПОПЫТКА СГОВОРА РУССКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА С ИНОСТРАННЫМ ЕВРЕЙСТВОМ О ПРЕКРАЩЕНИИ ИМ ПОДДЕРЖКИ РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ

В особом секретном железном шкафу, стоявшем до революции в кабинете Директора Особенной Канцелярии по Кредитной Части Министерства Финансов на Дворцовой Площади в Петрограде, хранилось дело, о котором знали лишь очень немногие чины этого ведомства. Сейчас трудно сказать кому именно из этих чинов в те далекие времена содержание этого дела было известно, но можно с уверенностью сказать, что все участники его давно умерли, а лицо, пишущее эти строки, узнало о нем от Директора Кредитной Канцелярии, который, как-то, в пору его службы в Канцелярии, показал дело ему и рассказал его историю.

Его можно было бы назвать: «О попытке Русского Императорского Правительства придти к соглашению с международным еврейством на предмет прекращения революционной деятельности русских евреев». Началось по следующему поводу при Императоре Александре III-ем, в бытность Министром Финансов С. Ю. Витте.

Как известно, Александр III-ий не любил евреев и был хорошо осведомлен о роли, которую они играют в русском революционном движении. Сознал он, разумеется, и причины, побуждавшие евреев стремиться ниспровергнуть Российскую Императорскую власть, но, будучи человеком волевым и непокладистым, он не желал идти ни на какие уступки, могущие удовлетворить еврейские требования и тем оторвать их от революции.

Александр III-ий высоко ценил государственные способности С. Ю. Витте и совершенно ему доверял, несмотря на то, что С. Ю. Витте был женат на еврейке. В силу этого своего доверия он решил поделиться своими мыслями по еврейскому вопросу не с Министром Внутренних Дел, в ведение которого этот вопрос входил, а с Министром Финансов, что он и сделал на одном из еженедельных докладов последнего.

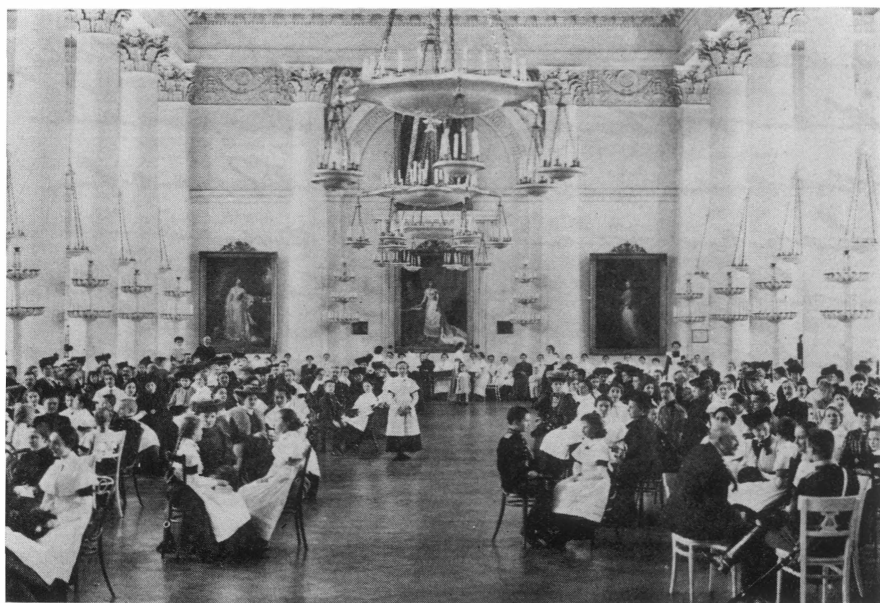
Государь высказал С. Ю. Витте свое непреклонное желание раз и навсегда покончить с революционной деятельностью русских евреев, не останавливаясь ни пред какими мерами и просил С. Ю. Витте высказать ему свои соображения по этому вопросу и дать ему совет. С. Ю. Витте ответил Государю, что он, как самодержец всероссийский, может применить по отношению к евреям самые крайние полицейские меры и, наконец, даже повелеть собрать все семь миллионов евреев, проживающих в пределах Российской Империи, на берегу Черного моря и всех утопить, но что, по его мнению, все эти меры вряд ли дадут желаемые результаты и даже, напротив, приведя в отчаяние еврейство, лишь усугубят его революционную деятельность. Что же касается последней меры, то, во-первых, он, С. Ю. Витте, убежден, что Государь, как христианин, никогда не пойдет на нее, а, во-вторых, такая мера губительно отзовется на русском государственном кредите, т. к. закроет для него иностранные денежные рынки, всецело находящиеся в руках евреев.

Согласившись с мнением С. Ю. Витте, Государь спросил его, что же он считает возможным предпринять для достижения намеченной цели. С. Ю. Витте ответил, что там, где нельзя добиться успеха применением силы, можно попытаться достигнуть его путем сговора. Такая попытка была, по мнению С. Ю. Витте, возможна, однако при непременно условии, что она ни в коем случае не должна будет поручена Министерству Иностранных Дел и наипаче Министерству Внутренних Дел, а исключительно Министерству Финансов и притом совершенно секретно.

Согласившись и на этот раз с С. Ю. Витте, Государь спросил его, какие конкретные меры он может ему предложить для проведения в жизнь этого плана. С. Ю. Витте доложил Государю, что прежде всего надо разведать, где и с кем загра-



Смольный Институт
1905 г.



Смольный Институт
Бальный зал
1905 г.

Амстердам
28 Mars
1915



Chère Olga Alexandrovna!
Je tiens à
vous exprimer
tout le plus
sincèrement de
tristesse profonde
et d'affliction
de votre bien-aimée
sœur Anna! Quel
terrible chagrin
et quelle peine insup-
portable, pas seulement
pour vous, sa famille,
et pour son père, mais

Письмо
Соболезнование
Императрицы
Марии Фёдоровны
1915 г.

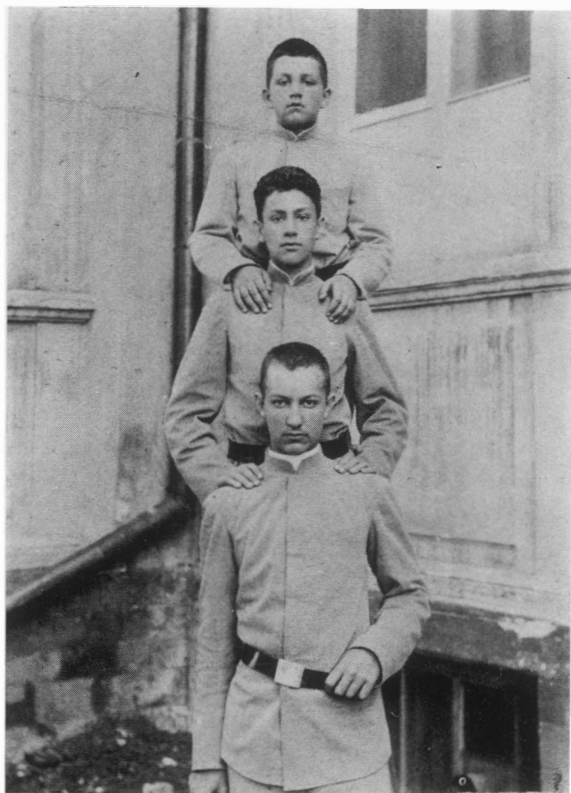
pour moi personnellement
ceux qui s'aiment
et s'apprécient tellement
et qui l'un sera tou-
jours reconnaissant
pour tout ce qu'elle a
fait de bien, et pour
l'affection qu'elle me
portait, et dont j'étais
si touché. Je comptais
sur elle comme sur
mon rocher, elle m'était
si nécessaire avec son
esprit et sa bonté de cœur.
Je suis heureux de
l'avoir encore avec moi
et d'avoir pu lui parler.
Elle était si bonne et
touchante et m'a béni
avant de partir, mais
je ne pouvais pas que
s'écrit le dernier adieu.
Pourtant il faut com-
mencer le bon Dieu qui s'est
la délivrance de ses souff-
rances et qui elles s'est
endormie tranquille-
ment.
Je pense tant à vous
dans votre douleur
et prie Dieu de vous
soutenir.

France



© О. Д. Д.

Братья ДАВЫДОВЫ: Александр, Петр, Василий.
Май 1884 г.



Василий, Петр, Александр
1891 г.



Дом в ЮРЧИХЕ
(фото 1981)



МОСКВА
Бывший Елизаветинский Институт
(1981 г.)

Петербург
1909 г.



Симферополь
1906 г.



1916 г.



(второй слева)

Александр Васильевич ДАВЫДОВ



А. В. ДАВЫДОВ 1916 г.



САБЛЫ 1905 г.
А. В. ДАВЫДОВ в парке

©
D.
O.
D.
D.



Ницца — 1926 г.

©
D.
O.
D.
D.



Редакция газеты «Возрождение»
1926 г.



Ольга Яковлевна
ДАВЫДОВА
урожд. де МИЛЛЕР
Жена автора
1899 — 1975
(1924 г.)



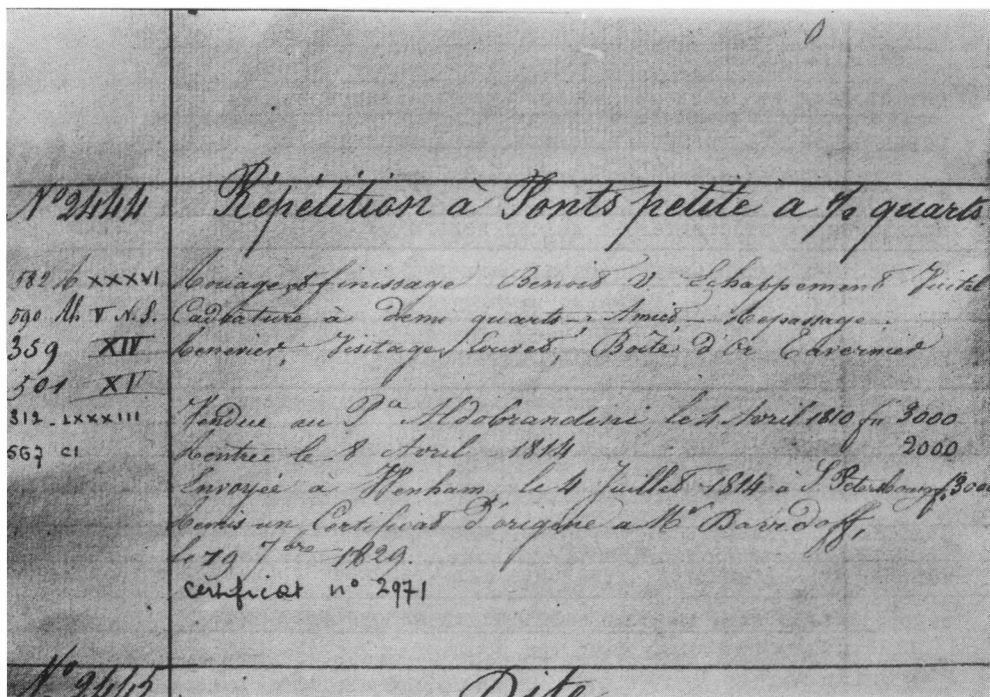
О. Я. ДАВЫДОВА — Рим 1966 г.



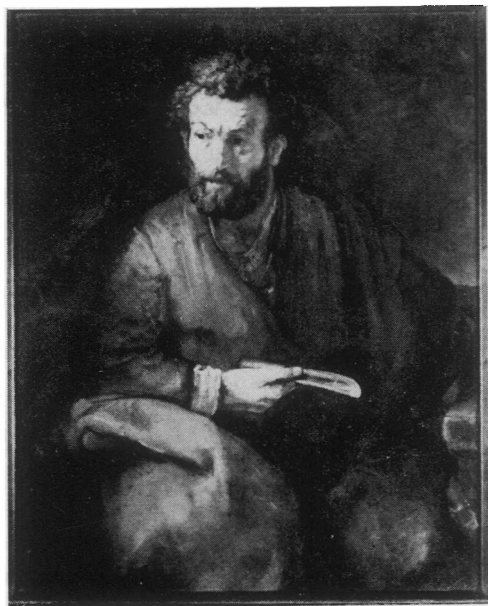
КЛИН: К. Ю. ДАВЫДОВА и дочь автора
1973 г.



КЛИН: К. Ю. ДАВЫДОВА и И. Ю. ДАВЫДОВА
с дочерью автора — 1981 г.



Аттестат часов «Брегет»



РЕМБРАНДТ
 Св. Варфоломей

онъ съ Вами въ далекомъ свойствѣ черезъ Грамоновъ, - одинъ изъ герцоговъ де Грамоновъ ^(кажется, Андрей или Иванъ) былъ женатъ на Ротшильдъ.

Русскіе ^{богатые} евреи, какъ впрочемъ и нѣкоторые православные миллионеры, дѣйствительно давали деньги революціонерамъ. Михаилъ Гоцъ и самъ былъ очень богатъ. Какъ курьезъ /и малоизвѣстный/, сообщу Вамъ, что еврейскіе миллионеры давали деньги, лѣтъ 70 тому назадъ, и контръ-революціонной "Священной дружинѣ". Она получила немало денегъ отъ барона Г. Гинцбурга, отъ Полякова и отъ нѣскаго сахарозаводчика /моего дѣда по матери/ Зайцева, который давалъ деньги на это Витте, - какъ Вы знаете, молодой Витте принималъ участіе въ "Священной Дружинѣ", это, вѣроятно, единственная глупость, сдѣланная имъ въ жизни. ^(предположительно, что Витте не считалъ) Кажется, финансировалъ Священную дружину и еще одинъ еврей: Малькиель, но я въ этомъ не вполне увѣренъ. Разумѣется, главная часть средствъ шла не отъ евреевъ, - скорѣе всего отъ Воронцова-Дашкова. Впрочемъ, я вполне допускаю, что въ двадцатомъ столѣтіи ~~имѣ~~ ^и жертвовали деньги на русское революціонное движеніе и Шиндль. Однако едва ли рѣчь шла о большихъ суммахъ.

Отчего бы Вамъ не ознакомить съ Вашей запиской Бориса Ивановича Николаевского? Онъ глубокий знатокъ исторіи революціи, знаетъ въ ней все, неизмѣримо больше меня. Ничего не имѣю противъ того, чтобы Вы показали ему и это мое письмо. Если Вы попросите Бориса Ивановича держать Вашу записку въ секретѣ, онъ навѣрное это выполнитъ. ^{к. В. Алдановъ} Вполнѣ возможно, что я и ошибаюсь. Адресъ Б.И.: 417 W 120 St, New York MO 21880.

Шлю Вамъ искренній привѣтъ и лучшія пожеланія.

Вашъ

М. Алдановъ
Вашему другу коллегамъ и друзьямъ.

Автографъ письма писателя М. А. Алданов (Ландау).

ницей надо вести переговоры, т. к. в России говорить не с кем — финансовая поддержка революции идет из заграницы. Для этого надо назначить, по его мнению, на пост Агента Министерства Финансов в Париже, еврея, пользующегося полным доверием Министерства и обладающим большими средствами и знакомствами среди еврейских французских банкиров. Наиболее подходящим для выполнения задачи С. Ю. Витте считал Артура Львовича Рафаловича. Государь выразил и на это свое согласие.

После нескольких месяцев своего пребывания в Париже А. Л. Рафалович донес С. Ю. Витте, что после долгой дипломатической подготовки ему, наконец, удалось иметь откровенный разговор с одним из французских Ротшильдов, который отнесся к поставленному вопросу скорее сочувственно, но указал на то, что в Париже сделать ничего нельзя, и посоветовал поговорить об этом в Лондоне. Однако начатый на ту же тему разговор с Лондонскими Ротшильдами привел к тому же результату, с той только разницей, что русскому представителю было прямо и определенно указано, что с этим вопросом надо обратиться в Нью-Йорк к банкиру Шифу.

Случилось так, что для переговоров в Нью-Йорке в распоряжении Министерства Финансов был очень подходящий человек — Г. А. Виленкин, тоже еврей, женатый на Зелигман, родственнице Шифа. Г. А. Виленкин был немедленно назначен агентом Министерства Финансов в США с поручением вступить в переговоры с Шифом. Благодаря своим родственным связям Г. А. Виленкину не надо было готовить почву для разговора и таковой состоялся очень скоро после его прибытия в Америку. Оказалось, что указание Лондонских Ротшильдов были правильны и Шиф признал, что через него поступают средства для русского революционного движения. Но на предложение Г. А. Виленкина пойти на соглашение с Русским Правительством по еврейскому вопросу и, в случае успеха переговоров, прекратить денежную поддержку революции, Шиф ответил, что дело зашло слишком далеко и предложение Виленкина запоздало и, кроме того, с Романовыми мир заключен не может быть.

Таким образом, попытка Русского Императорского Правительства сговориться с международным еврейством закон-

чилась неудачей, не по вине первого. В более мелком масштабе она была возобновлена несколько позже в Париже. Одна светская дама, состоявшая на секретной службе у Русского Министерства Финансов, на одном балу заговорила на ту же тему с Морисом Ротшильдом, но получила от него тот же ответ: « Trop tard, Madame, et jamais avec les Romanoff ».

П Р И Л О Ж Е Н И Е

Дорогой Марк Александрович,

Посылаю Вам, как предупредил Вас при последней нашей встречи, краткую записку об одном историческом факте из закулисной стороны русского прошлого. Может быть Вам это будет интересно. За достоверность самого факта ручаюсь Вам.

Если я просил Вас не распространять эту записку, то сделал это по двум мотивам. С одной стороны я не хочу, чтоб записка попала в правые руки — они используют ее для своей антисемитской пропаганды. С другой стороны она может вызвать в левых кругах, особливо в еврейских, обвинение меня в антисемитизме, чего я конечно не заслужил.

Несмотря на эти мои опасения я эту записку написал, лишь потому, что нахожу, что от истории ничего не должно быть скрыто.

Прочтите, дорогой Марк Александрович, мое писание и скажите мне, что Вы об этом думаете.

Искренне Вам преданный

Ал. Давыдов.

6 июня 1951

Дорогой Александръ Васильевичъ.

Получилъ Ваше письмо и записку. Она очень интересна. Возможно, конечно, что ее использовали бы антисемиты. Но исторія есть исторія. Вопросъ однако въ томъ, правильно ли Вамъ изложилъ дѣло Давыдовъ. Может быть, память ему кое-въ-чемъ измѣнила. У меня есть сомнѣнія относительно нѣкоторыхъ сторонъ этого сообщенія. Излагаю ихъ очень кратко:

Витте, помнится, самъ написалъ в «Воспоминаніяхъ» о томъ, что «предлагалъ» царю утопить шесть милліоновъ евреевъ въ Черномъ Морѣ. Но, разумѣется, онъ говорилъ шутиливо, это было съ его стороны «редукцію ад абсурдум», — серьезно же онъ не могъ говорить Александру III, который все-таки никакъ Гитлеромъ не былъ, что «такая мѣра губительно отзовется на русскомъ государственномъ кредитѣ»!

При Александрѣ III революціонное движеніе вообще было чрезвычайно слабо. На что же могли бы идти деньги Шифа? Революціонеры той эпохи никакими деньгами не располагали и сами жили почти въ нищетѣ. Кому могъ бы Шифъ ихъ дать? Скорѣе всего Льву Тихомирову, но Тихомировъ послѣ того, какъ сталъ реакціонеромъ и антисемитомъ, сообщилъ бы это въ своихъ воспоминаніяхъ. Не могъ ихъ получить и Лавровъ. Добавлю, что, насколько мнѣ извѣстно, Шифъ въ пору царствованія Александра III еще и не былъ очень богатъ (наведите справку объ этомъ, напримѣръ, въ трудахъ Майерса, — у меня ихъ нѣтъ).

Никакъ не могли поддерживать революціонное движеніе въ Россіи Ротшильды. Они никогда ни о какихъ революціяхъ слышать не хотѣли и всегда были консерваторами. Джемсъ былъ орлеанистъ, Альфонсъ (дядя Мориса) изъ орлеанистовъ понемногу правратился въ сторонника Наполеона III, который у него гостилъ въ Феррьерѣ; а Третью Республику всѣ они, кромѣ Анри, «бойкотировали», какъ монархисты. Кромѣ того Ротшильды еще со временъ Николая I были такъ связаны дѣловыми отношеніями съ царскимъ правительствомъ, что денегъ на революцію тѣмъ более давать не могли бы. Мо-

рисъ вѣдь еще живъ и Вы могли бы навести у него справку (хотя онъ непріятный и малокультурный человѣкъ). Кстати, онъ съ Вами въ далекомъ свойствѣ черезъ Грамоновъ, — одинъ изъ герцоговъ де Грамонъ (кажется, дѣдъ княжего) былъ женатъ на Ротшильдъ.

Р у с с к і е богатые евреи, какъ впрочемъ и нѣкоторые православные миллионеры, дѣйствительно давали деньги революціонерамъ. Михаилъ Гоцъ и самъ былъ очень богатъ. Какъ курьезъ (и малоизвѣстный), сообщу Вамъ, что еврейскіе миллионеры давали деньги, лѣтъ 70 тому назадъ, и контръ-революціонной «Священной Дружинѣ». Она получила немало денегъ отъ барона Г. Гинцбурга, отъ Полякова и отъ кіевского сахарозаводчика (моего дѣда по матери) Зайцева, который давалъ деньги на это Витте, — какъ Вы знаете, молодой Витте принималъ участіе въ «Священной Дружинѣ», это, вѣроятно, единственная глупость, сдѣланная имъ въ жизни. (Предпріятіе вѣдь было не серьезное). Кажется, финансировалъ «Священную дружину» и еще одинъ еврей: Малькіель, но я въ этомъ не вполне увѣренъ. Разумѣется, главная часть средствъ шла не отъ евреевъ, — скорѣе всего отъ Воронцова-Дашкова. Впрочемъ, я вполне допускаю, что въ двадцатомъ столѣтіи, жертвовалъ деньги на русское революціонное движеніе и Шифъ. Однако едва ли рѣчь шла о большихъ суммахъ.

Отчего бы Вамъ не ознакомить съ Вашей запиской Бориса Ивановича Николаевского? Онъ глубокій знатокъ исторіи революціи, знаетъ въ ней все, — неизмѣримо больше меня. Ничего не имѣю противъ того, чтобы Вы показали ему и это мое письмо. Если Вы попросите Бориса Ивановича держать Вашу записку въ секретѣ, онъ навѣрное это исполнитъ. Вполнѣ возможно, что я и ошибаюсь въ выраженіяхъ. Адресъ Б. И. 417 West 120 Sh., тел. МО 21880.

Шлю Вамъ искренній привѣтъ и лучшія пожеланія.

Вашъ

М. Алдановъ

Извините всѣ эти поправки въ письмѣ.

Факсимиле части этого письма воспроизводится на стр. 28 вместе с фотографіями.

Нью-Йорк, 10-го июня 1951 года

Дорогой Марк Александрович,

Большое Вам спасибо за Ваше письмо от 6-го июня и за возвращение моей записки. Я с большим интересом прочел Ваши «сомнения» по поводу ее содержания и хочу сейчас постараться их несколько рассеять.

Прежде всего скажу, что Л. Ф. Давыдов рассказывал мне об этой истории еще задолго до революции, когда он еще был Директором Кредитной Канцелярии и С. Ю. Витте был еще жив. Тогда же он показал мне самое «дело». Этим я хочу сказать, что у него все это было еще очень свежо в памяти и что шуточное предложение (он так его и понимал) С. Ю. Витте об утоплении в Черном Море 7 миллионов евреев ему было известно задолго до напечатания воспоминаний последнего. — Он знал об этом от самого С. Ю. Витте, с которым был очень близок по работе в Министерстве Финансов.

Совершенно верно, что в то время Шиф был еще недостаточно богат, чтобы финансировать русскую революцию, но я этого и не пишу в своей записке. Я говорю, что через Шифа шли на нее деньги. Что касается начала 20-го столетия, когда русская революция была уже в полном ходу, то, по сведениям русской политической полиции она очень активно поддерживалась американскими финансовыми кругами и именно через Шифа.

Что касается французских Ротшильдов, то верно, что они всегда были монархистами, но только для Франции, относительно Романовых они были другого мнения, тут играла роль еврейская солидарность. Все же верно, что они не руководили помощью русским революционерам, что и сказалоcь в их отрицательном, хотя и сочувственном, ответе А. Л. Рафалловичу. Лондонские Ротшильды направившие русского агента в Америку, в чем можно тоже усмотреть благожелательное отношение к переговорам, гораздо отрицательнее относились к Русскому Правительству и отказались размещать государственные займы в Англии, пока русским евреям не дано будет равноправие.

Разговор с Морисом Ротшильдом светская дама имела значительно позже, уже при Императоре Николае 2-ом, когда в России уже шла революция. На Ротшильд был женат покойный Агенор Грамон, отец нынешнего герцога и его братьев и сестер. Я знаю только старшего.

Меня вовсе не удивляет отрицательное отношение богатых русских евреев к революции. Если барон Г. Гинцбург был даже другом Александра 3-го, то в мое время большие еврейские банкиры очень лояльно поддерживали монархию в России. Священной Дружины больше не было — ее заменили разные черносотенные союзы, но на них деньги не давали, не только евреи, но и уважающие себя русские аристократы.

В моей записки я не упомянул как о не имеющей прямого отношения к интересующему нас историческому факту, последствии попытки С. Ю. Витте сговориться с Шифом. Этой попытке он отчасти был обязан успешному ведению переговоров в Портсмуте. Ко времени этих переговоров и причиной их начала было то, что японцы одержав большие победы над Россией исчерпали не только все средства к ведению войны, но и не могли больше получить новых займов в Америке, которая широко снабжала их деньгами. Немецкий известный финансист Гельферих, в своей книге «Деньги в Русско-Японской Войне» говорит, в заключении, что ту победу, которую тщетно добивалась Россия на полях сражений в Манчжурии Витте блестяще одержал в Портсмуте. Витте, благодаря Виленкину и его связям, удалось сделать так, что японцы не получили больше денег на дальнейшее ведение войны.

А теперь в виде эпилога небольшое личное воспоминание. Уже в эмиграции Л. Ф. Давыдов пригласил меня как-то пойти с ним на балетный спектакль в Большой Оперы в Париже. После спектакля мы пошли с ним поужинать в один ресторан на рю д'Антин. Ресторан, когда мы пришли был пуст, занят был только один стол, за которым сидела незнакомая нам компания, среди которой был Морис Ротшильд. Через некоторое время после нашего прихода вошли Вел. Кн. Мария Павловна с мужем, кн. Путятиным и заняли третий стол. Глядя на эти столы я сказал Л. Ф. Давыдову: «Какая странная бывает судьба. Сейчас здесь три человека знают, то, о чем четвертое и, может быть, наиболее заинтересованное и не по-

дозревает». Не успел я произнести эти слова, как Морис Ротшильд подошел к Марии Павловне и поздоровавшись с ней и ее мужем вступил с ней в длительную беседу...

Не знаю еще, последую ли я Вашему совету и покажу мою записку Б. И. Николаевскому. Не потому, что я ему не доверяю, но потому, что как-то не хочется много говорить об этой, строго судя, очень грустной истории. Мне почему-то хочется, чтобы Вы сохранили мою записку, а потому прошу Вас принять ее от меня.

Теперь о другом. После нашей последней встречи в Люцерне я завтракал с М. С. Менделеевым и говорил ему о наших планах относительно выпуска нового бюллетеня. После долгих обсуждений и очень дельных объяснений М. С. мы пришли к заключению, что можно примирить с большой пользой Вашу и его точки зрения. Мы решили, что я позвоню В. А. Грюнбергу и попрошу его переговорить с Гр. Б. Забежинским на предмет созыва организационной комиссии. Я это исполнил и теперь нам остается ждать приглашения, которое почему-то задерживается. Надеюсь, что оно скоро поступит и что это даст мне возможность повидать Вас до Вашего отъезда, который, я боюсь, опять удалит Вас надолго из Нью-Йорка.

Прошу Вас передать мой поклон Вашей супруге.

Сердечно Вам преданный

Нью-Йорк, 4-го июля 1951 года

Ал. Давыдов



БРЕГЕТ

*Пока недремлющий брегет
Не прозвонит ему обед.*

А. С. Пушкин.

З а несколько лет перед первой мировой войной в среде Петербургского общества началась эпидемия увлечения русским фарфором. Люди, особенно дамы, никогда ранее не думавшие о собирании каких-либо коллекций, бросились разыскивать на Александровском и других рынках и у антикваров произведения старинных русских фарфоровых заводов. Попова, Корнилова, Братьев Кузнецовых и др... Увлечение собиранием фарфора скоро перешло и на другие старинные предметы: русскую мебель стиля ампир, хрусталь и гравированные портреты. Спрос порождает предложение, и соответственно росту количества коллекционеров, росло и количество антикваров. Но если свежееиспеченные любители старины мало что смыслили в предметах своего увлечения, то в этом отношении от них недалеко отставали и новые торговцы этим товаром. Антикварами становились люди, раньше никогда не думавшие об этой профессии, но располагавшие кое-каким капиталом, позволявшим им скупать по дешевке на рынках или аукционах интересующие публику «антики». С этой целью они даже выезжали в Москву и провинцию и привозили иногда оттуда богатую добычу интересных предметов.

В описываемое мною время я тоже по-любительски занимался коллекционерством. Сделался я собирателем старинных гравюр случайно, после того, как моя бабушка подарила мне их коллекцию, унаследованную ею от ее деда гр. Лавалля, из-

вестного любителя старины, жившего в начале 18-го века. Особыми познаниями в гравюрах я не отличался, что же касается «искусства покупки», то о нем у меня были самые приблизительные сведения. Все же, когда я узнал, что бывший повар моего двоюродного брата открыл во дворе театра «Аквариум» антикварный магазин, я сразу решил, что такой исключительный случай может не повториться и что посещение этого нового магазина никак нельзя откладывать. Приехав к антиквару, я, разумеется, не назвал своей фамилии и спросил, нет-ли у него старых гравюр. Пересмотрев несколько папок, я скоро нашел в одной из них интересный экземпляр и, подражая опытным покупателям, отложил папку в сторону с разочарованным видом. Повар, по своей неопытности, не стал настаивать на ценности и качествах предложенного товара и сразу перешел ко второму акту комедии, т. е. стал показывать мне предметы, особого интереса для меня не представляющие. Купив, как бы мимоходом, за бесценок прелестный Елизаветинский граненый хрустальный бокал и два золоченых Екатерининских стакана, я вернулся к вопросу о гравюрах и, наконец, приобрел за дешевую цену ту папку, в которой находился интересовавший меня экземпляр. Расплатившись, я уже направился к выходу, когда антиквар остановил меня вопросом, не интересуюсь ли я старинными часами. Я совершенно искренне ответил ему, что никакого интереса к часам не имею. Искренность моя была тем более действительной, что собирание часов требует больших знаний, которых я не имел, и что оно доступно только лицам, располагающим большими средствами. Все же видя, что антиквару очень хочется показать мне какие-то особо интересные часы, и желая сохранить с ним добрые отношения, я нехотя согласился взглянуть на них. Антиквар достал из какого-то особого шкафа небольшую плоскую продолговатую коробку, покрытую красной кожей, и подал мне ее. Взяв ее в руки, я увидел на ее крышке тисненый золотом номер, насколько мне помнится 2675-ый. Внутри коробки было два гнезда, в одном из которых лежали открытые очень плоские часы с цепочкой и ключиком, а в другом — запасное стекло и циферблат другого цвета. По особой короткой цепочке я догадался, что часы были старинным брегетом. Я вынул их из гнезда и повернул. И тут то слу-

чилось то, что так редко выпадает на долю коллекционеров, — то счастье, которое много превосходит большой выигрыш в лотерею. На задней крышке часов был серый эмалевый герб рода Давыдовых! С большим трудом преодолев свое волнение, я спросил антиквара, чей это герб и кому принадлежали часы. Очевидно, неопытный торговец не заметил моего волнения, т. к. стал рассказывать мне, что герб на часах есть герб рода Давыдовых, что они принадлежали поэту-партизану Денису Васильевичу Давыдову и что они — старинный брегет. К этому он добавил, что купил их при распродаже Меншиковского архива, в котором было 12 писем Дениса Васильевича, купленных государем. Разумеется, он предложил мне купить часы и сказал, что хочет за них 1000 рублей, но что известный коллекционер, богач, дает ему за них только 900. Из последнего обстоятельства я заключил, что если я сейчас же не приобрету этот исторический брегет, имеющий для меня, внучатого племянника партизана, особую ценность, то, в конце концов, Утеман столкнется с антикваром о цене и брегет навсегда уйдет от меня. Я молча вынул 1000 рублей (к счастью они были при мне) и взял часы. Когда я уже подходил к выходной двери, антиквар сказал мне: «Позвольте узнать Вашу фамилию?» «Давыдов», — отвечал я и вышел из магазина.

Вернувшись домой, я завел ключиком часы и наслаждался их боем. Через несколько недель я поехал в Париж и взял с собой часы, понес показать их фирме Брегет, сохранившей старые архивы. Владелец фирмы, взглянув на номер, тисненый на коробке, велел подать себе книгу за 1804 год и прочел мне из нее: «Часы под номером 2675 были проданы в 1804 году князю Альдобрандини, который не заплатил за них и вернул в 1810 году. В 1814 году во время оккупации союзниками Парижа генерал Денис Давыдов приобрел их и велел сделать на задней крышке свой герб из серой эмали». К этому он добавил, что генерал Давыдов заплатил за часы 3000 франков и что, если я согласен уступить их фирме, то он предлагает мне за них 9000 франков. По тогдашнему курсу это составляло 3375 рублей.

Часов Дениса Давыдова фирме Брегет я не продал, но их, вместе со многими другими дорогими мне семейными вещами, унес поток революции...

СВ. ВАРФОЛОМЕЙ

Вскоре после приезда моего в Нью-Йорк, просматривая художественный отдел New-York Times я прочел, что галерея Вильденштейна приобрела несколько старинных картин из коллекции Гольман. Среди этих картин находился, как сообщалось в газете, «Св. Варфоломей» Рембрандта, когда-то принадлежавший князьям Трубецким. Эта заметка пробудила во мне столько давних воспоминаний, что я немедленно позвонил Вильденштейну и попросил у него позволения взглянуть на приобретенную им картину. Узнав мою фамилию, он любезно пригласил меня приехать через неделю, когда «Св. Варфоломей» будет приведен в порядок и займет подобающее ему место.

Когда в назначенный день я приехал в галерею, Вильденштейн провел меня в особую комнату на втором этаже, где на одной из стен которой висела давно не виденная мною картина. Но кто бы ее узнал! Вместо потемневшего от времени, висевшего в плохо освещенной части комнаты, изображения мужчины средних лет, с темными волосами и угрюмым выражением лица, предо мной была яркая, залитая светом искусно расположенных электрических ламп картина. Знаменитые рембрандтовские «свет и тени» ясно выступали на ее фоне и только лицо, с его особым выражением, по-прежнему было знакомым. Некоторое время я в молчании стоял перед картиной. Вильденштейн, понимая охватившие меня чувства, тоже молчал. Наконец, я стал рассказывать ему то, что, очевидно, должно было его интересовать.

Это было давно, начал я, более пятидесяти лет тому назад, когда мальчиком я каждый год ездил в Крым навещать моего деда и мою бабушку Давыдовых в их имении Саблы. Стены гостиной и кабинета деда в этой скромной усадьбе были увешаны картинами, которые, по малости моих лет, казались мне старыми и неинтересными. Только подростая, я стал все более и более обращать на них внимание. Наконец, когда мне было уже лет четырнадцать, я стал расспрашивать деда о картинах. Оказалось, что все они были унаследованы бабушкой от ее матери княгини Екатерины Ивановны Трубецкой, жены известного декабриста, и перед тем входили в состав коллекции ее деда гр. Лаваль, дом которого в Петербурге, на Английской набережной, был в начале 19-го века настоящим музеем. Когда я спросил деда, чей это портрет висит за его письменным столом в кабинете, он сказал мне, что это один из Рембрандтов, принадлежавший когда-то гр. Лаваль, название которого забыто. Видя мой пробуждавшийся интерес к ее картинам, бабушка показала мне список их, с обозначением оценки, составленный при разделе галереи ее деда. Среди прочих картин находился и Рембрандт, без указания названия, оцененный в 1000 рублей. Бабушка сказала мне, что гр. Лаваль, в частые свои посещения Парижа покупал там картины и как-то купил за 1500 рублей три Рембрандта.

Шли годы, бабушка старела, и у нее явилось желание еще при жизни распределить между внуками свои картины, с тем, чтобы они до ее смерти оставались у нее. Рембрандт, как самая ценная картина, достался моему старшему брату В. В. Давыдову. Он остался висеть на той же стене, часто даже и тогда, когда усадьба пустовала и плохо охранялась. Это было в те годы, когда в разных странах Европы начались кражи как из частных коллекций, так и из государственных картинных галерей.

Я был тогда уже взрослым и, живя в Петербурге, вращался в кругах близких к Эрмитажу лиц. Читал я и иностранные художественные журналы. Среди моих знакомых прошел слух, скоро подтвержденный этими журналами, что знатоки Рембрандта не досчитываются одной из его картин, называемой «Св. Варфоломей» или «Убийца». Известно было лишь, что картина эта находится где-то в России, но где именно ни-

кто не знал. Мне невольно пришла в голову мысль, что разыскиваемый Рембрандт и есть именно тот, который висит в Саблах. Участвовавшие кражи картин и интерес, проявляемый к пропавшему Рембрандту, заставили меня насторожиться. Неожиданное происшествие подтвердило мои опасения.

Как-то, не помню в каком году, дед и бабушка завтракали у себя в Саблах. За столом с ними сидел гость, престарелый сенатор А. Д. Свербеев. Завтрак подходил уже к концу, когда во двор усадьбы въехала извозщицья коляска с какими-то четырьмя неизвестными мужчинами. Лакей побежал встречать гостей и скоро вернулся с докладом, что проф. Шварц из Мюнхена хочет видеть г-жу Давыдову. Бабушка, не говорившая по-немецки и не любившая принимать неизвестных ей людей, попросила А. Д. Свербеева принять гостей и узнать у них, что им от нее нужно. Проф. Шварц оказался известным специалистом по Рембрандту и, не теряя времени, заявил, что после долгих розысков ему удалось с точностью установить, что пропавший «Св. Варфоломей» находится именно в Саблах. По его просьбе, А. Д. Свербеев показал ему картину и даже позволил снять ее со стены и подвергнуть всестороннему исследованию. По окончании осмотра профессор заявил А. Д. Свербееву, что показанная ему картина не принадлежит кисти Рембрандта, доказательством чему служит отсутствие на ней подписи живописца. «Но», — добавил он, — «я все же готов ее у Вас купить и предлагаю Вам за нее 15.000 рублей». А. Д. Свербеев ответил ему, что никто не просил господина профессора приезжать из такого далека для определения подлинности картины и что его мнение несколько его не интересует, т. к. г-жа Давыдова обладает исчерпывающими по этому вопросу документами. «К тому же», — сказал он, — «здесь не антикварная лавка и г-жа Давыдова своими картинами не торгует». Проф. Шварц, приехавший с целью купить за бесценок у ничего не понимающих русских провинциалов редчайшую картину, видя, что выгодное дело ускользает из его рук, потерял самообладание и сделал непростительную ошибку. Он предложил старому почтенному сенатору, обеспеченному человеку, взятку в 10.000 рублей за помощь в покупке картины. Результат такого наглого предложения последовал немедленно. А. Д. Свербеев

позвал прислугу и велел проводить непрощенных гостей до порога.

Происшествие это, однако, имело для бабушки и нас, ее внуков, значительно более важное значение. Местопребывание Рембрандта было открыто и опасность хранения его и других ценных картин в деревне стала очевидна. Бабушка просила нас взять сейчас же у нее назначенные нам картины, что мы сделали не без удовольствия. Но тогда как мы со вторым моим братом не хотели расстаться с ними, старший мой брат, не интересуясь старинной живописью и нуждаясь в деньгах для расширения своих хозяйственных предприятий, решил продать своего Рембрандта. С этой целью он поехал в Берлин и обратился, по моему совету, к моим друзьям банкирам Мендельсонам с просьбой указать, кому он может предложить свою картину. Мендельсоны указали ему на английскую фирму Agnew, один из владельцев которой находился как раз в Берлине. Они даже предложили брату устроить свидание с ним у себя в банке, куда для безопасности перенести картину. Agnew, осмотрев ее, сказал брату, что она, по всей вероятности, есть Рембрандт, но что ввиду отсутствия на ней подписи, лучше показать ее такому эксперту, как проф. Бодэ, хранителю Kaiser Friedrich Wilhelm Museum. Проф. Бодэ высказал, что нижняя часть картины закрашена и для того, чтобы иметь возможность безошибочно определить ее подлинность, картину необходимо реставрировать т. е. снять весь «не рембрандтовский» слой краски. Цену за реставрацию, ввиду ее рискованности, он определил высокую — 8.000 марок. Agnew предложил брату разделить этот расход и, в случае удачного исхода операции и обнаружения подписи, уплатить ему 500.000 марок. В случае же несогласия брата на это предложение, он, Agnew, готов был взять на себя риск реставрации и ее стоимость, брату предлагает сейчас же 300.000 марок. Выторговав еще 50.000 марок, брат согласился на второе предложение.

Несколько месяцев спустя я прочел в журнале «Die Kunst», что реставрация вполне удалась, что на левой стороне картины открылась полностью подпись «Rembrandt van Ryn 1657» и что изображенный на ней мужчина держит в руке не книгу, как было до снятия верхнего слоя краски, а нож. Это

был давно разыскиваемый «Св. Варфоломей» или, как его называли из-за ножа в руке, «Убийца». Тут же было указано, что Agnew продал картину в Америку г-ну Гольману за 700.000 марок.

Вильденштейн внимательно слушал мой рассказ и только, когда я упомянул о реставрации, на его лице изобразилось удивление — он, видимо, не знал о ней. Когда я кончил, он открыл на заложенной странице толстую книгу и указал мне на список лиц, владевших Рембрандтом до г-на Гольмана. Я прочел: *Princesse Laval, Princesse Troubetzkoy, Prince Davydoff*. «Все это верно», — сказал я ему, — «но только графиня Лаваль не была княгиней, а мы, Давыдовы, никогда не были князьями». Мы рассмеялись, и он проводил меня до подъезда.



МИРОВОЙ КРИЗИС И ВОЛЬНЫЕ КАМЕНЩИКИ

Должно ли и может ли масонство играть особую роль в критические эпохи истории? Иными словами, должно ли оно стараться повлиять на мировые события в такие эпохи? И, в случае положительного ответа на этот вопрос, как может оно это сделать?

Чтобы правильно ответить на эти вопросы, надо прежде всего рассеять очень распространенное недоразумение, затемняющее самое понятие о масонстве. О том, что собой представляет масонство, существует много различных мнений. Тот факт, что масонство есть тайное общество с его особым градусным устройством, сам по себе создает для профанского мира соблазн произвольно влагать в понятие о нём разнообразное содержание и даже приписывать ему темные цели. Кроме того, как тайное общество, масонство не может, не обнаруживая своего существа, заниматься апологией. Дело осложняется еще более тем, что масонство представлено несколькими «уставами», из которых некоторые вовсе не соответствуют подлинному его существу и присваивают себе только его внешний облик. Наконец, даже в самой среде истинного масонства далеко не все его адепты вполне знакомы с его сущностью.

Не останавливаясь на оценке отдельных суждений о масонстве, можно вывести из них одну общую им черту — ошибочное признание масонства одной из многочисленных общественных организаций общего типа, действующей как таковая. От этого ошибочного мнения недалеко до заключения, что масонство играло и еще играет значительную политическую роль, т. е. либо само руководит политическими течениями,

либо является их проводником, принимая определенные решения, обязательные для всех братьев на различных его ступенях.

Не прибегая к апологии масонства и не разглашая его тайн, можно все-же попытаться рассеять создавшееся вокруг него главное недоразумение. Без этого нельзя подойти к правильному разрешению поставленного в начале этой статьи вопроса. Дело в том, что масонство, в отличие от различных профанских обществ и организаций, действующих в материальном плане и преследующих те или другие материальные цели, работает в духовном плане и ставит себе цели, соответствующие этому плану. Главной его целью является построение идеального человеческого храма, сложенного из камней особенно для этого обработанных. Для масонства человек есть грубый необделанный камень, не могущий в своем первобытном виде стать рядом с другими составной частью создаваемого идеального храма. Обработка этих камней и есть масонское посвящение.

Из сказанного ясно, что масонство как таковое, преследуя далекую идеальную цель, само по себе не может реагировать на относительные преходящие события внешнего мира, как бы ни важны они были для человечества в данную историческую эпоху.

Но если принять во внимание, что обрабатываемые масонством камни, или его адепты, продолжают жить и действовать во внешнем мире, то можно поставить вопрос о том, могут ли они и даже не должны ли они сыграть в этом мире свою особую роль и именно какую? Для того чтобы дать на этот вопрос ответ положительный и вместе с тем обоснованный и понятный, надо сначала остановиться на одной особенности посвящения, предопределяющей характер роли, играемой масоном во внешнем мире или по крайней мере обязательной для него.

Цель обработки грубого камня или иначе говоря перерождения профана определяется самой целью масонского ордена, т. е. самим его существом. Идеальное человеческое общество, которое масонство именует храмом, может быть построено только из людей, могущих побороть свои страсти и единодушно с себе подобными стремиться к единой цели —

осуществлению высших духовных начал, врожденных в человеке. Для этого ему нужно прежде всего найти путь истины среди окружающих его и заполняющих его сознание относительных явлений. Достигнуть этого он может только вновь обретя давно утраченную способность сознавать единство, т. е. абсолют, путем преодоления множественности, определяющей в настоящую историческую эру его мышление.

Безразлично, достигает ли вполне масонство своей цели в обработке грубого камня и удастся ли ему создавать людей, способных к преодолению множественности. Достаточно того, что человек, внимание которого сосредоточено на этом, приобретает тем самым определенное направление мысли, отличное от того, которое руководит теми, кто не знает посвящения. Это направление мысли дает масону возможность иначе смотреть на происходящие в мире события, иначе их оценивать и, главное, видя и определяя все, что в них есть относительного и преходящего, разрешать порождаемые ими противоречия в высшем духовном плане. Из сказанного можно заключить, что масон, преследуя далекую цель построения идеального человеческого общества, не может относиться равнодушно к тому, что происходит в нем на нынешней ступени его развития, и не только может, но и обязан помогать разрешению нарождающихся в нем противоречий, — зачастую грозящих гибелью всего, что составляет главные ценности, приобретенные веками борьбы и страданий.

Так как в настоящее время человечество переживает один из периодически потрясающих его кризисов, исход которого пока трудно предопределить и который вполне реально грозит великими несчастьями, в виде утраты им не только материального благополучия, но и многовековой культуры, то, переходя от общего вопроса о роли масонов в мировых событиях можно обратиться к вопросу о том, в чем может развиться эта роль в настоящее время.

Для того, чтобы правильно ответить на этот вопрос, надо сначала точно выяснить сущность переживаемого кризиса, противоречия им вызванные и причины эти противоречия по-

родившие. Если конец 18-го века и весь 19-ый век были эпохой утверждения свободы во всех ее проявлениях, то темой 20-го века есть социальное равенство. Великая Французская Революция в трехчленной формуле «Свобода, Равенство и Братство» сформулировала естественные и исконные вожделения человечества, но не вполне их осуществила. Наиболее полное осуществление получила свобода, что естественно потому, что, во-первых, в ту эпоху она была доминирующим элементом человеческих стремлений, а, во-вторых, её осуществление было наиболее легким. К этому не было никаких препятствий ни экономического, ни социального характера. Что касается равенства, то оно было осуществлено только частично, в политическом его аспекте. Французская революция была буржуазно-политической, а то, что теперь происходит, есть революция социальная.

Такое положение должно было бы представляться логическим и естественным. Время полного осуществления второго члена трехчленной формулы после завоевания свободы должно было прийти, и оно наступило. Так думали еще не так давно теоретики социального равенства, и оно казалось им легко осуществимым в том смысле, что, кроме противодействия классов, интересам коих это угрожало, никаких других препятствий к этому быть не могло, особенно в рамках демократических режимов. Однако при попытке практического проведения в жизнь выработанных теорий, человечество встретило с совершенно неожиданным для него препятствием. Оказалось, что практическое осуществление социального равенства создает конфликт между ним и свободой. Обе эти идеи не могут сосуществовать, не ограничивая друг друга. Противоречие это настолько сильно и глубоко, что попытка разрешить его расколола мир на два враждующих лагеря и вражда эта грозит в настоящее время небывалыми бедствиями и крушением человеческой культуры и цивилизации. Оба лагеря, преследуя одну и ту же цель, расходятся в способах её достижения. Оба видят возможность установления социального равенства исключительно в социализме, но оба разное решают вопрос о способах проведения его в жизнь, т. е. о разрешении противоречия между ним и свободой. Один лагерь, коммунистически-тоталитарный, заявляет, что он

ввел социальное равенство в подвластных ему странах, но умалчивает о том, что равенство это есть равенство бесправных рабов, стоящих на самой низкой ступени человеческого бытия, и что осуществлено оно путем полного упразднения всех видов свободы и низведения человеческой личности до состояния рабочего муравья в муравейнике. Для этого лагеря нет «проклятых вопросов», они все разрешены насильем и обманом. Другой лагерь знает, что равенство в бесправии не может дать человеку того, к чему оно всегда стремилось, и что рано или поздно бесправные, но равные рабы восстанут, чтобы вернуть утраченную ими свободу. Вот почему этот лагерь всячески стремится найти выход из положения и примирить два противоречащих начала — свободу и равенство. Задача эта трудная, и, пока решение ее не будет найдено, свободному миру приходится всячески защищать от агрессии тоталитарной тирании свободу.

Нельзя с точностью установить, кому принадлежит авторство формулы «Свобода, Равенство и Братство». Взяли ли эту формулу деятели Французской Революции у французского масонства, к которому многие из них принадлежали, или это масонство переняло ее от Революции. Можно допустить, что скорее верно второе предположение, т. к. формула эта вошла только в ритуал первых трех его градусов как Шотландского Устава, так и Великого Востока. Ни в одном масонстве других стран она не применяется, равно как и во французских высших градусах Шотландского Устава. Собственно говоря, это не так важно, т. к. так или иначе, в истинном своем понятии, она носит определенный масонский характер. Не говоря уже о том, что, будучи трехчленной, она вполне соответствует, играющей столь значительную роль в масонстве, цифре три. Затем, из трех составляющих ее элементов легко составить треугольник, положив в основание его два, как теперь выяснилось, противоречащие друг другу понятия: свободу и равенство — и в вершину третье — братство. Самый факт возможности построения такого треугольника многозначителен. Из него вытекает, что ответ на тревожащий человечество вопрос об устранении противоречия между первыми двумя членами фор-

мулы надо искать не вне её и не в поглощении одного из этих понятий другим, а в ней самой — в третьем ее члене — братстве, который должен быть синтезом первых двух.

Профанскому миру как бы не доступна вышеприведенная мысль. Он мыслит в материальном плане и ищет решений вопросов в плоскости. Только масон знает, что противоречия могут быть разрешены только в высшем духовном плане, вне и над этими противоречиями. Неудивительно поэтому, что, борясь и проливая кровь для завоевания свободы и равенства, два самих по себе великих начала, могущих однако быть облечены в материальную форму, человечество до сих пор не подумало об установлении на земле братства. Братство есть категория духовная, не могущая принять материальную форму, установление его не даст непосредственно материальных благ. Оно никоим образом не может удовлетворить эгоистические вожеления человека. Оно есть любовь, а потому, как всякая истинная любовь, оно альтруистично. Не только в Новом Завете, но и в Старом первой и главной заповедью считается: «Возлюби ближнего своего, как самого себя», т. е. будь ему братом. Человечество не забыло об этой заповеди, но отнесло к разряду прекрасных утопических невыполнимых пожеланий и теперь жестоко за это платится. Как можно было думать о таком прекраснодушии, когда надо было бороться за насущные нужды, как хлеб, свобода и равенство. А между тем оказалось, что частичное осуществление формулы Французской Революции не только не может принести человечеству счастливой и мирной жизни и создать на земле царство правды, но наоборот, грозит повергнуть его в хаос, в котором оно теряет и то, чего как ему кажется, оно уже достигло. Свобода и равенство могут быть осуществлены и иметь полное и истинное свое значение лишь претворенные в братстве, т. е. в любви. Только при этом условии противоречие между ними станет немислимым.

Из сказанного можно вывести заключение о том, в чем должна быть роль масона в настоящее критическое время. Ее можно кратко сформулировать так: в противовес тоталитарно-коммунистической идее о введении на земле социального равенства путем насилия и объединения человечества в рабстве, стремиться объединить его в братстве, т. е. в любви.

Однако такая краткая формула может в теперешнее реалистическое время показаться нереальной. В нашу эпоху трудно себе представить, что какая-нибудь проповедь абстрактного идеала может иметь успех в широких массах. Мало-ли сейчас существует организаций, такой проповедью занимающихся, не говоря уже о церквях различных исповеданий, неустанно напоминающих своим членам о необходимости помнить о вечных религиозных началах. К сожалению, если к такого рода проповеди человечество и относится с уважением, то в своих действиях им не следует. Уж очень все, что говорится в этой проповеди, оказывается неприменимым к практической жизни. А на самом деле осуществление на земле человеческого братства и любви к ближнему есть насущная необходимость и обязательное условие не только для духовного совершенства человека, но и для материального его благополучия. Если церкви и организации, преследующие одинаковые с ними цели, не имеют успеха в своих проповедях, то не потому ли, что цель их состоит только в спасении человеческой души, а не в построении идеального человеческого общества, в котором вечные начала свободы и равенства обретут свое истинное существование и не будут противоречить друг другу.

И все же может быть поставлен вопрос, как и в чем может выразиться конкретная деятельность масона, преследующая цель установления человеческого братства. Что должен и может он сделать для того, чтобы усилия его в этом направлении не явились бы повторением морально-идейной проповеди различных церквей и подобных им организаций, а носили бы практический характер? Т. к. можно усомниться, что прямая борьба за братство, даже подкрепленная рациональными доводами, может иметь успех в наше время, то приходится искать другого подхода к этому вопросу.

Часто бывает, что, стремясь к чему-нибудь, встречаешь затруднение в борьбе «за» то, чего желаешь, и бывает гораздо легче бороться «против» того, что мешает осуществлению желаемого. В данном случае, т. к. альтруизму братства и любви к ближнему противостоит эгоизм и все недобрые чувства, из него вытекающие, то борьба за братство может выразиться в борьбе против всех явлений общественной и политической

жизни, в коих эгоизм особенно выражается. Трудно перечислить все эти явления и можно лишь указать на главные из них. Первое место среди них занимает, бесспорно, классовый эгоизм, который и есть первопричина противоречия между свободой и равенством. Этот эгоизм больше всего опасен для западного мира, т. к. из-за него отдельные классы населения, думая лишь о своих классовых интересах, забывают об общем государственном благе и ставят под угрозу саму безопасность государства.

Второе место занимает эгоизм политических и общественных деятелей, которые видят в политике не преследование общих государственных целей, а личное возвышение и выгоду. Этим эгоизмом объясняется превращение для очень многих политики в политиканство.

Третье по важности явление, мешающее осуществлению братства, есть расовая и религиозная дискриминация, являющаяся тоже своего рода эгоизмом. Дискриминация основана на чувстве превосходства своей расы или своей религии над другими и вытекающих из него презрения и ненависти. Взять хотя бы антисемитизм, который существует во всем мире, даже в наиболее культурных народах. Человечество за много веков не только не сумело психологически изжить это зло, но даже дошло до того, что как-то сжилось с фактом, никогда, даже в самые темные времена истории, не имевшим место, физическим уничтожением шести с половиной миллионов евреев, произведенным волею одного человека при попустительстве подвластного ему народа. Сюда же можно отнести убеждение, что существуют высшие и низшие народы, т. е. унтерменши, что западная культура есть единственная и истинная и причисление восточных народов к варварам и, наконец, шовинизм среди самих западных народов.

Поле для работы масонов в внешнем мире обширно, и они не могут не взяться за нее.

Заключая эти строки, невольно вспоминаешь возглас греческой православной литургии:

«Возлюбим друг друга, да единомыслием исповедимы!»



ПОСЛЕСЛОВИЕ

МОИ КРАСНЫЕ КРЫМСКИЕ ЯБЛОКИ ИЛИ В ПОИСКАХ НЕЗАБЫТЫХ ВРЕМЕН

Воспоминания моего отца... Как мне хотелось бы, чтобы они заинтересовали других так же, как они интересуют и приводят в восторг меня. Как объяснить эту жажду, которую я чувствую, эту необходимость обратиться к прошлому в поисках моих корней и давно минувших дней.

Я жила, словно в сказке, рядом со мной были Папа и Мама. Но скончался Отец, двадцать лет спустя умерла Мама. Тогда я, вдруг как бы очнувшись и осознала, что их больше нет и что только они были для меня связью с Россией, со страной, которую я едва знала.

Я была единственным ребенком, избалованным и, несмотря на войну, очень счастливым в своем уютном мире, с Папой, Мамой и Бабушкой. И, быть, может из-за войны я научилась все в жизни ценить и никогда ничего не принимать как должное. Мы жили в Париже, в Auteuil, где также жили и другие эмигранты. Дома, в детстве, благодаря моей бабушке, мы почти всегда говорили по-русски.

У моих родителей было много русских друзей и знакомых. Мама играла на рояле и пела русские романсы и цыганские песни, дома мы всегда традиционно праздновали Светлое Христово Воскресение, с пасхой и куличом; а я красила яйца, пытаясь их расписать так же красиво, как это делала моя гувернантка, она рисовала на яйцах церкви с православными куполами. Бабушка готовила русские блюда... Но, не-

смотря на это, Россия — родина моих родителей, была как портрет далекого предка, перед которым каждый день несколько раз проходишь, не замечая и считая его как бы принадлежностью стены!

Да, все эти русские обычаи бессознательно укоренялись во мне. С годами атавистические чувства стали все сильнее и сильнее меня захватывать. Мой отец, «мой рыцарь» — так он себя называл — все эти годы был около меня. Имея прекрасную память, он всегда был готов рассказывать мне о событиях, которые отлично помнил, и описывать людей, с которыми он встречался перед тем, как покинуть Россию. Но я была молодой и глупой, я всегда куда-то спешила вместо того, чтобы спокойно сидеть и слушать его. Но вот умер Папа. Сейчас я горько жалею об упущенном времени и дала бы многое, чтобы иметь возможность вновь послушать рассказы отца.

Спустя двадцать лет умерла Мама. Смерть Мамы меня потрясла, мы с ней были так близки, обожали друг друга, жили рядом. Исчезли тепло и уют, не с кем больше говорить по-русски... А русское начинало все сильнее и сильнее меня притягивать. Ведь Мама тоже порой мне рассказывала о давно прошедших временах. Теперь-то я хорошо ее понимаю, когда с книгой в руках она объясняла мне, что отдыхает по-настоящему, только читая русские книги. Я тоже теперь предпочитаю читать по-русски, находя в этом покой и уют. Однажды какая-то неведомая сила меня подтолкнула, и я вынула из шкафа папин чемодан с бумагами.

Они лежали почти забытые. Я начала читать и решила навести в них порядок. Это была большая работа, но чем дальше я углублялась в нее, тем больше она меня увлекала, так мучимый жаждой человек надеется утолить ее стаканом воды... Но он пьет еще и еще — и вдруг осознает, что его жажда неутолима. Тогда я решила, что должна сама увидеть эту страну, Россию, хотя она уже и не была такой, какой ее знал и описывал мой Отец. Я могла бы там найти, имея некоторое воображение, следы былого.

В мае 1973 года мы с мужем впервые на нашей английской машине поехали из Парижа в Россию через Страсбург, Баден-Баден, Вену, Будапешт и венгерскую границу. Это была чудесная поездка, потому что все было ново. Я находи-

лась на русской земле, и вокруг меня все говорили по-русски. Во Львове мы провели первую ночь в России. Потом Киев, красивый город на Украине, такой зеленый и богатый, с его Ботаническим садом, с парками над Днепром, утопающими в душистой сирени, с виднеющимися темносиними куполами и колокольнями Выдубецкого монастыря. А еще дальше блестел Днепр...

В Киеве я пыталась взять разрешение на поездку в Каменку, — но так как мы об этом не запросили в Париже, то теперь поехать туда было невозможно. В Орле я совсем случайно услышала в гостинице, что дом Тургенева находится всего в нескольких километрах, и мы поехали туда. Этот дом-музей и его чудесный парк со столетними дубами очень стоит посмотреть. Затем Москва и Новодевичий монастырь, где я нашла могилу своего предка, Дениса Давыдова, всегда в цветах, Донской монастырь, где были другие могилы Давыдовых и среди них могила Варвары, жены Петра, брата декабриста Василия Львовича Давыдова. Мы нашли улицу Арбат, где когда-то жил Папа, но, несмотря на то, что мы были на машине, мы почему-то не попытались найти ни Елизаветинский институт, ни Гороховое поле, ни дом Толстого. В это время я еще не прочла все папины мемуары, где он обо всем этом писал, и мне это тогда не казалось таким необходимым, как теперь. Да и в Москве мы могли остаться только пять дней, а это совсем немного.

Выехав из Москвы, по дороге в Новгород мы остановились в Клину, посетили дом П. И. Чайковского, где он жил до своей кончины. Рядом музыкальное училище. Там бывают концерты, конкурсы, выступления. И везде имя — Ю. Л. Давыдов. Администратор музея, заметив мое любопытство, позвонил кому-то и через несколько минут поднялась по лестнице и подошла к нам пожилая дама. Это была Ксения Юрьевна Давыдова. Она пригласила нас в свой кабинет поболтать и попробовать выяснить, не родственницы ли мы? Мы выяснили, что да. Её дедушка был двоюродным братом папиного дедушки и, значит, мы с ней их далекие племянницы. Сестра Чайковского была замужем за Львом Давыдовым, одним из сыновей декабриста Василия. Лев, отец Юрия, — дед Ксении Юрьевны, был хранителем этого музея. После его смерти его дочка Ксе-

ния стала тоже хранительницей и именно с ней я говорила и слушала её рассказы о Каменке. Она неясно, но все же помнила моего отца. Потом мы осмотрели дом, где жил Чайковский, где на стенах висело много портретов и фотографий моих прадедов. А время летело. Надо было уезжать. Увидимся ли мы опять? Во всяком случае, будем писать друг другу.

По дороге мы осмотрели Новгород с его великолепным Кремлем, и, наконец, Петербург, этот изумительный город, в котором больше чем где-либо я пыталась разыскать следы того, о чем писал Папа. Смольный Институт, теперь областной комитет коммунистической партии, раньше был Институтом благородных девиц. Папина тётя, Светлейшая Княжна Ливен, тётя Лина, была начальницей Института в течение тридцати лет. Папа часто её навещал и приходил сюда на балы. Эрмитаж — Зимний Дворец — один из самых богатых музеев на свете, где Папа, камер-юнкером, бывал при дворе. Он видел все эти улицы, набережные Невы, Английскую набережную. Там и теперь стоит дом, со своими знаменитыми львами, охраняющими крыльцо, некогда принадлежавший Лавалям. Отсюда Каташа уезжала в Сибирь. С другой стороны Невы — Университет, окруженный деревьями. Все эти места Папа посещал и знал так же, как и дворцы около Петербурга: Павловск, Петергоф и Царское Село (теперь Пушкин), куда Папа тоже ходил на праздники. Я смотрела на все улицы, дома, магазины. Многое, наверно, переменялось, но вот знаменитый магазин Елисеева, как в Париже «Фошон», в котором продавались перепелки, семга, икра.

Во время этой поездки я не переставала думать о папиных мемуарах, о той работе, которая ждала меня. Все прочесть, все наладить — эта мысль меня очень радовала и, находясь здесь, в Петербурге, в России, мне все сильнее хотелось побольше узнать об этой стране и её истории

Вернувшись в Париж, я начала было работу, но тогда, совсем внезапно, в мае 1975 года, скончалась Мама, и с того дня я вдруг поняла, что мне некого больше расспрашивать о России. И опять-таки, так же как и с Папой, мы с Мамой обычно говорили о разных мелочах повседневной жизни, вместо того, чтобы говорить о России и её прошлом.

Я продолжала разбирать папины мемуары. А зимой, в январе 1977-го года, мы опять поехали в Россию, в Петербург, на целую неделю. Было очень холодно — —25°, все покрыто снегом. И эта поездка была великолепная, снег очень красил город. Легко было себе представить санки, лыжи и тройки в начале этого века. Это мне напоминало старую гравюру, и я представляла себе жизнь в городе зимой, в те времена: замерзшую Неву, жителей, которые могли по ней ходить, скользить и даже ездить... И как со дня на день вся жизнь менялась, как только выпадал снег.

Все так красиво, так спокойно. Дни стояли короткие, и в полдень солнце было красным, как перед заходом. Таких пастельных красок, разнообразных и нежных, не встретишь в южных странах. Небо далекое, северное, и в четыре часа дня уже ночь. Забавно было видеть горячих, энергичных купальщиков, ныряющих в прорубях на Неве, перед Петропавловской крепостью, где я опять побывала, чтобы увидеть тюремные камеры, в которых были заключены декабристы до ссылки в Сибирь. Я увидела тюрьму и маленький двор, куда их каждый день выводили на прогулку.

Я пошла на кладбище у Александро-Невской лавры, где похоронены все артисты. Нашла могилу Чайковского с его бюстом, могилы Римского-Корсакова, Глинки и многих других. Была в Никольском соборе, «Матросном», который был открыт и где ежедневно бывали богослужения. Я очень люблю наши православные церкви; хор, даже самый маленький, всегда так красив, и отражение свечей на иконах всегда меня чарует. Неделя в Петербурге — это и долго, и в то же время коротко. Сколько всего увидеть, осмотреть. Конечно, зимой фонтаны и статуи обиты досками для защиты от мороза, но как прекрасны парки и сады, как бы реющие в морозном воздухе, окутывающем голые ветки деревьев. Все это мне напоминало балет «Золушка», поставленный маркизом Куевасом, где все декорации создавали игру голубых, светлорозовых и фиолетовых тонов, а остальное было белым, как снег. Это казалось волшебным видением. В Павловском парке люди даже катались на лыжах, а одна женщина возила свою мать в кресле на полозьях. Снег был повсюду и часто падал с крыш.

И я опять вспомнила о том, как мой отец описывал восьмидесятые годы прошлого века в России. Я помню, он рассказывал о наступлении оттепели, когда, после месяцев глубокого сна, Нева вновь текла, унося большие, толстые льдины, и тогда снова могли плыть пароходы и лодки. Моя Мать тоже описывала, как на Пасху — которая была не только главным праздником, но также знаменовала окончание зимы и начало оттепели — был обычай к заутрене надевать что-нибудь белое...

Ну, а потом я отправилась в Россию третий раз. В тот же Петербург, полтора года спустя, в июне, во время «белых ночей», когда дни так долго длятся, а ночь наступает только в три часа утра. Совестно ложиться спать!

Я поехала со своей дочкой, она раньше никогда не бывала в России. Я была её гидом и хотела ей показать все, что я сама уже видела. Мы пошли с ней на набережную Декабристов. Оттуда на пароходе мы поехали в Петергоф. На Английской набережной я сфотографировала мою дочь, сидящей на льве, на крыльце особняка Лавалей. Дом этот был построен Тома де Томоном, знаменитым архитектором середины восемнадцатого века, времен царствования Екатерины Великой, когда строилось много дворцов: москвичи, устраивались в «новой столице». Мы осмотрели музей, находящийся в Петропавловской крепости, переполненный всякими реликвиями времен декабристов. Съездили также и в Царское Село, где, кроме великолепного дворца и парка, есть очень богатый и интересный музей, там я увидела портреты Давыдовых и карикатуру на Дениса Давыдова, нарисованную Пушкиным. Мне так хотелось показать моей дочке как можно больше всего в том городе, где жил её дедушка. Неделя промчалась быстро, и у меня, как всегда, было чувство, что я не все показала.

После этого прошел год и другой. Казалось, что я уже давно не была в России. Но вот, наконец, в конце августа 1981 года мы вылетели с мужем в Киев. В летний сезон, один раз в неделю, по субботам, есть прямой рейс из Парижа в Киев. Через три с половиной часа мы очутились в другом мире. Оставив Париж, как обычно ещё пустым в эти последние дни августа, мы попали в Киев, где, напротив, улицы были битком набиты людьми, да и наша гостиница была полна. Дежурная,

увидев нас, произнесла: «Франция?». В ответ я спросила, по-русски, далеко ли наша комната? Она удивилась, почему я говорю по-русски... «Я русская», — ответила я. «Ох, ах, как это случилось?». — «Потому что мои родители были русские, а я сама Давыдова». Это имя связано с одной из исторически значительных эпох в России. А я как раз и приехала для встречи с историей, в эту уже четвертую поездку по следам воспоминаний моего отца, в те же места, где некогда жили мои предки.

Мы покинули Киев на следующее утро и двинулись в Черкассы на машине, взятой в «Интуристе». Правил мой муж. Черкассы находятся только в пятидесяти четырех километрах от Каменки, и мы поехали туда на нашей «Ладе» с гидом «Интуриста». Бог знает, зачем ему надо было нас сопровождать, если вел машину мой муж! Во всяком случае мы находимся на дороге в Каменку. Это название я слышала всю свою жизнь, дома, ещё при жизни моих родителей.

Погода чудесная. Дорога заполнена грузовиками и редкими частными машинами. Я жадно смотрю по сторонам, чтобы ничего не пропустить, думая о том, что по этой дороге, наверное, тогда не мощенной, Папа и мои предки ездили в колясках, санках или просто верхом. Когда я говорю «предки», это не только Давыдовы, но и Раевские, Трубецкие, Волконские, Бестужев, Рылеев, Пушкин и, уже позже, Чайковский, и многие другие известные люди, посещавшие Каменку.

Эти пятьдесят четыре километра кажутся слишком короткими. Я хотела бы удлинить каждую версту, чтобы иметь больше времени для самого ожидания, осуществления одной из целей этой поездки. Я почти боюсь, а вдруг все мои мечты и надежды разрушатся, как картонный домик, когда я окажусь лицом к лицу с реальностью. До Каменки мы проезжаем Смелу, где течет Тясмин, болотистая река, протекающая и через Каменку. Водяная мельница дает электричество для сахарного завода. Мы останавливаемся, чтобы сфотографировать озеро и церковь на возвышении. Все так спокойно в это прекрасное утро. Еще несколько километров, и мы в Каменке. Ставим машину и входим в калитку, над которой надпись: «Музей Чайковского и Пушкина». Мы поднимаемся по аллее, и нас встречает женщина, которая по-русски мне говорит:

«Ольга Александровна, мы вас ждём». Боже мой! Не сон ли это? Действительно ли я нахожусь в Каменке, и эта женщина, которая мне говорит, что все покажет, не видение ли она? Мало сказать, что я была взволнована. Мне хотелось молчать, не двигаться, глубоко переживая эту минуту, это мгновение: как ребенок перед пещерой Али-Баба. Но секунды и минуты проходят, и я должна идти вперед по этой «дороге прошлого».

Вначале Мария Антоновна Шкалиберда показывает нам дом, в котором находится музей. Дядя Коля жил в этом зеленом домике. Как и во всех музеях в России, все в нем отлично и с любовью сохранено. Здесь гравюры и картины, на которых изображен прадед, а также «Большой дом», каким он выглядел в те времена, и Николаевская церковь до того, как она сгорела и дядя Коля построил новую.

Так вот оно, как было «тогда», то есть в двадцатых, тридцатых и сороковых годах XIX-го века. Весной весь газон, впереди, был покрыт фиалками. В гостиной стоит один из роялей, принадлежавших Давыдовым, на котором Чайковский сыграл в первый раз «Евгения Онегина». Все стоит, как будто ожидая своих хозяев, и не нужно много воображения, чтобы представить себе, как было весело и радостно, когда готовились коляски для пикников в «Большом лесу», или, как все его называли, «Болтыше», и как там дети тащили сухие ветки и прутья для костра и где Чайковский, приехавший гостить к своей сестре, Александре Давыдовой, присоединялся ко всем и слышал там «веселые детские крики». Трудно мне описать этот визит, где каждый предмет меня интересовал и у каждого хотелось задержаться, наперед зная, что захочу ещё сюда вернуться. Невозможно все сфотографировать, невозможно запомнить все детали, все предания, рассказанные Марией Антоновной, неиссякаемым источником воспоминаний и историй о всех обитателях Каменки. Мы посетили грот, в котором Пушкин, а после него Чайковский любили сидеть и отдыхать. Где Елизавета Васильевна, Папина тетя, уговорила Петра Ильича не менять конец «Онегина», как ему предлагал его брат Модест Ильич, и не заставлять Татьяну покинуть мужа ради любви к Онегину. После этого идем обедать — маленький перерыв в этом волнующем дне.

После обеда гуляем по большому саду, теперь мемориальному, с памятником Декабристам, где слева мой прадед В. Л. Давыдов. В парке много деревьев разных пород, они, наверное, были много меньше в папино время. Я знаю, что многое переменялось: нет больше маленьких, неприглядных еврейских домиков вдоль грязных улочек и нет больше синагоги, но все же стоят сахарные и винокуренные заводы и вон там тот мост через Тясмин, где рыбак терпеливо удит рыбу... Да, эта мысль меня никогда не покидает в течение всей этой поездки.

Приехали мы сюда около десяти часов утра, а сейчас почти четыре. Энергия Марии Антоновны, её живость никогда не угасали, и я думала, как жалко, что я не могу завтра ещё вернуться, доспросить обо всем, что пропустила, несмотря на все мои усилия и желание все запомнить. Я не сомневалась, что моя память меня подведет и я забуду многие детали. Но нам оставалась ещё «Юрчиха». Далеко ли это и возможно ли туда поехать? Да это всего в трёх километрах, мы можем поехать! И вот мы едем на автомобиле в дом, где жил Папа. По дороге вся в цветах могила моей прабабушки, Александры Ивановны Давыдовой, жены декабриста, урожденной Потаповой. Как трогательно выглядят эти цветы! «Юрчиха» теперь санаторий для туберкулезных детей. Дом очень хорош. Одноэтажный, просторный, скромный, с большим садом, стоит он чуть на возвышенности, вокруг деревня и высокие сосны. Чудный вид! Осматриваем все комнаты. Некоторые, я думаю, изменились, но многие остались такими же, как были. Я ласкаю перила лестницы: они подлинные, старинные, как мне говорят. Отсюда мы тоже должны уезжать. Как жаль! Доктора, встретившие нас, очень милые люди, и они интересуются всем тем, о чем я им рассказываю. Потом прощаемся с Каменкой и целуемся с Марией Антоновной, я обещаю ей написать и прислать снимки — и она отходит от машины быстрым, энергичным шагом.

Мы едем в Черкассы. Я во власти множества новых впечатлений и переживаний. Если бы Папа мог бы меня видеть. Я так сейчас к нему близка. Первая часть этой поездки окончилась Каменкой, которую я наконец увидела. Я надеюсь, что фотографии выйдут хорошо, они будут свидетелями этого

хотя и чересчур короткого, но изумительного визита, о котором я так давно мечтала.

Мы на один день остаемся в Киеве — делаем перерыв. У нас чудные воспоминания об этом городе, но в этот раз мы не увидим сирени в Ботаническом саду — сезон прошел. И мы ещё больше дорожим драгоценными воспоминаниями нашей первой поездки. На следующий день мы вылетаем в Крым. В самолете на Симферополь я сижу около пассажира, который там живет, и пытаюсь узнать, где находятся «Саблы». Мы приезжаем в гостиницу, распаковываем наш багаж и быстро, до сумерек, идем в город.

Алла — работница «Интуриста» — не уверена в том, что нам разрешат посетить «Саблы», но завтра мы можем поехать в Ялту. Я отвечаю, что не смогу ни есть, ни спать до тех пор, пока не выяснится, увижу ли я «Саблы». Мы гуляем по Симферополю, городу, где родилась моя Мама и где они жили с бабушкой и со своей семьёй. Как жаль, я не знаю, где находился их дом. Многие разрушены во время войны и многое вновь построено, но все же, может быть, кое-что осталось по-прежнему и мамины места сохранились. Симферополь мне нравится, несмотря на то, что это очень банальный, провинциальный город, но так чувствуется повсюду, что это уже юг! Будь то природа, деревья, одноэтажные низкие белые дома или тенистые улицы, угадывается, что здесь должно быть очень жарко, и я прекрасно могу себе представить то, о чем бабушка мне рассказывала: как люди сидели на скамеечках, беседовали перед своими домами и грызли арбузные семечки.

В небольшом сквере много людей, все стоят и разговаривают, все это очень похоже на наши «коктейли» в Париже. Мы садимся на одну из длинных скамеек рядом с двумя старушками. Вскоре одна из них заговаривает со мной: «Потому, как выглядят ваши туфли, видно что вы нездешние». Я пробую узнать, в какой стороне «Саблы», и она мне отвечает, что это по Севастопольскому шоссе, и надо сесть в «пятый» автобус. Я чувствую, что если «Интурист» запретит мне поехать в «Саблы», то я любыми способами доберусь туда, даже если нужно будет подкупить шофера такси! Я беседую с этими женщинами и рада тому, что сижу здесь. Воздух становится свежее, и это так приятно. Оказывается, что все эти люди,

стоящие здесь, приходят сюда для обмена квартир. Кто бы это мог угадать! Но надо покидать старушек и идти ужинать. Я обещаю постараться увидеть их завтра.

«Океан», в который мы наконец попадаем, — огромный ресторан, очень новый и сделан как будто напоказ. Он набит людьми, и мы, наконец, усаживаемся за столик, за которым уже сидят двое мужчин. Слишком шумный оркестр, многочисленные рюмки водки, волнения и переживания сегодняшнего дня, усталость — все это создает ощущение натянутой струны. Эта поездка такая напряженная, столько переживаний на каждом шагу. Нам хотелось бы остаться, но мне необходимо быть завтра бодрой, и новые друзья отвозят нас в гостиницу, очень быстро прощаются и исчезают.

На следующий день мы выезжаем в Ялту на такси с очень симпатичным шофером «Интуриста», Борисом Нестеровичем. Погода дивная, и Ялта нам очень нравится, как и Дом Чехова. Я как бы вижу, гуляющую по набережной Даму с собачкой. Все здесь старомодно, курорт для дам в шляпах и с зонтиками. Окунув ноги в Черное море и посмотрев издали на толпу купающихся туристов, мы возвращаемся через сады в гостиницу «Ореанда». И это название я слышала от своих родителей. Да, правда, мне это очень напоминает, как говорил Папа, Амальфитанский берег, около Неаполя: такие же кипарисы, цветы и балконы, покрытые растениями. Я размечталась: как было бы хорошо провести каникулы здесь, в этой гостинице, в комнатах с большим балконом, выходящим на море. Все здесь старое и, может быть, неудобное, но мне нравится.

Из Ялты мы едем вдоль берега, задерживаемся у двух старинных дворцов: Воронцова-Дашкова и Ливадии. И решаем обедать в «Шалаше» у Байдарских ворот. Там, благодаря нашему шоферу, очень скоро стелят белую скатерть на один из деревянных столов в саду. Едим очень вкусный обед. Возвратясь в Ялту, я из «Ореанды» звоню в «Интурист» и узнаю, что имею разрешение на поездку в «Саблы». Ура! На следующее утро, в девять часов. Я в восторге!

И вот мы по дороге в «Саблы», к сожалению, не с Борисом Нестеровичем, которого мы предпочли бы, а с другим шофером. «Саблы» теперь не называются больше «Саблы», село

было переименовано сначала в Партизанскую, а теперь носит название Каштанная. Так же, как и по дороге в Каменку, я смотрю на обе стороны дороги, стараясь и сейчас ничего не пропустить. Найду ли я папин дом? Стоит ли он ещё? Смогу ли я узнать его по фотографиям, которые висят на стене нашей квартиры? Узнаю ли это последнее жилище моего отца в России и место «неосуществленного колхоза»? Дорога, как всегда, забита грузовиками, но мы довольно быстро приезжаем — это всего в пятнадцати километрах от Симферополя. Снова я хочу замедлить эти последние минуты перед встречей. Мы поворачиваем направо и выезжаем на другую дорогу, она чуть уже, и потом вдоль длинной аллеи... Да, да... Вот видны «Саблы». Дом. Я сейчас же узнаю его большие стеклянные окна. Бегом поднимаюсь на верхний этаж (и муж фотографирует меня в окне). Ищу кого-нибудь и нахожу контуру, где работают несколько женщин. Стараюсь объяснить, кто я и причину моего появления в этом доме. Они начинают меня расспрашивать. Незаметно для себя я вдруг уселась на письменный стол, стоящий в этой широкой комнате, продолжая рассказывать, а новые люди все приходят и приходят. Их двадцать пять — тридцать — тридцать пять человек. Я объясняю, почему сюда приехала, говорю об отце, отвечаю на разные вопросы, которыми они непрерывно меня обстреливают. Они хотят все знать: как мы живем на Западе, чем я занимаюсь и совсем очарованы простым фактом моего приезда сюда. Я для них человек, как бы упавший с неба, и мы болтаем обо всем понемногу. Но время идет! Бог знает, как долго я здесь просидела! Мой муж говорит, что уже почти два часа, но я не могу этому поверить! Я могла бы продолжать, но хочется увидеть дом, осмотреть комнаты и ещё многое узнать. Что переменилось и что осталось от того, как было прежде. Директор детского сада, очаровательная Евгения Петровна Жиленко, и она, кажется, с восторгом хочет мне показать все. Вот спальни, с детскими белыми кроватками, дальше комнаты для игр. Игрушки разложены по полкам, некоторые разбросаны по полу, здесь раньше находились столовая и гостиная. Все — как во сне, и, проходя по комнатам, я волнуюсь и возбуждена больше, чем если бы я выпила десять рюмок водки! В саду играют дети, некоторые раскачиваются на качелях, дру-

гие кружатся на каруселях. Сад кажется чуть заброшенным, но все-таки очень приятным, много растений и кустов сирени. Две старушки говорят, что они помнят рассказы своих родителей о семье Давыдовых, которые жили в этом доме и были добрыми и справедливыми людьми. А моя прабабушка никогда не упускала случая их вознаградить. Кто-то предлагает навестить старушку, жившую поблизости, она как будто бы знала её. Мы действительно нашли девяностовосьмилетнюю женщину. Она сидела в маленькой хате и чистила картошку. Из дома, больше похожего на барак, разносился чудесный запах куриного бульона. Какое совпадение! Эта старушка, будучи ещё девочкой, обычно приносила на продажу моей прабабушке цыплят и кур! Мы едем дальше, посмотреть на сады, где Папа выращивал фрукты, о которых он мне рассказывал: персики, груши, яблоки... У калитки сада, который принадлежит сейчас совхозу, мы видим рабочих и администратора. Они открывают ворота, и мы входим. Опять объясняя причину моего присутствия здесь. Реакция непосредственна: они тоже хотят узнать, как и почему я приехала сюда. Мне приносят фунтов двадцать яблок, некоторые желтые, другие красные; первые, чтобы съесть сейчас, а красные в октябре, когда они поспеют и мы уже вернемся обратно в Париж. Я смотрю на эти громадные сады и пытаюсь представить себе, как шагал Папа между рядами фруктовых деревьев, и люблю этим пейзажем. Никакие холмы не задерживают взгляд, только долины и горизонт. Если бы обстоятельства сложились иначе, я тоже могла бы здесь жить... Но эти мечты бесполезны.

«Партизанская» теперь «Каштанная», но «Саблы» остались по-прежнему «Саблы». Против дома старый фонтан все ещё действующий. И надпись — 1857 год. Надо уезжать, покидать этот дом, дом моих прадедов... Последнее папино местожительство, до того, как он покинул Россию навсегда, место, где он надеялся создать колхоз, но, увы, эта мечта не осуществилась.

Удаляясь, смотрю назад и спрашиваю себя, вернусь ли я когда-нибудь? На обратной дороге — Бахчисарай, дворец хана отлично реставрирован. В Симферополь возвращаемся вовремя, успеваем быстренько закрыть чемоданы и к семи часам

мы готовы к отъезду в Тбилиси. Какой незабываемый день, какие впечатления, какие душевные волнения!

В полночь мы уже в Тбилиси. Мне все хочется назвать его Тифлис, как его называли мои родители. Ещё ничего не зная и не имея возможности что-нибудь увидеть в темноте, я уже чувствую, что здесь всё будет иначе, чем в Крыму или даже в России. У грузин особый акцент, когда они говорят по-русски, и вообще они кажутся совсем другим народом, ближе к персам. Наша гостиница, старых времен, находится в центре города, на главной улице — бульваре Руставели. Комната большая, и в ней очень жарко. Я падаю от усталости, но все же с трудом засыпаю. На утро мы идем в бюро «Интуриста», находящееся прямо в гостинице, и вскоре приходит Цецо, молодая женщина, которая нам сразу нравится. В самом деле, она живая и очаровательная. Цецо показывает нам город и все места, представляющие хоть какой-либо интерес, а после мы едем в Мцхету, старую столицу Грузии. Здесь совсем другой пейзаж! Доминирующие краски — все оттенки коричневого цвета, от самых нежных до самых ярких тонов желтого и золотого. И даже теперь, вспоминая Грузию, эти цвета всегда стоят перед моими глазами.

Через три дня мы едем в Армению, в столицу Ереван, которая тоже так не похожа на Россию. Это как очень острое блюдо, ароматы которого мне трудно разобрать, и поэтому я не могу понять какое оно. Народ очень пестрый, так же, как и их базары, — полные смешанных запахов. Армяне своей смуглой кожей напоминают персов, и я себя чувствую очень белой, очень русской! Георг, хозяин бара в гостинице, где можно попробовать разные грузинские и армянские вина, типичный азиат — хитрый, ловкий и первоклассный трактирщик.

Из Еревана мы летим в Москву, железную, серого цвета. Большой город, холодный и непривлекательный после голубых, синих, солнечных красок юга. В этом городе чувствуется власть правительства и чиновников. Править машиной трудно из-за всех правил, да и вообще здесь все сложно. Бюро «Интуриста» огромно. Нам придется часто сюда обращаться для разрешения тысяч маленьких и больших проблем, возникающих у каждого поворота. Я рада, что мы остановились в «Метрополе», Мама тоже здесь была. Гостиница старомод-

ная, а нам как раз это и нравится. Мы обедаем в огромной столовой, очень богато украшенной, и легко представить, как было «тогда»: оркестр играл вальсы и танго вместо сегодняшних шумных ритмов. Они такие кричащие, что невозможно расслышать собеседника.

На следующий день мы выезжаем в автомобиле во Владимир, куда попадаем после двух часов езды: большое движение, много грузовиков, туман и скользкая дорога. Вдоль дороги — с двух сторон лес — люди собирают грибы и тащат мешки или корзины, после дождя грибы растут ещё быстрее. Это всегда было моей мечтой: собирать грибы, а я их собирала один только раз, в лесу, под Парижем. Во Владимире небо уже совсем бледное, повсюду мои любимые берёзы, все так отличается от южных краев, где мы были сорок восемь часов назад. Дальше виднеется «Боголюбов», недалеко оттуда церковь Покрова на Нерли, и, хотя её реставрируют, она все же очень красива, стоит у слияния двух речек. Чтобы дойти до неё, мы долго идем пешком через поля. Все так приятно и спокойно в этот вечерний час.

Потом едем в Суздаль. Сейчас почти шесть часов вечера, но достаточно светло для фотографирования: очень красив закат солнца и, Бог знает, какая завтра будет погода. Вечер такой чудесный, освещение нежнояркое и воздух ясный и свежий. Эти церкви, эти колокольни, купола-луковицы, эти монастыри и деревянная деревушка, торговые галереи со своими вороненой стали вывесками — все это пришлось нам очень по вкусу.

На следующее утро погода пасмурная, легкий туман, и это придает всем церквям особую прелесть. Завтра мы возвращаемся в Москву, заезжаем по дороге во дворец князя Юсупова в Архангельском, и нам больше нравится парк и сады, чем сам дворец. Березы такие красивые, что, живи я в Москве, я часто приезжала-бы сюда гулять. Потом Новодевичий монастырь, прекрасный своими золотыми и голубыми куполами, обрамленными деревьями кладбища. Могила Дениса Давыдова. Цветов ещё больше, чем в последний раз, в 1973 году. Рядом с ним похоронены его дети. Он приходится мне довольно далеким родственником, но я чувствую к нему какую-то особую близость. Как странно и забавно: у меня, как и у него,

с юных лет появилась посередине головы совершенно белая прядь волос. Да, наследственность существует. Подальше могла декабриста Сергея Трубецкого. Я рада, что вернулась сюда. Перед возвращением в «Метрополь» мы находим Хамовники, где стоит дом Толстого, о котором Папа писал в своих мемуарах. Он бывал здесь, дружил с его двумя сыновьями. Музей содержится прекрасно. Я не могу не подумать, что Папа, наверное, танцевал здесь, в этой большой комнате, где стоит рояль. Хотелось бы увидеть Гороховое поле, Елизаветинский институт, все места, о которых пишет Папа. Как обычно, просто не хватает времени.

Утром, по пути в Ярославль, мы проехали Переяславль-Залесский и обожаемый нами Ростов Великий. Как он чудесен и роскошен, какая радость для взора, сердца и души. Признаюсь, что архитектура этих церквей мне гораздо ближе, чем цельная и умеренная архитектура армянских и грузинских церквей. Как приятно обнаружить неожиданный подарок — Ростов Великий, мы не устаем осматривать все подряд и, покидая его, жалеем, что не можем остаться дольше. И наконец — Ярославль. Он нам понравился, но, может быть, мы уже пресыщены всем виденным ранее, и поэтому чуть-чуть разочарованы городом.

Новый день. Музей Н. А. Некрасова находится недалеко от города, в Карабихе. Сам дом не очень красив, но сад со своими березками прелестен. Здесь Некрасов писал поэму «Русские женщины» об отважных Княгинях Марии Николаевне Волконской и моей прапрабабушке, Екатерине Ивановне Трубецкой. Они были первыми из жен декабристов, поехавших вслед за мужьями в ссылку в Сибирь, это были «их ангелы», а, по-моему, и героини. Да, повсюду жива история моей семьи.

Завтра собираемся в Клин, это будет последний этап нашей поездки. Визит к моим родственницам, к тете Ксении и Ирине, которых мы видели последний раз в 1973 году. Выехав в девять утра, мы приезжаем около одиннадцати. С трудом находим их квартиру. Они встречают нас с явной радостью, и мы беседуем в гостиной. Позже мы пьем чай на кухне. Едим хлеб с маслом и с очень вкусной колбасой и бисквиты. Разговор не иссякает, но многое остается недосказанным, а я не

пытаюсь расспрашивать их, так лучше. После чая мы идем в Дом-музей П. И. Чайковского, который, как и все здешние музеи, сохранен великолепно. Стены покрыты картинами, фотографиями, гравюрами. Мебель хорошо расположена, рояль стоит посередине одной из комнат, на веранде — круглый стол, за которым П. И. пил кофе. Все очень уютно. Хранительница музея очень мила, как и сопровождающая нас Полина Ефимовна, женщина, умная и разговорчивая, вся её жизнь посвящена культу памяти Чайковского. Она и правда очаровательная, и мы не могли бы желать лучшего гида, она знает столько интересных моментов из жизни Чайковского. Здесь тоже Давыдовы, бывшие членами семьи П. И., и мне приятно видеть их на портретах.

Возвращаемся в Москву, темную, дождливую и неуютную. Утром встречаемся с нашим знакомым. Борисом, и идем с ним в Исторический музей в Кремле. Я не могла даже помыслить о том, что через несколько минут, пройдя по длинным переходам и лестницам, я окажусь в комнате, в которой меня будут ждать три альбома, специально для меня приготовленные. Три альбома рисунков и акварелей моего прапрадедушки, декабриста Василия Львовича Давыдова и его детей, нарисованные в ссылке, в Сибири. Альбомы принесли две милые женщины, работающие в музее. Они были очень довольны, видя мою радость. Я никогда даже и не подозревала о существовании этих альбомов, и это было чудесным финалом нашей интереснейшей поездки. Но и здесь времени не хватает. Я могла бы смотреть и смотреть эти альбомы. Перед моими глазами Сибирь, трогательная жизнь моих предков, иллюстрации к разным событиям их повседневной жизни. Вот родители и дети поздравляют друг друга с днем рождения или именинами. Они не знали тогда, как ценны теперь эти маленькие шедевры.

Последние посещения — в музей Тропинина и, особенно, в Пушкинский, где опять-таки много воспоминаний, картин и писем о Давыдовых. Странно подумать, что завтра, в этот час мы будем опять в Париже, где другой мир, другая жизнь. Эти три недели были прекрасными, с их напряжением, впечатлениями и разнообразнейшими эмоциями. Остается ещё завтрашнее утро. Мы вылетаем в четыре часа дня. И в это утро

идем повидать Красную площадь, Кремль и прекрасный ансамбль церквей, одна красивее другой. Я люблю эти позолоченные купола и всегда вспоминаю Бориса Годунова, Ивана Грозного и Мусоргского. Москва, Красная площадь совсем не похожи на Петербург. А музыка Чайковского кажется мне совершенно противоположной музыке Мусоргского, несмотря на то, что в них слышится русское звучание, и музыка обоих композиторов близка мне. Наконец мы в музее Рублева, любуемся иконами.

После легкого обеда в гостинице мы прощаемся со всеми женщинами «Интуриста», которые очень нам во всем помогли. Мы в такси, уже едем на аэропорт. Полет без происшествий. А когда мы спускаемся по трапу, и даже ещё в самолете «Air France», мы замечаем большую разницу. Мы входим в этот западный мир потребления, мир товаров и запасов, и Россия сразу кажется такой далекой. Но со мной мои красные крымские яблоки. Как грустно, что я не могу их дать в руки Папе...



СИБИРСКАЯ ОДИССЕЯ

И вот опять мне довелось побывать в России. К моему большому удивлению и радости, мой муж, вместо рождественского подарка, преподнёс «на блюдечке» туристическую поездку в Сибирь. В этот «подарок» включались также двое суток в поезде, прогулка по тайге на тройке, озеро Байкал и, конечно, самое главное — Иркутск, о котором я так давно мечтала, но никак не думала, что эта мечта осуществится.

Итак, мы занялись паспортами и визами и, конечно же, теплой одеждой. Срок для подготовки к поездке был короток, о том, что мы действительно сможем поехать, мы узнали только в декабре. Когда мы говорили нашим знакомым, что едем в Сибирь, они с ужасом смотрели на нас, удивлялись и считали, что мы, наверное, сошли с ума.

Двадцать пятого декабря, в день Рождества, когда Париж ещё не проснулся после празднования сочельника, мы приехали в «Roissy» и присоединились к нашей группе. К сожалению, на этот раз наша поездка не была «индивидуальной», (не хватило времени на оформление документов), а с группой в тридцать восемь человек, в которой почти все были французами. Они казались милыми, но так как это была «группа», то, увы, мы должны были придерживаться определенного расписания. Полет прошел нормально, но прилетели мы поздно, около семи вечера по московскому времени. Утром мы бросили группу и взяли такси, чтобы найти «Гороховое поле», район Москвы, о котором пишет Папа. По путеводителю «Бедкер» мы знали приблизительно, где оно находится, и довольно скоро его разыскали. Конечно, все, о чем Папа писал, переменилось. Новые здания, новые постройки и только время

от времени можно было увидеть редкие старинные дома, которые сохранились, несмотря на то, что все изменилось. Меня радовал и трогал уже тот факт, что я стою на той же земле, по которой ходил мой отец. Лефортова улица не изменила своего названия, но Вознесенскую и Немецкую переименовали в улицу Радио, а в конце улицы текла река Яуза, о которой Папа также писал. Елизаветинский институт стоял чуть дальше, это большое белое здание находилось там, где улица Радио пересекает улицу Салтыковскую. Папа писал, что при институте находилась церковь. Бог знает, что там сейчас, а в больших спальнях теперь какие-то учреждения. Но несмотря на все эти перемены, внутренние и наружные, главное здание казалось таким же, каким оно было раньше. Здесь мой отец провел десять лет своего детства и юности, и я рада, что мне удалось тут побывать. После этого мы посмотрели музей Герцена, чрезвычайно интересный.

Нашли такси и заехали к профессору Анатолию Филипповичу Смирнову и к его жене. Они накормили нас вкусным обедом. Было очень увлекательно: А. Ф. историк, специалист по декабристам, и знает так много о моем прадедушке, декабристе В. Л. Давыдове. Около шести вечера мы их покидаем.

Аэропорт Внуково далеко от города, и самолет вылетает в Новосибирск с опозданием: когда мы уже были в самолете и он начал медленно двигаться, мы вдруг услышали шум и почувствовали какой-то удар. Самолет останавливается — дела наши, видимо, плохи. Через несколько минут, показавшихся нам вечностью, нам объявляют, что надо спускаться и возвращаться обратно в зал ожидания. Говорят, что мы вылетим только в пять утра. А сейчас полночь, этот день будет долгим! Мы проводим томительные часы в не очень удобных креслах. Съев бутерброды и запив кефиром, мы, наконец, поднимаемся в самолет и на этот раз вылетаем.

В Новосибирске мы в одиннадцать часов, устраиваемся в гостинице и спускаемся обедать. Днем директор «Интуриста» хочет показать мне город, но мы едем посмотреть тайгу. Город новый, ничего интересного, кроме церкви, куда я попадаю во время службы. В восемь часов вечера мы садимся в поезд. Сам вокзал представляет для туристов определенный интерес, люди там все очень разные, но, без сомнения, типично

советские, то ли из-за их одежды, то ли из-за их багажа. Это пестрая толпа, говорящая на всех языках: по-грузински, по-украински, по-узбекски, по-монгольски, по-татарски и даже просто по-русски. Все они также садятся в наш поезд. Как и на всех вокзалах, здесь холодно, а так как мы в Сибири, то кажется ещё холоднее; признаюсь, что и в Париже, даже летом, на вокзалах мне бывает тоже холодно.

Мы очень хорошо устроились в отдельном купе. Я уже заметила традиционный для всех русских вагонов самовар в коридоре. Девушки, которые нас обслуживают, сказали, что мы можем пить чай, когда пожелаем и вообще вызывать их, если нам что-нибудь нужно. Скоро Галя приносит нам простыни и наволочки, и мы стелим постели.

Мы в знаменитом Транссибирском экспрессе, в поезде, о котором я много читала и слышала и в котором многие мечтают совершить поездку. Хочется использовать полностью это путешествие — ничего не пропустить и все увидеть. За окном совсем темно, только время от времени виден свет станционных огней, мимо которых наш поезд, не останавливаясь, проезжает. Вдалеке, во мгле, едва различаются редкие дома, где кто-то ещё не спит. Я пытаюсь проникнуть в этот мрак и представить себе, что там. Вижу дальние силуэты голых деревьев и железнодорожные сигналы. Снег, лёд — насколько видит глаз. Другой свет, другой континент, вызывающий чувство опустошения, мрака и одиночества, и в то же время чувствуется вокруг бесконечное богатство природы. Сидя на полке, я смотрю и смотрю, и мне не хочется ни лечь, ни спать.

Наконец, я ложусь, и меня охватывает глубокий сон, мне снятся странные сны, я вижу снег и тройки. и Каташу, едущую в кибитке к мужу. Да, в течение следующего дня и ночи я не перестаю думать о них, о моих двух прабабушках, которые тоже ехали по той же дороге, но при других обстоятельствах и в других условиях. Вспоминаю мою прабабушку, Александру Ивановну Давыдову, она была крепостной и не могла поехать вслед за мужем, так как была беременная, для неё тяжелые условия путешествия были бы опасны как и для будущего ребенка. Когда же она смогла поехать, то была вынуждена оставить шестерых детей...

Утром, хорошо выспавшись, я встала рано, чтобы иметь время приготовиться к остановке в Красноярске, где поезд стоит всего пятнадцать минут. Приезжаем. Снаружи ещё темно, и все кажется спящим под снегом. Огромный Красноярский вокзал заполнен пассажирами, спешащими подняться в вагоны. Я тоже тороплюсь, так как мой муж сказал мне: «Возвращайся поскорее». Моя цель была найти кого-нибудь и дать три свечи, чтобы их поставить в церкви, поближе к кладбищу и могиле моего прапрадедушки. У меня не было времени пойти туда самой. Я удаляюсь от поезда к станции, перехожу рельсы, надеясь встретить такого человека, но те двое, которые попались мне на дороге, имели такой неприветливый вид, что я даже не решилась остановить их. Наконец, я нашла женщину, средних лет, которая выслушала мой рассказ о том, что я приехала из Парижа, что мой прапрадед В. Л. Давыдов, декабрист, здесь похоронен и что я очень прошу её взять эти свечи и поставить их в церкви за упокой его души. Она ответила, что знает о декабристе Давыдове, но в церковь не ходит. Однако у неё есть старая тетка, и та исполнит мою просьбу. Я поблагодарила её и отдала ей свечи. Очевидно, она с удовольствием поговорила бы со мной ещё, и я, торопясь, рассказываю все, что могу, но чувствую, как летят минуты и секунды. Мне надо спешить к поезду, пересечь столько путей, платформы такие длинные, вагон мой так далеко, и меня охватывает паника. Я хочу побежать, но не смею, боюсь упасть, кругом лед и снег. Наконец, наш вагон. И как раз вовремя: ровно через две минуты наш поезд трогается. Остановка в Красноярске была для меня очень важной. Как хорошо, что у меня в Париже есть фотографии прабабушкиной могилы и дома, где они жили. Бог знает, может я когда-нибудь ещё вернусь сюда...

Ранним утром двадцать седьмого, точно в шесть тридцать утра, мы приезжаем в Иркутск. В этот утренний час вокзал очень оживлён, а до гостиницы близко: она на другой стороне реки Ангары, только частично замерзшей. Все, что я вижу по дороге, вызывает у меня непреодолимое желание побежать и сфотографировать эти красивые места, эти старые дома вдоль дороги. Улицы, покрытые снегом и льдом, меня чаруют. Я обожаю снег. Зима без снега — не настоящая зима,

и в Париже его мне очень недостает. Чуть только мы начинаем устраиваться в нашей удобной, но некрасивой комнате, звонит телефон. Это Марк Давидович Сергеев. Я уславливаюсь встретиться с ним в восемь утра, до кофе. Прошло уже четыре года с тех пор, как мы с ним познакомились в Париже. Он известный писатель и специалист по декабристам. Я читала его книги с удовольствием. Как он мне сказал, сейчас он работает над новой книгой, о тех женах декабристов, которые не смогли поехать за мужьями в Сибирь и жизнь которых была ещё трагичнее. Хотелось бы поговорить о многом, но как найти время, и мы уславливаемся к вечеру опять с ним связаться после нашего возвращения из тайги.

С группой туристов мы начинаем осмотр меховой фабрики. М. Д. говорил, что это стоит посмотреть, но мы с ним не согласны. Намного интереснее было бы просто гулять по улицам Иркутска.

По дороге в тайгу с автобусом случилась авария, и мы должны были ждать почти два часа, пока нас не подобрал другой. Все это время мы могли бы провести в Иркутске, хотя время прошло быстро, даже зажгли большой костер у дороги. Очень красив в тайге закат солнца. Обедаем мы поздно, в ресторане среди тайги. Электричества нет, и мы вкусно едим при тусклом свете двух керосиновых ламп. Вечером, по возвращении в гостиницу, звонок. М. Д. просит куда-то не уходить тридцатого: «они» устраивают «вечер» для нас в доме Трубецких. В музее...

Утром мы с группой уезжаем кататься на тройке. Делаем остановку по дороге к озеру Байкал. Погода чудесная, и нас встречают три женщины в национальных костюмах, надетых специально для нас, туристов. Они угощают блинами и водкой. Перед ярким костром ждут тройки, лошади окутаны паром от дыхания на морозном воздухе. Минус тридцать градусов, но ветра нет, и небо синее.

Мы садимся в двухместные сани-тройки и наслаждаемся прогулкой. Два кучера правят тремя лошадьми; как хотелось бы промчаться так до Байкала! Но, к сожалению, нужно садиться в автобус. Мы ещё успели прогуляться немного по снегу. Красивая картина: березы и яркоголубое небо.

И вот Байкал. Он ещё не замерз и легкий туман стоит над ним, как будто это пар. Байкал огромен. Глубоко и длинно это озеро, вода необозримо простирается вокруг. Пятая часть всей пресной воды в мире! Ресторан находится чуть на высоте, отсюда видно озеро, и зрелище это очень красиво. На обратном пути мы останавливаемся в маленькой деревеньке около озера, в Лусьянке, гуляем по узким улочкам, вдоль которых стоят маленькие, как будто кукольные, домики. Здесь так спокойно, что чувствуешь себя от всего далеким. Изумителен закат над Байкалом: пламеннокрасного цвета, он окрашивает все вокруг в дивные, неземные тона. Другой свет, другая планета... Я понимаю, почему здешние люди гордятся тем, что они сибиряки. Какой простор и какая свобода! Сибирь захватывает, это несомненно.

Наскоро помывшись и быстро поужинав, мы встречаемся в гостинице с М. Д. и едем с ним в дом Трубецких, где его жена ожидает нас на крыльце. Дом двухэтажный, деревянный, построенный после Отечественной войны 1812 года и реставрированный. Надпись: «Дом-музей декабристов». Мы входим. Как мне описать все чувства, охватившие меня в этот момент? Их столько и все такие разные. Об этом доме я тоже мечтала. И вот я в нём. Нас ждет у входа много людей, человек тридцать или больше, все они интересуются историей декабристов. Мы рассаживаемся в большой комнате: мой муж, М. Д. и я, вдоль стены, за столом, на котором стоит свеча. Мы освещены сильными лампами, за которыми сидят зрители, а фотографы снимают нас со всех сторон. Я волнуюсь. Знаю ли я какие-нибудь «предания» о моих предках? Рассказываю им то, что знаю, но они хотят ещё, и я чувствую, что они не удовлетворены моими рассказами. Мне так жаль, что я мало прислушивалась к папиным рассказам, он так много знал об этих, давно прошедших временах. Эти люди интересуются всем, они хотят знать все, все детали. Разговор ни на секунду не угасает, и в этой уютной и дружеской обстановке вечер очень быстро проходит. Мне подарили девять книг. Почти все о декабристах. Мне показалось, что вернулось мое детство, когда в школе, в конце занятий, раздавали призы — книги. На одной из девяти книг подписалось большинство присутствующих. Другая — о жизни Пушкина во время его ссылки в

Кишенев. И ещё интереснейшая книга Зильберштейна, о работе декабриста Бестужева, которую я давно искала. Рисунки, портреты, акварели Бестужева, каждый — маленькое произведение искусства, изображающие декабристов в их повседневной жизни в ссылке. Я была очень рада и тронута. Затем нам показали весь дом, все комнаты, с портретами декабристов, с мебелью, частично даже подлинной, принадлежавшей моим предкам. Я даже увидела кусочек ткани, вышитый самой Каташей. Как мне нравилось находиться в этом доме и чувствовать, что все эти люди так интересуются жизнью моих прадедов.

Тридцать первое декабря, наш последний день в Иркутске, мы его целиком посвящаем осмотру города. М. Д. заезжает за нами в гостиницу, и шофер везет нас в Знаменский монастырь. Архитектура монастыря очень красива — портик, крыльцо, подъезд, простая арка, под которой приютились голуби, а над стенами виднеются купола и колокольня церкви. Во дворе, в нескольких метрах от нас, видим могилу Каташи и другую, поменьше, её сына Николая. Наконец-то я здесь, перед той могилой, перед которой мой отец преклонил колени в 1904 году, когда его батальон остановился в Иркутске. Я хорошо помню: он мне об этом рассказывал. Знакомый сфотографировал его перед ней. Эти фотографии Папа послал бабушке, дочери Каташи, в имение «Саблы»! Но когда Папа приезжал туда после того, как началась революция, он уже не смог там найти этих снимков. Я тоже стала на колени перед Каташиной могилой. Мне хотелось сосредоточиться и как-то собраться с мыслями. Как я хотела бы иметь возможность возвратиться сюда, например, на Пасху, принести цветы, украсить эту могилу. Церковь открыта и в ней несколько человек. Я зажигаю три свечи, привезенные из Парижа, и молюсь. Церковь красива, все иконы блестят, озаренные свечами. Поёт хор, и я постепенно вхожу в ту атмосферу, которую так люблю.

Мы едем в Урик, маленькую деревушку, где жили многие декабристы, в том числе и Трубецкие. Дорога та же самая, по которой они ездили в «город». Маленькие деревянные дома тянутся вдоль неё, их пастельные тона напоминают мне елочные украшения моего детства, когда ещё зажигали на

елках свечки и не было электрических лампочек. В этих домах нет воды, но электричество и телевидение, и отапливаются они такими же самыми печами, похожими на голландские, как во времена Петра Великого. Урик — очень маленькая деревушка, она кажется сейчас заснувшей под своим белым снежным одеялом. Здесь похоронен декабрист Муравьев. Он погиб неожиданно, во время пожара своего дома. Его портрет висит у нас в квартире, и он мне не чужой.

В Иркутске мы проезжаем по улицам, мимо старинных деревянных домов. Вот «Белый дом», в 1820 году он принадлежал богатому купцу Сибирякову. Деревянный двухэтажный дом Волконских похож на дом Трубецких, только больше, скоро он станет музеем, реставрированным во всех мельчайших деталях. Восстановят даже обои, остатки которых были обнаружены во время ремонта. Все вокруг дома будет перестроено, как было в прошлом, для того, чтобы соорудить здесь подлинные старые деревянные дома, что называется теперь «комплексом». Советы как будто, наконец, поняли, что туристы не так интересуются новыми техническими открытиями или современными постройками, как всеми старыми зданиями, памятниками, церквями, всеми реликвиями прошлых времен. Хорошо вспоминать это прошлое — было в нем и плохое, и хорошее, мы как бы отражаемся в нашей прошедшей жизни, сравниваем её с теперешней.

Сегодня канун Нового года, и мы будем встречать этот Новый год с нашей группой. М. Д. и его жена пригласили нас к себе, но достать такси, чтобы добраться до них, было невозможно. К тому же, завтра в пять утра мы должны уезжать, так что пришлось, к сожалению, отказаться от этого приглашения.

Мы летим в Братск. Конечно, мы предпочли бы погулять по улицам красивого Иркутска. Братск, совсем новый город, и его гордость — целлюлозный завод — распространяет над городом очень неприятный запах. Единственный интерес вызвали катки и ледяные горы, где взрослые и дети, некоторые на лыжах и санках, другие просто на кусках картона, спускаются, скользя и очень веселясь. Два мальчика становятся нашими спутниками. Дима и Саша, живые, с открытыми лицами мальчишки, примерно одиннадцати и тринадцати лет. Угова-

риваем их пойти с нами съесть мороженое, в «детской чайной», где мы разделяем стол с семьей из семи человек, — они празднуют день рождения одной из девочек. На следующее утро, после краткого визита на гидроэлектрическую станцию, мы вылетаем в Москву, с остановкой в Кемерово. Прилетаем в столицу поздно вечером.

Последнее наше утро мы посвящаем Третьяковской галерее, той её части, где находятся иконы Рублева. Возвращаемся пешком на Красную площадь. Дует сильный, холодный ветер, и Сибирь нам кажется теплым местом. Москва и сейчас серая и неуютная, и я скучаю по Иркутску и далекому Байкалу. Эти девять дней были такими насыщенными и волнующими, что надо будет дать всем переживаниям «улучься». А затем я вновь стану мечтать о другом путешествии. Может быть, теперь в Псков, Михайловское, Ригу и Таллин...

И, возможно, «Блиден», родовое имение семьи Ливен, папиных родственников со стороны матери...



УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Алданов Марк Александрович, 228.
Алдобрандини, Князь, 235.
Александр I, 24, 29, 60, 64, 191, 195, 197, 198, 200, 201, 202, 207, 216.
Александр II, 21, 23, 24, 53, 61, 116, 182, 188, 190, 200.
Александр III, 66, 69, 121, 223, 224, 225, 227, 230.
Аракчеев А. А., 182, 198, 200, 207.

Барантон Эрнест, 37.
Бекетова (рожд. Мясникова) Ирина Ивановна, 35.
Беклешов, генерал прокурор, 198.
Беляев, отец Димитрий Николаевич, 75.
Белинский Виссарион Григорьевич, 119.
Белосельская-Белозерская (рожд. Козицкая) Анна Григорьевна, 35.
Белосельская-Белозерская Зинаида Александровна (см. Волконская).
Белосельский-Белозерский Александр Михайлович, 35, 36.
Бенкендорф Дарья Христофоровна (см. Ливен).
Берендсом-Оттоном, 60.
Бестужев Николай Александрович, 217, 275.
Бечко-Друзин, 147.
Бибилов Гаврила Ильич, 35.
Бильдерлинг, генерал, 142, 145.
Блакас, герцог, 37.
Бобринский, граф, 20, 22.
Богданов Н. Н., 179.
Боголепов Николай Павлович, 67, 68, 114, 115.
Боголепова (рожд. Ливен) Екатерина Александровна, 66, 67, 68.
Боголюбов П. И., капитан, 147, 149.
Боде, профессор, 240.
Бодуянский, 215.
Болтин, 197.
Борисов Андрей Иванович, 42.
Борисов Петр Иванович, 42.
Бороздин А. М., ген. майор, 14.
Бороздина (рожд. Давыдова) Софья Львовна, 14.
Борх Александр Михайлович, 38.
Борх (рожд. Лаваль) Софья Ивановна, 38.
Браницкий, граф, 11.
Браун, генерал-губернатор, 60.
Быков Александр Николаевич, 116.

Валуев, министр, 65, 66.
Васильчикова Александра Петровна (см. Ливен).
Вильгельм II, 146.
Вильденштейн, 237, 241.
Виленин Г. А., 225.
Винавер М. М., 176, 179.
Витте С. Ю., 223, 224, 225, 228, 229, 230.
Владиславлев Михаил Иванович, 116.

Волконская (рожд. Раевская) Мария Николаевна, 13, 20, 34, 42.
Волконская (рожд. Белосельская-Белозерская) Зинаида Александровна, 36.
Волконский Михаил Сергеевич, 23, 24, 44.
Волконский Никита Григорьевич, 36.
Волконский Сергей Григорьевич, 13, 17, 18, 20, 40, 42, 44, 181, 257, 276.
Воронцов Роман, 197, 228.
Вошэ, 41.
Вюртенбург Александр, герцог, 218.
Вяземский Петр Андреевич, 17.

Гаугребен Шарлотта Карловна (фон) (см. Ливен).
Гинцбург Г., 228, 230.
Гизо Ф., 61.
Глебов Петр, 123.
Глинка Федор, 216, 217, 218, 220, 221.
Гнедич П. Н., 17.
Гоголь Н. В., 29, 36.
Голенищев-Кутузов А. В., 43.
Голицын, князь, 197.
Головин Н. Н. 197.
Горчаков В. П., 15.
Гоц Михаил, 228.
Грамон Агенор, 228, 230.
Грамон Аглае (см. Давыдова).
Грей, лорд, 61.
Греч, 214.
Грибоедов А. С., 37.
Грузинская Дарья Александровна (см. Трубецкая).
Грюнберг В. А., 231.
Гулевич С. В., 118.
Гурьев В. П., 208, 218.

Давыдов Александр Львович, 14, 17, 19, 20.
Давыдов Василий Васильевич, 51, 59, 84, 85, 138, 238.
Давыдов Василий Львович, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 42, 43, 62, 156, 181, 187, 190, 259.
Давыдов Василий Петрович, 48, 51, 52, 53, 127, 128, 129, 138, 153, 154, 155, 156, 270, 272.
Давыдов Владимир Львович «Боб» 30, 31.
Давыдов Григорий Алексеевич, 132.
Давыдов Денис Васильевич, 235, 253, 256, 265.
Давыдов Дмитрий Львович, 132.
Давыдов Л. Ф., 223, 230.
Давыдов Лев Алексеевич, 132.
Давыдов Лев Васильевич, 22, 26, 28, 29, 129, 132, 162.
Давыдов Лев Денисович, 12, 13.
Давыдов Николай Васильевич, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 48, 127, 128, 129, 135, 258.
Давыдов Петр Васильевич, 19, 20, 21, 22, 43, 47, 48, 51, 127, 156, 181, 183, 238, 241.
Давыдов Петр Васильевич, 50, 51, 59, 84, 85.
Давыдов Петр Львович, 13.
Давыдов Юрий Львович, 253.

Давыдова (рожд. Грамон) Аглае, 14, 20.
 Давыдова Адель Александровна, 15, 20.
 Давыдова Александра Васильевна, 27, 29.
 Давыдова (рожд. Потапова) Александра Ивановна, 13, 15, 20, 22, 27, 29, 30, 128, 181, 182, 185, 187, 188, 190, 259, 271.
 Давыдова (рожд. Чайковская) Александра Ильинична, 26, 27, 28, 29, 30, 129, 258.
 Давыдова (рожд. Лихарева) Варвара, 253.
 Давыдова (рожд. Самойлова) Екатерина Николаевна, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
 Давыдова Екатерина Петровна (см. Долгорукова).
 Давыдова Елизавета Васильевна, 19, 27, 29, 30.
 Давыдова (рожд. Трубецкая) Елисавета Сергеевна, 22, 34, 43, 45, 47, 48, 51, 52, 127, 156, 181, 183, 190, 233, 238, 239, 240, 241.
 Давыдова Ирина Юрьевна, 266.
 Давыдова Ксения Юрьевна, 253, 266.
 Давыдова Зинаида Петровна (см. Дублянская).
 Давыдова (рожд. Ливен) Ольга Александровна, 51, 52, 53, 59, 63, 66, 72, 83, 85, 86, 89, 90.
 Давыдова Софья Львовна (см. Бороздина).
 Данченко, 217, 218.
 Дашкова, княгиня, 197.
 Де-Кар Иван Августин, виконт, 38.
 Демидов Никита, 35.
 Деникин А. И., генерал, 176.
 Державин, 206.
 Дидро Д., 214.
 Джунковский, 209.
 Доброшинский, 142.
 Додэ Эрнест, 60.
 Долгоруков Алексей Юрьевич, 48.
 Долгорукова (рожд. Давыдова) Екатерина Петровна, 48.
 Достоевский Ф. М., 119.
 Дребуш, 217, 218.
 Дублянская (рожд. Давыдова) Зинаида Петрова, 48.
 Дублянский, 48.
 Дурасова (рожд. Мясникова) Аграфена Ивановна, 35.

 Екатерина II, 11, 29, 35, 60, 194, 195, 197, 198, 214, 256.
 Екк, генерал, 142, 145, 146.
 Елизавета Алексеевна, 216.
 Елисавета Петровна, 194, 195.

 Забежинский Б., 231.
 Зенченко Сергей Васильевич, 76.
 Золя Эмиль, 89.

 Иванов В. И., 36.
 Иванов С. А., 114, 118.
 Иванов-Платонов, 119.
 Искрицкий 217, 219.

 Кампанья Иосиф, 38.
 Канкрин Е. Ф., 214.

Капнист Дмитрий, 123.
 Карамзин Н. М., 206.
 Квятковский Николай Казимирович, 117.
 Козицкая Александра Григорьевна (см. Лаваль).
 Козицкая Анна Григорьевна (см. Белосельская-Белозерская).
 Козицкая (рожд. Мясникова) Екатерина Ивановна, 35, 36, 38, 39, 47.
 Козицкий Григорий Васиильевич, 35.
 Козлов, 37.
 Колошин П., 40.
 Колторп, адмирал, 179.
 Константин Павлович, Вел. Кн., 218.
 Корвин-Коссаковская (рожд. Лаваль) Александра Ивановна, 38.
 Корвин-Коссаковский С. Т. Ф., 38.
 Коссе-Бриссак Жанна, 38.
 Косцюшко Т., 210.
 Кочубей В. П., 207.
 Крым С. С., 176, 178, 179.
 Куракин Алексей Борисович, 197, 216.
 Куроки, генерал, 141.
 Куропаткин А. Н., генерал, 142.
 Кутузов А. М., 197.
 Кутузов Н., 216, 218.

Лаваль (рожд. Козицкая) Александра Григорьевна, 35, 36, 47, 241.
 Лаваль Александра Ивановна (см. Корвин-Коссаковская).
 Лаваль Владимир Иванович, 36.
 Лаваль Екатерина Ивановна (см. Трубецкая).
 Лаваль Зинаида Ивановна (см. Лебцельтерн).
 Лаваль Иван Степанович, 34, 36, 233, 238.
 Лаваль Павел Иванович, 38.
 Лаваль Софья Ивановна (см. Борх).
 Лагарп, 207.
 Лачинов Михаил, 123.
 Левцельтерн (рожд. Лаваль) Зинаида Ивановна, 38, 44.
 Лебцельтерн Людвиг, барон, 38, 40.
 Левашов, 208, 220.
 Леви Симеон, 214.
 Лепарский С. Р., генерал, 42.
 Лермонтов М. Ю., 37.
 Ливен Александр Андреевич, 69, 70.
 Ливен Александра Андреевна, 65, 69, 70.
 Ливен (рожд. Васильчикова) Александра Петровна, 69.
 Ливен Андрей Александрович, 64, 65, 66.
 Ливен Андрей Карлович, 61, 62.
 Ливен Георг Андреевич, 62.
 Ливен (рожд. Бенкендорф) Дарья Христофоровна, 60, 61.
 Ливен Екатерина Александровна (см. Боголепова).
 Ливен (рожд. Панкратьева) Екатерина Никитишна, 61.
 Ливен Елена Александровна, 59, 62, 63, 66, 71, 77, 78, 79, 83.
 Ливен Иван Андреевич, 61.
 Ливен Карл Андреевич, 60.
 Ливен Карл Карлович, 61.
 Ливен Леон, 101.
 Ливен Мария, 98, 100.

Ливен Мария Александровна, 70.
Ливен Никита Александрович, 66, 67, 68.
Ливен Николай Рейнгольд, 59, 60.
Ливен Ольга Александровна (см. Давыдова).
Ливен Отто Гейнрих, ген.-майор, 60.
Ливен Петр Александрович, 70.
Ливен Федор Карлович, 61.
Ливен Христофор Андреевич, 61.
Ливен (рожд. фон Гаугребен) Шарлотта Карловна, 60.
Ливен Шарлотта Каарловна, 98, 99, 101, 102, 103.
Лопухин, 197.
Лоран, 195.
Лубановский Л. Ф., 199.
Лунин Михаил Сергеевич, 207
Любомирские князья, 11.
Людовик 18-ый, 37.

Мамонов Федор, 197.
Мария Александровна, Вел. Кн, 62
Мария Павловна, Вел. Кн., 230, 231.
Мекк (фон) Надежда, 13, 26.
Мендельсон М. С., 231, 240.
Меттерних, князь, 61.
Милорадович, граф., 201, 213, 216, 218.
Мицкевич, 37.
Мордвинов, 207.
Мураавьев Александр Михайлович, 40.
Муравьев Александр Николаевич, 201.
Муравьев Артамон Захарович, 42.
Муравьев Михаил Никитич, 40.
Муравьев Никита Михайлович, 40, 183, 187, 190, 191, 202.
Мураавьев-Амурский Николай Николаевич, генерал-губернатор, 43, 47.
Мураавьев-Апостол Сергей Иванович, 181.
Мясников Иван Семенович, 35.
Мясникова Аграфена Ивановна (см. Дурасова).
Мясникова Дарья Ивановна (см. Пашкова).
Мясникова Екатерина Ивановна (см. Козицкая).
Мясникова Ирина Ивановна (см. Бекетова).
Мятлев, 27.

Набоков В. Д., 176, 179.
Наполеон, 186, 206, 210.
Наполеон III, 227.
Нарышкин, 44, 197.
Невахович Л., 215
Некрасов Н. А., 33, 42, 266.
Николай I, 21, 36, 40, 41, 42, 60, 62, 200, 218, 219, 220, 221, 228.
Николай II, 230.
Новиков Н. И., 197.
Новосильцев 207.

Оболенская В. С. (см. Трубецкая).
Оболенский Евгений Петрович, 42, 219.
Ожама, генерал, 142.

Олсуфьев Александр Васильевич, 77.

Олсуфьев Митя, 72.

Охотников, 17, 18.

Орлов М. Ф., ген., 13, 17, 18, 19.

Орлова (рожд. Раевская) Екатерина Николаевна, 13.

Павел I., 36, 61, 116, 197, 198.

Павел Петрович, Вел. Кн., 60.

Панин Н. И., 197.

Панин П. И., 197.

Панкратьева Екатерина Никитишна (см. Ливен).

Пашкова (рожд. Мясникова) Дарья Ивановна, 35.

Перетц Абрам, 214, 215.

Перетц Григорий Абрамович, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221.

Перетц Израиль, 214.

Пестель Павел Иванович, 40, 181, 183, 184, 190, 191, 192, 194, 197, 200, 203.

Петр I, 34, 35, 54, 194, 195, 276.

Поджио А. В., 181.

Поздеев, 196.

Поляков, 228.

Потапова Александра Ивановна (см. Давыдова).

Потемкин Григорий Александрович, 11, 35, 61, 213, 214.

Потемкина Мария Александровна (см. Самойлова).

Потемкина (рожд. Голицына) Татальяна Борисовна, 39.

Пугачев, 206.

Пушкин А. С., 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 29, 30, 37, 51, 105, 206, 256, 257.

Пуцин И. И., 40, 202.

Радищев, 198.

Раевская (рожд. Самойлова) Екатерина Николаевна (см. Давыдова).

Раевская Екатерина Николаевна (см. Орлова).

Раевская Мария Николаевна (см. Волконская).

Раевский Александр Николаевич, 13, 17, 18, 19, 20.

Раевский Николай Николаевич (отец), 13, 17, 18, 19, 20.

Раевский Николай Николаевич (сын), 13, 17, 19, 20.

Раевский Николай Семенович, 11, 12.

Рафалович Артур Львович, 225, 229.

Ребиндер (рожд. Трубецкая) Александра Сергеевна, 43.

Ребиндер Николай Романович, 43.

Репнин П. П., 197.

Репнин Н. В., 197.

Римский-Корсаков Н. А., 255.

Робэк (де), князь, граф Левис-Мирепуа, 38.

Рождественский, отец, 118.

Романов Иван (Иоган-Хриситофор), 60.

Росцишевский Адам, 132.

Росцишевский Эдуард, 129, 135.

Ротшильд Алфонс, 227.

Ротшильд Морис, 226, 227, 230.

Рылеев К. Ф., 40, 219, 257.

Самойлов Александр Николаевич, 11.

Самойлова Екатерина Николаевна (см. Давыдова)

Самойлова (рожд. Потемкина) Мария Александровна, 11.

Сафонов Василий Ильич, 79.
 Свербеев А. Д., 239.
 Свербеев (рожд. Трубецкая) Зинаида Сергеевна, 43, 52, 127.
 Свербеев Н. Д., 43.
 Свербеев Сергей Николаевич, 43.
 Свистунов П. С., 197.
 Себастьяни Орас, маршал, 20.
 Семенов С. М., 216, 220, 221.
 Семевский В. И., 193.
 Сенявин Д. Н., 214, 217, 219.
 Сергеев Марк Давидович, 273, 274, 275, 276.
 Скобелев, генерал, 71.
 Смирнов Анатолий Филиппович, 270.
 Смирнов Сергей Николаевич, 118, 119.
 Соколов Сергей Александрович, 76.
 Сперанский М. М., 199, 214.
 Становер Мендель, 214.
 Столыпин М. А. 158.
 Стрекалова, 64.
 Стрекалова Александра Николаевна, 70.
 Строганов А. Н., 36, 207.
 Сумароков А. П., 197.

 Твердышев Иван, 35.
 Твердышев Яков, 35.
 Тихомиров Лев, 217.
 Толстая Софья Андреевна, 124, 125.
 Толстой А. Л., 123.
 Толстой Лев Николаевич, 54, 89, 119, 124, 125, 126, 196, 266.
 Толстой М. Л., 123, 125, 126.
 Трубецкая Александра Сергеевна (см. Ребиндер).
 Трубецкая (рожд. Оболенская) В. С., 43.
 Трубецкая (рожд. Грузинская) Дарья Александровна, 39.
 Трубецкая (рожд. Лаваль) Екатерина Ивановна «Каташа», 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 156, 183, 238, 271, 275.
 Трубецкая Елизавета Сергеевна (см. Давыдова).
 Трубецкая Зинаида Сергеевна (см. Свербеев).
 Трубецкая Софья Сергеевна, 43.
 Трубецкой Александр, 197.
 Трубецкой Владимир Сергеевич, 43.
 Трубецкой Иван Сергеевич, 43.
 Трубецкой Никита Сергеевич, 43.
 Трубецкой Николай Петрович, 78, 275.
 Трубецкой Петр Сергеевич, 39.
 Трубецкой Сергей Петрович, 21, 39, 40, 43, 156, 181, 183, 190, 197, 207, 257, 266, 276.
 Тургенев И. С., 94, 119, 253.
 Тургенев Н. И., 201, 202.

 Устимович П. М., 217, 218, 220.

 Фушэ, 210.

 Хандриков Федор Федорович, 114.

Цейдлер Иван Богданович, 41.
Пейтлин Иошида, 213, 214

Чаадаев П. А., 197.
Чайковская Александра Ильинична (см. Давыдова).
Чайковский Модест Ильич, 27, 30, 31, 133, 258.
Чайковский Петр Ильич, 13, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 128, 253, 255, 257, 258, 267.
Чарнов Ф. Ф., 86, 95, 129.
Чарториский, 207.
Черничев Е., 197.
Черничев И., 197.
Черничева-Кругликова, графиня 20, 29.
Чичерин Б. Н., 78.

Шиф 225, 229.
Шкалиберда Мария Антоновна, 258.
Шор Д. С., 79.
Шувалов Сеги, 123.

Щербатов, князь, 197.
Щербатова (рожд. Штерич) Мария Алексеевна, 37.

Энгельгардт Сашенька, 11.

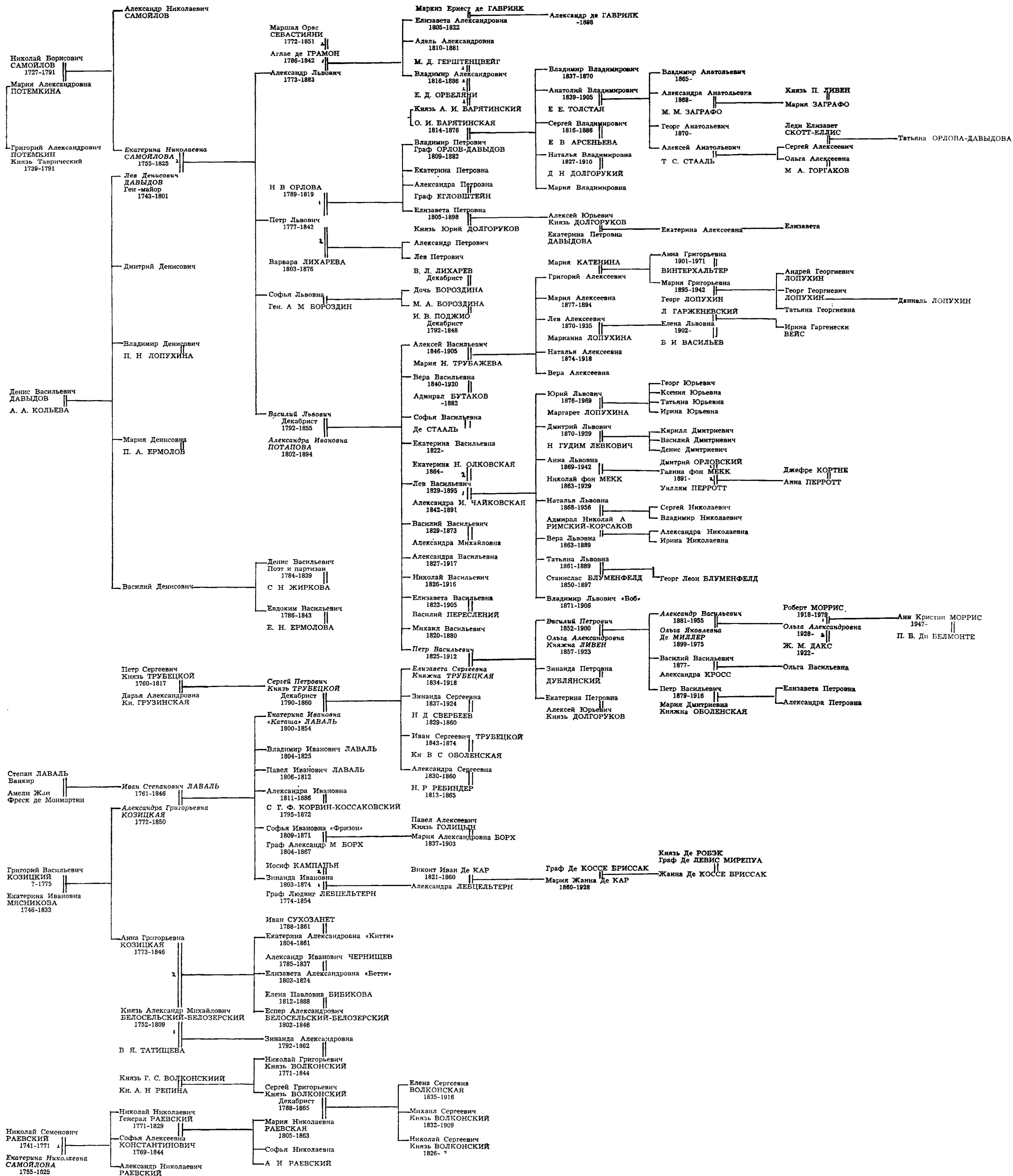
Якубович А. И., 42.
Якушкин И. Д., 17, 18, 181, 187, 200, 201, 202, 207, 208, 209, 211.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	7
Каменка	9
Каташа Трубецкая	33
Саблы	47
Москва	51
Разумовский и Семья Ливен...	59
Елисаветинский Институт	71
Воспитание	81
Путешествия Заграницу в Детстве	91
Курляндия	97
Гимназия	105
Хамовники	123
Юрчиха	127
Сыквантунская Сопка	141
Неосуществленный Колхоз	153
Встреча	175
Правнук Декабристов	181
Декабристы и Крестьянский Вопрос	193
Декабрист Еврей	213
Попытка Сговора Русского Императорского Прави- тельства с Иностраннным Еврейством о Прекраще- нии им Поддержки Революционного Движения в России	223
Брегет	233
Св. Варфоломей	237
Мировой Кризис и Вольные Каменщики	243
ПОСЛЕСЛОВИЕ 1 — Мои Красные Крымские Яблоки или в Поисках Незабытых Вре- мен	251
2 — Сибирская Одиссея	269

~~~~~  
Imprimé en France  
Imprimerie P.I.U.F.,  
3, rue du Sabot, - 75006 Paris

---



Александр Васильевич Давыдов, правнук декабриста, сын кавалергарда и светлейшей княжны Ливен, известный общественный деятель и литератор родился в Тамбове 11-го октября 1881 года и скончался в Нью-Йорке 14-го октября 1955 года.

После окончания среднего учебного заведения, закончил юридический факультет Императорского Санкт-Петербургского Университета и в 1904 году пошел добровольцем на Русско-японскую войну, был награжден за проявленную в боях храбрость Георгиевским крестом.

Камер-юнкер двора Его Императорского Величества, А. В. Давыдов начал свою служебную карьеру в Петербурге по Министерству финансов, в Кредитной канцелярии, и вскоре был командирован, как выдающийся, блестящий чиновник, в Германию для изучения постановки банковского дела. Давыдовы были в России весьма богатыми людьми. Им принадлежало известное на Украине имение «Каменка», воспетое Пушкиным, и любимое Александра Васильевича имение в Крыму «Саблы», где он и провел 1918-1920 годы гражданской войны. Во время обороны Крыма Добровольческой армией Александр Васильевич издавал и редактировал в Симферополе газету «Таврический голос», а после эвакуации Крыма обосновался в Париже, где в течение многих лет заведовал административным отделом газеты «Возрождение», занимаясь одновременно литературной деятельностью и принимая самое живое участие в общественной жизни Русского Парижа, в чем ему неустанно помогала талантливая Ольга Яковлевна, его супруга, человек большого ума и богатой музыкальной и литературной эрудиции.